ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

ОНОРЕ де БАЛЬЗАК

ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА
ЭЖЕНИ ГРАНДЕ
ОТЕЦ ГОРИО



Отец Горио
Оноре Бальзак

Аннотация
Оноре Бальзак. Отец Горио

Аннотация

В однотомник великого французского писателя Оноре де Бальзака вошли три наиболее значительных его романа: «Шагреневая кожа», «Эжени Гранде», «Отец Горио». С большой художественной силой в них показано, как в условиях буржуазного общества честолюбие и корысть подчиняют себе все отношения между людьми, уродуют естественные человеческие чувства.

Издание рассчитано на массового читателя.

Оноре Бальзак
Отец Горио

Великому и знаменитому Жоффруа де Сент-Илеру в знак восхищения его работами и гением.

Де Бальзак

Госпожа Воке, урожденная де Конфлан, уже старуха; лет сорок она содержит в Париже меблированные комнаты с пансионом на улице Нев-Сент-Женевьев между Латинским кварталом и предместьем Сен-Марсо. В комнаты эти, известные под названием «Дом Воке», пускают одинаково мужчин и женщин, молодежь и стариков, но злые языки не могли никогда сказать ничего худого о нравах этого почтенного заведения. Зато здесь уже тридцать лет, как не увидишь ни одной молодой особы, а если молодой человек поселится тут, значит, родные высылают ему лишь жалкие крохи. Тем не менее в 1819 году, к которому относится начало нашей драмы, там проживала одна бедная девушка. Как ни опошлено в наши дни слово «драма» благодаря слишком частому и превратному употреблению в нашей болезненной литературе, здесь без него не обойтись; пусть эта повесть и не драматична в истинном смысле слова, но все же, по окончании этого произведения, кто-нибудь, может быть, прольет слезы intra muros et

extra[1]. Поймут ли его за пределами Парижа? В этом позволительно усомниться. Частности этой драмы, насыщенной наблюдениями и полной местного колорита, могут быть оценены только между холмами Монмартра и высотами Монружа, в этой знаменитой долине, с постройками из негодного материала, ежеминутно готовыми рухнуть, и с канавами, почерневшими от грязи; в долине, полной подлинных страданий, зачастую призрачных радостей и живущей столь бурной жизнью, что лишь нечто из ряда вон выходящее может произвести здесь сколько-нибудь длительное впечатление. Однако и тут встречаются иногда горести, коим скопление пороков и добродетелей сообщает торжественность и величие: при виде их эгоизм, корысть замирают и проникаются жалостью, но впечатление от них подобно поспешно проглоченному сочному плоду. Если колесница цивилизации, похожая на колесницу идола Джагернаута, и задержится на миг, встретив сердце, которое не так легко раздавить, как другие сердца, то вскоре она сминает и его и продолжает свое победное шествие. То же самое сделаете и вы, взяв эту книгу холеной рукой и

[1] Примечания: 1
В стенах и вне их (лат.).

глубже усаживаясь в мягкое кресло со словами: «Может быть, это меня позабавит». Прочитав о тайных злоключениях отца Горио, вы пообедаете с аппетитом, возлагая на автора ответственность за свою бесчувственность и обвиняя его в преувеличениях и в поэтических измышлениях. Так знайте же: эта драма не вымысел и не роман. All is true[2]. Она так правдива, что каждый распознает частицы ее в самом себе, может быть, в своем собственном сердце.

Дом, где сдаются меблированные комнаты с пансионом, принадлежит госпоже Воке. Он расположен внизу улицы Нев-Сент-Женевьев, в том месте, где есть такой крутой спуск к улице Арбалет, что лошади редко поднимаются и спускаются по этому косогору. Обстоятельство это благоприятствует тишине, царствующей в улицах, стиснутых между куполом Валь де Грас и куполом Пантеона — двумя сооружениями, которые изменяют оттенки атмосферы, отбрасывая в нее желтые тона, все омрачая в ней суровыми отсветами своих куполов. Мостовые тут сухи, в водостоках нет ни грязи, ни воды, вдоль стен растет трава. Грусть охватывает здесь даже само-

---

[2] Примечания: 2
Все здесь правда (англ.).

го беззаботного человека, как и всех прохожих; стук экипажа делается тут событием: дома угрюмы, высокие стены пахнут тюрьмой. Случайно забредший сюда парижанин увидел бы лишь общедоступные меблированные комнаты или учебные заведения, нищету или скуку, старость на пороге смерти или жизнерадостную юность, принужденную трудиться. Нет в Париже квартала более ужасного и, прибавим, менее известного. В особенности улица Нев-Сент-Женевьев — словно бронзовая рама, единственно подходящая к этому рассказу, к восприятию которого нелишне подготовить ум темными красками, суровыми мыслями; так с каждой ступенькой меркнет дневной свет и глубже звучит протяжный голос проводника, когда путешественник спускается в катакомбы. Верное сравнение! Кто решит, что ужаснее: зрелище иссохших сердец или пустых черепов?

Фасад меблированных комнат выходит в садик, так что дом образует прямой угол с улицей Нев-Сент-Женевьев, откуда вы его видите сбоку. Вдоль фасада, между домом и садиком, тянется мощеная дорожка, шириной в туаз, с канавками для стока воды, а перед ней идет посыпанная песком аллея, окаймленная геранью, олеандра-

ми и гранатовыми деревьями, посаженными в голубые и белые фаянсовые вазы. К этой аллее ведет калитка с вывеской, на которой написано: «Дом Воке», а пониже: «Меблированные комнаты с пансионом для лиц обоего пола и прочих». Днем сквозь калитку, снабженную пронзительным колокольчиком, видна в конце мощеной дорожки на противоположной стене арка, расписанная местным живописцем под зеленый мрамор. Живопись создает иллюзию ниши, в которой высится статуя, изображающая Амура. При виде облупившегося лака, покрывающего эту статую, любитель аллегорий, пожалуй, усмотрел бы в ней символ парижской любви, последствия которой излечивают в нескольких шагах отсюда. Полустертая надпись под цоколем напоминает далекое время, к которому относится это украшение, свидетельствующее о восторженном поклонении перед Вольтером, возвратившимся в Париж в 1777 году:

Кто бы ни был ты, вот он — навек твой господин.

Таков он есть, и был, и будет он один.

Когда темнеет, сквозная калитка заменяется сплошной. Садик, шириной равный длине фа-

сада, стиснут между оградой соседнего дома, вдоль которой мантией ниспадает плющ, закрывая ее целиком и привлекая взоры прохожих необычной в Париже живописностью. Шпалеры фруктовых деревьев и виноградные лозы одевают эти ограды ковром, и их тощие и пыльные плоды ежегодно являются предметом опасений госпожи Воке и ее разговоров с пансионерами. Узкая аллея вдоль каждой ограды ведет под сень лип (слово «тийель»[3] госпожа Воке, хотя и урожденная де Конфлан, упорно произносит «тией», несмотря на замечания жильцов). Между двумя боковыми аллеями находится грядка артишоков, окаймленная щавелем, салатом-латуком и петрушкой и обсаженная фруктовыми деревьями, ветви которых подстрижены в форме веретена.

Под сенью лип в землю вкопан круглый стол, выкрашенный в зеленую краску и окруженный скамьями. Столовники, достаточно богатые для того, чтобы позволить себе роскошь выпить кофея, приходят сюда насладиться им в жаркие дни, когда царит такой зной, что можно выводить цыплят без наседки. Фасад в четыре этажа, увенчанный мансардами, выстроен из мелкого

---

[3] Примечания: 3
Tilleul — липа (фр.).

камня и окрашен клеевой краской в желтый цвет, придающий такой вульгарный вид почти всем парижским домам. В каждом этаже по пяти окон с мелким переплетом, снабженных жалюзи, которые все поднимаются по-разному, так что их планки торчат вкривь и вкось. На боковом фасаде дома по два окна, причем в первом этаже они украшены решетками. За зданием — двор, футов в двадцать шириной, где живут в добром согласии свиньи, куры, кролики; в глубине двора возвышается дровяной сарай. Между сараем и окном кухни висит ящик для хранения провизии, под которым устроен сток для помоев. Со двора выходит на улицу Нев-Сент-Женевьев узкая дверца, в которую кухарка, не жалея воды, сплавляет отбросы, чтобы во избежание заразы очистить клоаку.

Нижний этаж, естественным образом предназначенный для использования под пансион, состоит прежде всего из комнаты, освещенной двумя выходящими на улицу окнами, со стеклянной входной дверью. Эта гостиная сообщается со столовой, отделенной от кухни лестницей с деревянными ступеньками, выложенными крашеными и потертыми плитами. Нет более унылого зрелища, чем эта гостиная, обставлен-

ная креслами и стульями, обтянутыми волосяной материей с матовыми и блестящими полосками вперемежку. Посредине круглый стол с доской из местного черного мрамора с белыми крапинками, украшенный белым фарфоровым сервизом с полустертыми золотыми ободками, какой встретишь ныне повсюду. Эта комната, с довольно скверным полом, отделана панелями метра в полтора вышиной. Остальная часть стен оклеена глянцевитыми обоями, изображающими главнейшие сцены из «Телемака», причем знаменитые персонажи эти сделаны в красках. На панно между окнами и решеткой взорам жильцов представляется картина пира, заданного Калипсо сыну Улисса. Уже сорок лет, как эти обои вызывают шутки молодых пансионеров, воображающих, что они становятся выше своего положения, когда подтрунивают над обедом, на который обрекает их нужда. Каменный камин, с всегда чистым поддувалом, свидетельствующим, что огонь разводится в нем только в особо важных случаях, украшен двумя вазами, полными искусственных цветов, ветхих и накрытых колпаками. Между вазами стоят крайне безвкусные часы из голубоватого мрамора. Эта первая комната испускает запах, для обозначения которого

нет подходящего слова; его следовало бы назвать запахом пансиона. Он отдает затхлостью, плесенью, прогорклостью; от него пробирает дрожь, он бьет в нос промозглой сыростью, проникает сквозь одежду; он имеет привкус столовой после обеда; воняет кухней, людской, богадельней. Его можно было бы описать, если бы можно было придумать способ подсчета тошнотворных физиологических выделений, которыми портят воздух, каждый по-своему, страдающие катаром постояльцы — молодежь и старики. И все же, несмотря на ужасающее убожество гостиной, она покажется вам изящной и благоуханной, по сравнению со смежной столовой. Столовая, сплошь обшитая деревянными панелями, была некогда выкрашена в неподдающийся ныне определению цвет; он образует фон, на котором накопившаяся грязь наслоилась в виде фигур с причудливыми очертаниями. По стенам — липкие буфеты; на них мутные графины с отбитыми горлышками, металлические кружочки с волнистым рисунком. Стопки тарелок из толстого фарфора с голубым ободком — изделия завода в Турнэ. В углу помещается ящик с номерованными отделениями, служащий для хранения покрытых пятнами или залитых вином салфеток

пансионеров. Тут встретишь несокрушимую мебель, изгнанную отовсюду, но нашедшую место здесь, подобно обломкам цивилизации в убежище для неизлечимых. Вы увидели бы тут барометр с капуцином, вылезающим во время дождя, отвратительные, отбивающие аппетит гравюры, вставленные в крашеные деревянные рамки с золотым ободком; черепаховые часы с медной инкрустацией; зеленую миску; лампы системы Аргана, где столько же пыли, сколько и масла; длинный стол, покрытый клеенкой, до того засаленной, что шутливый столовник может написать на ней свою фамилию, пользуясь пальцем вместо стилуса; искалеченные стулья; жалкие плетеные половички, расстилающиеся бесконечной лентой; затем убогие продырявленные грелки с испорченными шарнирами и обуглившимся деревом. Чтобы объяснить, насколько эта утварь ветха, дырява, гнила, шатка, источена, безнога, крива, увечна, хила, понадобилось бы описание, которое слишком затянуло бы эту повесть, чего не простили бы автору дорожащие своим временем люди. Красные плиты пола полны выбоин от шарканья или многократной окраски. Словом, тут царство нищеты без поэзии; нищеты скаредной, сосредоточенной, потертой.

Если в ней и нет грязи, то есть пятна, если нет ни дыр, ни лохмотьев, то она готова рассыпаться трухой.

Комната эта предстает во всем своем блеске около семи часов утра, когда кот госпожи Воке, предшествуя хозяйке, вскакивает на буфеты, обнюхивает прикрытые тарелками миски с молоком и мурлычет свою утреннюю песенку. Вскоре показывается вдова, наряженная в тюлевый чепец, из-под которого выбивается локон криво надетой накладки фальшивых волос; она идет, волоча стоптанные туфли. Ее староватое, оплывшее жиром лицо, посередине которого торчит нос, похожий на клюв попугая, ее пухленькие ручки, тело, раздобревшее, как у церковной крысы, слишком полный колышущийся стан — все это гармонирует с этой столовой, где сочится горе, где притаились темные делишки с теплым смрадным воздухом, который госпожа Воке вдыхает, не ощущая тошноты. Ее лицо свежо, как первый осенний мороз, глаза в морщинах, то выражающие неизбежную улыбку танцовщицы, то сурово нахмуренные, как у ростовщика; словом, вся ее особа объясняет пансион так же, как сам пансион предполагает наличие ее особы. Каторжная тюрьма не обходится без надзирателя, одно

без другого представить себе нельзя. Бесцветная одутловатость этой маленькой женщины — итог этой жизни, подобно тому, как тиф — последствие больничных миазмов. Ее нижняя вязаная шерстяная юбка, выглядывающая из-под верхней, переделанной из старого капота, с ватой, торчащей сквозь прорехи расползающейся материи, резюмирует гостиную, столовую, палисадник, возвещает кухню и дает возможность заранее представить себе пансионеров. Когда госпожа Воке тут, картина полна. Ей под пятьдесят, я ока походит на всех женщин, видавших на своем веку горе. У нее стекловидные глаза, невинный вид сводни, которая ерепенится, чтобы содрать подороже, но, впрочем, готова на все для облегчения своей участи, готова предать и Жоржа, и Пишгрю, если бы Жорж или Пишгрю еще не были преданы. Тем не менее она, в сущности, славная баба, говорят пансионеры, которые, слыша, как она охает и кашляет не меньше их самих, думают, что у нее ни гроша за душой. Кто такой был господин Воке? Она никогда не пускалась в объяснения относительно покойного. Каким образом он разорился? Благодаря неудачам, отвечала она. Он дурно обходился с нею и оставил ей лишь глаза, чтобы плакать, этот дом, чтобы кормиться,

и право не откликаться ни на чье несчастье, так как, по ее словам, сама она перестрадала все, что только возможно перестрадать. Заслышав торопливые шажки хозяйки, толстая Сильвия, кухарка, спешила подать завтрак жильцам.

Приходящие пансионеры по общему правилу только обедали; это стоило тридцать франков в месяц. В ту пору, когда начинается эта история, в доме было семь жильцов. Второй этаж заключал две самые лучшие квартиры. Госпожа Воке обитала в той, которая была поменьше, а другую занимала госпожа Кутюр, вдова военного комиссара Французской республики. С ней жила весьма юная особа, Викторина Тайфер, которой она заменяла мать. Плата за полный пансион двух этих дам достигала тысячи восьмисот франков. Квартиры третьего этажа были заняты — одна стариком по фамилии Пуаре, другая человеком лет сорока, носившим черный парик, красившим бакенбарды и выдававшим себя за бывшего коммерсанта; его звали господни Вотрен. Четвертый этаж состоял из четырех комнат, из которых одну снимала старая дева, мадемуазель Мишоно, другую — бывший фабрикант вермишели, макарон и крахмала, который позволял называть себя запросто папашей Горио. Две другие комнаты были

предназначены для перелетных птиц — горемычных студентов, которые, подобно папаше Горио и мадемуазель Мишоно, могли платить не больше сорока пяти франков в месяц за стол и квартиру; но госпожа Воке не очень-то жаловала их и пускала только за неимением лучшего: слишком много хлеба они ели. В ту пору одну из этих комнат занимал молодой человек, прибывший в Париж из окрестностей Ангулема изучать право; у него была большая семья; обрекавшая себя на жесточайшие лишения, чтобы высылать ему тысячу двести франков в год. Эжен де Растиньяк, так звали его, был одним из тех молодых людей, житейскими невзгодами приученных к труду, которые с юного возраста понимают, что являются единственной надеждой своих родителей, и подготовляют себе блестящую карьеру, заранее вычисляя все выгоды, какие смогут извлечь из своих университетских занятий, и приноравливая их к развитию общества в будущем, чтобы быть первыми в ряду тех, кто выжимает из него соки. Без его любознательных наблюдений, без той ловкости, с которой он втерся в парижские салоны, этот рассказ не был бы расцвечен правдивыми тонами, которыми он, несомненно, будет обязан сметливому уму Растиньяка и его жела-

нию проникнуть в тайны ужасного положения вещей, скрываемого одинаково тщательно как творцами, так и жертвами этого положения.

Над четвертым этажом находился чердак для сушки белья и две мансарды, где жили слуга по имени Кристоф и толстуха Сильвия, кухарка.

Кроме семи пансионеров, живших в доме, у госпожи Воке имелось, на худой конец, человек восемь студентов, юристов или медиков и два-три давнишних посетителя, живших по соседству и пользовавшихся только обедом. В столовой садилось обедать восемнадцать человек, а поместиться в ней могло до двадцати; но по утрам в ней бывало только семь жильцов, собрание которых за завтраком представляло картину семейной трапезы. Каждый сходил вниз в туфлях, позволял себе откровенные замечания по поводу одежды или внешности приходящих столовников и событий вчерашнего вечера, выражаясь без стеснений, как в кругу близких друзей. Эти семь пансионеров были баловнями госпожи Воке, с математической точностью соразмерявшей свои заботы и внимание с цифрой их платы за стол и квартиру. К этим существам, собранным волею случая, применялось одно и то же мерило. Два жильца третьего этажа платили лишь семьдесят

два франка в месяц. Эта дешевизна, какой не встретишь нигде, кроме предместья Сент-Марсель, между Буро и Сальпетрьер (единственным исключением являлась здесь госпожа Кутюр), красноречиво говорила о том, что эти пансионеры, несомненно, несли тяжкое бремя более или менее явных невзгод. Костюмы давнишних обитателей дома, такие же потрепанные, представляли то же безотрадное зрелище, как и его обстановка. Мужчины носили сюртуки какого-то загадочного цвета, обувь, какую в более нарядных кварталах выбрасывают на улицу, рваное белье, словом, одно название одежды. На женщинах были старомодные, крашеные и перекрашенные платья, старые заштопанные кружева, перчатки, лоснившиеся от долгого употребления, порыжелые воротнички и истрепанные косынки. Но в противоположность одежды почти все жильцы были прочно скроены, обладали телосложением, сопротивлявшимся житейским бурям, холодными жесткими лицами, стертыми, как обесцененная монета. За поблекшими губами виднелись звериные клыки. В этих пансионерах сказывались пережитые или переживаемые драмы; не те драмы, которые играют при свете рампы, среди размалеванных декораций, но дра-

мы живые и молчаливые, драмы, подернувшиеся льдом, но горячо волнующие сердце, драмы, которым не видно конца.

Старая мадемуазель Мишоно постоянно носила над усталыми глазами грязный козырек из зеленой тафты на медной проволоке, от которого в испуге отшатнулся бы даже ангел милосердия. Ее шаль с жидкой, жалкой бахромой, казалось, прикрывала скелет — так угловаты были формы, прятавшиеся под нею. Какая кислота выела женские формы этого создания? Порок ли, огорчения или алчность? Ведь, она, должно быть, была когда-то красива и хорошо сложена. Не любила ли она слишком много в прошлом, не была ли продавщицей подержанного платья или просто куртизанкой? Искупала ли она триумфы дерзкой юности, навстречу которой бурным потоком неслись наслаждения, — старостью, отпугивавшей прохожих? Ее бесцветный взгляд вызывал дрожь, в ее скрюченной фигуре было что-то угрожающее. Она обладала тонким голоском, как кузнечик, стрекочущий в кустах с приближением зимы. По ее словам, она ухаживала за каким-то пожилым господином, страдавшим катаром мочевого пузыря, покинутым своими детьми, которые полагали, что у него нет средств. Этот старик

завещал ей тысячу франков пожизненной ренты, периодически оспариваемой наследниками, преследующими ее клеветой. Хотя вихрь страстей опустошил ее лицо, все же на нем заметны были некоторые следы белизны и свежести кожи, позволявшей предполагать, что ее тело сохранило еще некоторые остатки былой красоты.

Господин Пуаре смахивал на автомат. Видя, как он, словно серая тень, волочится по аллее Ботанического сада, в старой фуражке блином, еле держа рукой трость с набалдашником из пожелтевшей слоновой кости, в сюртуке с развевающимися выцветшими полами, едва прикрывающими короткие штаны, которые болтаются, как на палке, и ноги в синих чулках, трясущиеся, как у пьяницы, видя его грязный белый жилет и жабо из грубого покоробившегося муслина, неплотно прилегающее к галстуку, обвязанному вокруг шеи, похожей на шею индейского петуха, — многие задавались вопросом: неужели и эта китайская тень принадлежит к дерзкой породе сынов Иафета, порхающих по Итальянскому бульвару? Какой труд так скрючил его? Какая страсть навела глянец на его шишковатое лицо, которое даже в карикатуре показалось бы неправдоподобным? Кем он был прежде? Уж не служил

ли он в том отделении министерства юстиции, куда заплечных дел мастера посылают отчеты о расходах и счета поставщиков черных покрывал для отцеубийц, отрубей для корзин да бечевок для лезвий гильотины? Или, может быть, он служил сборщиком у ворот бойни или же помощником санитарного смотрителя? Словом, человек этот, по-видимому, был в старину одним из вьючных ослов нашей великой общественной мельницы, одним из парижских Ратонов, которые не знают даже своих Бертранов, каким-то стержнем, на котором вращаются злополучие и грязь общества, одним из тех субъектов, при виде которых мы говорим: «Что делать — и такие нужны». Прекрасному Парижу неведомы эти лица, поблекшие от физических или нравственных страданий. Но Париж — настоящий океан. Бросьте туда лот — вы никогда не измерите его глубины. Попробуйте обозреть его, попробуйте его описать: как бы ни старались вы обозреть и описать его, как бы многочисленны и любознательны ни были исследователи этого моря, всегда встретится нетронутый уголок, неизвестная пещера, цветы, жемчуга, чудовища, нечто неслыханное, забытое литературными водолазами. Дом Воке — одна из таких чудовищных диковинок.

Две личности представляли в нем разительный контраст с общей массой жильцов и завсегдатаев. Хотя мадемуазель Викторина Тайфер нездоровой белизной походила на девушек, страдающих бледной немочью, а своей обычной грустью, застенчивыми манерами, жалким и хилым видом гармонировала с общим неблагополучием, составлявшим фон этой картины, все же лицо ее было не старо, голос и движения — живы. Это юное несчастное создание походило на кустик с пожелтевшими листьями, недавно пересаженный в неподходящую почву. В ее веснушчатом лице, в рыжеватых волосах, в непомерно тоненькой талии была та прелесть, какую современные поэты ценят в средневековых статуэтках. Темно-серые глаза выражали кротость, покорность воле божией. Простенькое, дешевое платьице обрисовывало юные формы. Рядом с другими она казалась хорошенькой. Будь она счастлива, она была бы восхитительна: счастье делает женщин поэтичными так же, как наряд их красит. Если бы веселье бала заиграло розовыми тонами на этом бледном личике, если бы нега и роскошь округлили и покрыли румянцем эти уже слегка впалые щечки, если бы любовь оживила эти печальные глаза, Викторина могла бы поспорить

красотой с самыми хорошенькими девушками. Ей не хватало того, что рождает заново: тряпок и любовных записочек. Ее история могла бы дать тему для целой книги. Отец Викторины, полагая, что имеет основания не признавать ее своей дочерью, отказался держать ее под своим кровом и выдавал ей всего лишь шестьсот франков в год, изменив состав своего имущества, чтобы иметь возможность целиком передать его сыну. Ее мать переехала к своей дальней родственнице, госпоже Кутюр, и умерла здесь от отчаяния, а та стала заботиться о сироте, как о собственном ребенке. К несчастью, вдова комиссара армии Республики не имела ничего, кроме пенсии и вдовьей части в наследстве мужа; она могла в один прекрасный день оставить бедную, неопытную, лишенную всяких средств девушку на произвол судьбы. Добрая женщина каждое воскресенье водила Викторину к обедне и каждые две недели на исповедь, чтобы, на случай всяких превратностей, сделать из нее набожную девушку, И поступала правильно. Религиозное чувство окрыляло верой в будущее это непризнанное дитя, любившее своего отца и ежегодно направлявшее к нему свои стопы, чтобы передать ему последнее «прости» матери; но каждый год она наталкивалась на без-

жалостно запертую дверь отцовского дома. Брат Викторины, единственный посредник между нею и отцом, за все четыре года ни разу не навестил ее и не помог ей. Она молила бога открыть глаза отцу, смягчить сердце брата и безропотно молилась за обоих. Госпожа Кутюр и госпожа Воке не находили в лексиконе бранных слов достаточно сильных выражений, чтобы заклеймить это варварство. Когда они проклинали презренного миллионера, с уст Викторины срывались кроткие слова, похожие на воркованье раненой горлицы, у которой и в крике боли звучит любовь.

Эжен де Растиньяк наружностью был настоящий южанин: белолицый, черноволосый, голубоглазый. Его осанка, манеры, его обычная поза обличали в нем дворянского сына, получившего воспитание в семье, строго соблюдавшей традиции хорошего тона. Хотя он берег платье и в будни донашивал прошлогодние костюмы, тем не менее он мог иногда выйти из дома, одетый, как молодой щеголь. Обычно он носил старый сюртук, скверный жилет, дрянной черный галстук, полинялый и завязанный кое-как, по-студенчески, панталоны под стать остальному и сапоги с починенными подметками.

Переходной ступенью между этими персонажа-

ми и прочими жильцами служил Вотрен, человек сорока лет, с крашеными бакенбардами. Он был из тех, о ком в народе говорят: «Ну и молодчина!» Плечи у него были широкие, грудь колесом, мускулы выпирали наружу, жилистые квадратные кисти рук на суставах пальцев были покрыты густыми пучками огненно-рыжих волос. Его лицо, преждевременно изборожденное морщинами, обнаруживало не вязавшуюся с его мягкими, вкрадчивыми манерами жесткость. Густой бас, гармонировавший с его грубоватой веселостью, был не лишен приятности. Вотрен отличался услужливостью и любил похохотать. Если у кого-нибудь портился замок, он мигом разбирал его, чинил, шлифовал, смазывал и снова собирал, приговаривая: «Дело мастера боится». Да и чего он только не знал; суда, море, Франция, чужие страны, торговые сделки, люди, события, законы, гостиницы и тюрьмы — все было ему знакомо. Если кто-нибудь чересчур плакался на судьбу, он тотчас предлагал свои услуги. Неоднократно давал он взаймы госпоже Воке и некоторым жильцам; по его должники согласились бы скорее умереть, чем не отдать ему долга, — такой страх, несмотря на добродушный вид Вотрена, внушал его пронизывающий и полный реши-

мости взгляд. Его манера сплевывать слюну говорила о невозмутимом хладнокровии: он, вероятно, не остановился бы перед преступлением, чтобы выйти из затруднительного положения. Глаз его, как строгий судия, казалось, проникал в корень всех вопросов, видел насквозь все извивы совести, всякое чувство. Образ его жизни был таков: после завтрака он уходил, возвращался к обеду, потом исчезал на весь вечер и попадал домой около полуночи с помощью особого ключа, который ему доверила госпожа Воке. Один он удостоился этой милости. Зато он и был в самых приятельских отношениях с вдовой и называл ее мамашей, обнимал за талию — превратно понятые знаки внимания! Добрая женщина думала, что дело уже на мази, между тем как суть заключалась в том, что у одного Вотрена были такие длинные руки, способные обхватить эту огромную колоду. Отличительной чертой его было еще обыкновение щедро платить пятнадцать франков в месяц за кофэ с коньяком, который он пил за десертом. Люди, менее поверхностные, чем молодежь, захваченная вихрем парижской жизни, или менее стариков равнодушные к тому, что не затрагивает их непосредственно, не успокоились бы на том двойственном впечатлении, которое

производил Вотрен. Он знал или догадывался о делах людей окружающих, тогда как никто не мог проникнуть ни в его мысли, ни в его дела. Хотя он — своим внешним добродушием, постоянной любезностью и веселостью — воздвиг как бы барьер между собой и другими, все же часто прорывалась наружу ужасающая глубина его характера. Часто достойный Ювенала сарказм, которым он как будто с наслаждением осмеивал законы, бичевал высшее общество, обличал его внутренние противоречия — давал повод предполагать в нем затаенную злобу против общественного строя и какую-то тайну, тщательно спрятанную в глубинах его жизни.

Привлекаемая, — может быть, бессознательно, — силой одного и красотой другого, мадемуазель Тайфер делила свои мимолетные взгляды, свои тайные мысли между этим сорокалетним мужчиной и юным студентом; но ни один из них, по-видимому, не думал о ней, хотя каприз судьбы со дня на день мог изменить положение Виктории и сделать ее богатой невестой. К тому же никто из жильцов не давал себе труда проверить, истинны или вымышлены беды, на которые ссылается тот или иной из них. Равнодушие друг к другу смешивалось у всех со взаимным

недоверием, вытекавшим из их положения. Они чувствовали себя бессильными облегчить свои горести и, делясь ими, испили чашу соболезнования до дна. Как старым супругам, им нечего больше было сказать друг другу. Между ними осталась только чисто механическая связь, сцепление несмазанных колесиков. Каждый из них, не обернувшись, прошел бы по улице мимо слепого, без волнения выслушал бы рассказ о несчастье, а в смерти увидел бы решение проблемы нищеты, делавшей всех их безучастными перед лицом самой ужасной агонии. Самой счастливой из этих опустошенных душ была госпожа Воке — царица этой вольной богадельни. Ей одной казался смеющейся рощицей маленький садик, который от безмолвия и холода, от суши и сырости делался столь же обширным, как степь. Для нее одной имел прелесть угрюмый желтый дом, отдававший медной окисью прилавка. Эти одиночные камеры принадлежали ей. Она кормила этих каторжников, навеки прикованных к тачке, и власть ее уважалась всеми. Где еще в Париже нашли бы эти жалкие существа за ту же цену здоровую, сносную пищу и квартиру, которую от них самих зависело сделать если не изящной и удобной, то, по крайней мере, чистой

и гигиеничной? Если бы госпожа Воке позволила себе даже вопиющую несправедливость, жертва безропотно снесла бы ее.

Подобное сборище должно было представлять и действительно представляло в миниатюре все общество. Среди этих восемнадцати сотрапезников, как это бывает и в училищах и в свете, попадался какой-нибудь злосчастный отверженец, козел отпущения, над которым потешались все, кому не лень. В начале второго года такая фигура привлекала особенное внимание Эжена де Растиньяка, она резко выделялась среди тех, с кем ему суждено было жить еще в течение двух лет. Этим всеобщим посмешищем являлся бывший макаронщик, папаша Горио; художник и историк ярче всего осветили бы в картине именно его голову. Почему же это презрение с оттенком ненависти, эта травля с примесью жалости, это неуважение к несчастью поразили старейшего жильца? Подал ли он повод к этому какими-нибудь чудачествами или странностями, которые прощаются менее охотно, нежели пороки? Вопросы эти близко касаются многих общественных несправедливостей. Может быть, человеческой природе свойственно всячески мучить того, кто переносит все из подлинной покорности, по сла-

бости или по равнодушию. Разве не любим все мы проявлять над кем-нибудь или над чем-нибудь свою силу? Такое слабое существо, как уличный мальчишка, и тот звонит в стужу во все двери или взбирается на неприкосновенный памятник, чтобы нацарапать на нем свое имя.

Папаша Горио, старик лет шестидесяти девяти, поселился у госпожи Воке в 1813 году, удалившись от дел. Сперва он нанимал квартиру, ныне занятую госпожой Кутюр, и платил тогда за полный пансион тысячу двести франков; каких-нибудь пять лишних луидоров для него ровно ничего не значили. Чтобы отделать заново три комнаты этой квартиры, госпоже Воке хватило задатка, покрывшего, говорят, стоимость скверной обстановки, состоявшей из желтых коленкоровых занавесок, лакированных кресел, обитых трипом, нескольких картин, писанных клеевой краской, и обоев, от которых отказались бы даже пригородные трактиры. Быть может, благодаря беспечной щедрости попавшегося на удочку папаши Горио, которого в то время почтительно величали «господин Горио», за ним утвердилась репутация простофили, ничего не смыслящего в делах. Горио привез с собою большое количество одежды, великолепный гардероб коммерсанта,

который, и отойдя от дел, не отказывает себе ни в чем. Госпожу Воке привели в восторг полторы дюжины сорочек голландского полотна, тонкость которых была тем более достойна внимания, что макаронщик носил в своем тугом жабо две соединенных цепочкой булавки с крупным бриллиантом на каждой из них. Он обычно носил фрак василькового цвета и ежедневно менял белоснежный пикейный жилет, под которым колыхался грушевидный, выпиравший вперед живот, шевеливший массивную золотую цепочку с брелоками. Его табакерка, тоже золотая, заключала медальон, полный волос, наводивших на мысль, что старик был не без греха по части любовных похождений. Когда хозяйка назвала его волокитой, на губах его заиграла веселая улыбка буржуа, у которого задели слабую струнку. Шкафы его ломились от столового серебра. У вдовы разгорелись глаза, когда она услужливо помогала ему распаковывать и раскладывать разливательные ложки, ложки для рагу, столовые приборы, судки, соусницы, разные блюда, позолоченный сервиз для завтрака — словом, вещицы, весившие изрядное количество фунтов и более или менее изящные, с которыми он не хотел расстаться. Эти подарки напоминали ему о

торжественных событиях семейной жизни.

— Вот это, — говорил он госпоже Воке, держа блюдце и чашку, на крышке которой изображены были два воркующих голубка, — первый подарок, полученный мною от жены в годовщину нашей свадьбы. Бедняжка! Она истратила на него свои девичьи сбережения. Знаете ли, сударыня, я скорее соглашусь скрести землю ногтями, чем расстаться с этим. Слава богу, до конца дней своих я могу пить по утрам кофей из этой чашки; мне не на что жаловаться — на мой век хватит. Наконец госпожа Воке разглядела своими сорочьими глазами кое-какие записи вкладов в банк, свидетельствовавшие, по приблизительному подсчету, что милейший Горио имеет от восьми до десяти тысяч франков годового дохода. С этого дня госпожа Воке, урожденная де Конфлан, которой в ту пору перевалило за сорок восемь, хотя она утверждала, что ей всего лишь тридцать девять лет, возымела серьезные намерения. Несмотря на вывороченные, распухшие, отвислые веки Горио, принуждавшие его то и дело вытирать слезящиеся глаза, госпожа Воке находила, что он господин вполне приличный, приятной наружности. К тому же его мясистые выпиравшие икры так же, как и длинный квадратный нос, предве-

щали душевные качества, к которым вдова была, по-видимому, неравнодушна; их подтверждало и круглое, как луна, наивно глуповатое лицо старичка. По всем признакам это был крепко сложенный самец, способный всецело отдаться чувствам. Причесанные по-модному волосы — парикмахер политехнической школы каждое утро приходил их пудрить — спускались пятью завитками на низкий лоб, красиво обрамляя лицо. Он был немного мужиковат, но одевался щегольски, брал табак большими щепотками, нюхал его с несокрушимой уверенностью, что табакерка его всегда будет наполнена макубой, и госпожа Воке, приняв его, улеглась вечером в постель, зарумянившись, как куропатка, начиненная шпиком, и сгорая от желания сбросить саван Воке, чтобы возродиться в образе госпожи Горио. Выйти замуж, продать меблированные комнаты с пансионом, соединиться брачными узами с представителем буржуазии, стать видной дамой в своем квартале, заниматься благотворительностью, совершать по воскресным дням прогулки в Шуази, Суаси, Жантильи; ходить в театр, когда вздумается, брать ложу, не дожидаясь контрамарок, которые давал ей кое-кто из пансионеров в июле месяце, — она мечтала об этом

эльдорадо парижских мещанских семей. Вдова никому не признавалась, что по грошам скопила сорок тысяч франков. В отношении состояния она, разумеется, считала себя вполне приличной партией.

«Что касается остального, то я ему ни в чем не уступлю», — думала она, ворочаясь в постели, как будто для того, чтобы самой удостовериться в собственных прелестях, отпечаток которых толстуха Сильвия созерцала каждое утро.

С этого дня в течение почти трех месяцев вдова Воке пользовалась услугами парикмахера господина Горио и не скупилась на туалет, оправдывая расходы необходимостью придать своему дому благопристойный вид, под стать посещающим его почтенным особам. Она прибегала ко всяким каверзам, чтобы изменить состав пансионеров, и кричала на всех перекрестках, что впредь намерена пускать к себе только особ, безукоризненных во всех отношениях. Когда появлялся какой-нибудь незнакомец, она хвасталась ему, что господин Горио, один из самых видных и уважаемых коммерсантов в Париже, предпочел жить у нее. Она распространила печатную рекламу, вверху которой стояло: «Дом Воке».

«Один из самых старинных и уважаемых пан-

сионов Латинского квартала», — уверяла госпожа Воке. В проспекте упоминалось о восхитительном виде на долину Гобленов (ее было видно с четвертого этажа), о «прекрасном» саде, в конце которого «тянется липовая аллея», а также о чистом воздухе и уединении.

Реклама эта привлекла к ней графиню де л'Амбермениль, женщину тридцати шести лет, ожидавшую ликвидации своих дел и назначения пенсии, которая ей полагалась как вдове генерала, убитого на поле брани. Госпожа Воке улучшила стол, почти полгода отапливала гостиную и настолько добросовестно выполняла обещания рекламы, что ей самой пришлось раскошелиться. Зато графиня говорила госпоже Воке, называя ее дорогим другом, что поселит у нее своих приятельниц, — баронессу де Вомерлан и вдову полковника графа Пикуазо, доживавших в Марэ последний месяц по контракту в пансионе более дорогом, чем Дом Воке. Впрочем, эти дамы будут прекрасно обеспечены, когда канцелярия военного министерства разберется наконец в их делах.

— Но в канцелярии, — говорила она, — ужасная волокита.

Вдовушки поднимались после обеда в комнату

госпожи Воке и судачили там, попивая черносмородинную наливку и лакомясь сластями, припасенными хозяйкой для себя. Госпожа де л'Амбермениль весьма одобряла намерения госпожи Воке относительно Горио — превосходные намерения, о которых, впрочем, она догадывалась с первого же дня; по ее мнению, это был прекрасный человек.

— Ах, милочка, — говорила ей вдова, — у него здоровья хоть отбавляй; это превосходно сохранившийся мужчина, он может еще доставить немало удовольствия женщине!

Графиня великодушно обратила внимание госпожи Воке на ее наряд, плохо вязавшийся с ее притязаниями.

— Вам надо привести себя в боевую готовность! — сказала она.

После долгих вычислений вдовы отправились вместе в Пале-Рояль, где купили в Деревянных рядах шляпку с перьями и чепец. Графиня потащила свою приятельницу в модный магазин «Пти-Жанетт», где они выбрали платье и шарф. Когда это боевое снаряжение было пущено в ход и вдова оказалась во всеоружии, она, как две капли воды, стала походить на вывеску ресторана «Беф а ля мод». Тем не менее ей казалось,

что наружность ее чрезвычайно выиграла, и, чтобы отблагодарить графиню, она, хоть и была не очень таровата, упросила ее принять в подарок шляпу в двадцать франков. Признаться, она рассчитывала попросить госпожу де л'Амбермениль оказать ей услугу — позондировать Горио и настроить его в ее пользу. Графиня с большой готовностью согласилась участвовать в этой интриге и принялась обхаживать старого макаронщика; ей удалось иметь с ним конфиденциальный разговор, но он оказался не в меру застенчивым, более того — он воспротивился всем ее покушениям, которые внушало ей желание соблазнить его для себя самой, а потому она вышла, возмущенная его неотесанностью.

— Ангел мой, — сказала она своему дорогому другу, — вы ничего не вытянете из этого человека! Он недоверчив до смешного; это скряга, скотина, дурак; вы не дождетесь от него ничего, кроме неприятностей.

Между господином Горио и госпожой де л'Амбермениль произошло что-то такое, в результате чего графиня не захотела даже оставаться с ним в одном доме. Она уехала на следующий же день, забыв заплатить за полгода и оставив рухлядь, оцененную в пять франков. Как рьяно ни разыс-

кивала ее госпожа Воке, в Париже не оказалось никаких сведений о графине де л'Амбермениль. Вдова часто толковала об этой печальной истории, плачась на свою чрезмерную доверчивость, хотя в действительности была недоверчивее кошки. Но она относилась к распространенному типу людей, которые не доверяют близким и открывают душу первому встречному. Странное, но действительное явление нравственного порядка; корни его легко найти в человеческом сердце. Есть люди, которые, может быть, не надеются уже более расположить к себе тех, с кем живут; они обнаружили перед ними пустоту своей души и чувствуют, что те втайне осуждают их с заслуженной строгостью; испытывая, однако, непреодолимую потребность в лести, которой им не хватает, или страстно желая казаться лучше, чем они есть, они надеются завоевать уважение или симпатии посторонних, не останавливаясь перед риском упасть с достигнутой высоты. Наконец, есть продажные по природе личности, которые не делают никакого добра своим друзьям или близким именно потому, что обязаны его делать; между тем как, оказывая услугу незнакомым, они тешат этим свое самолюбие: чем теснее круг их привязанностей, тем меньше они любят,

чем он шире, тем услужливее они становятся. Госпожа Воке, несомненно, совмещала в себе обе эти пошлые, фальшивые, отвратительные натуры.

— Будь я здесь тогда, — говорил ей Вотрен, — с вами не случилось бы этой беды! Я бы непременно вывел на чистую воду эту комедиантку. Я знаю их уловки.

Как все ограниченные люди, госпожа Воке имела привычку замыкаться в кругу событий и не рассуждать об их причинах. Она охотно валила с больной головы на здоровую. Когда ее карман потерпел ущерб, главным виновником своего несчастья она сочла честного макаронщика, и с той поры, по ее словам, у нее раскрылись на него глаза. Убедившись в бесполезности заигрываний и трат, имевших целью пустить пыль в глаза, она не замедлила понять причину неудачи. Вдова заметила тогда, что у жильца были, как она говорила, свои собственные виды. Словом, ей стало ясно, что столь нежно лелеемая надежда была воздушным замком и что «она никогда ничего не вытянет из этого человека», по энергичному выражению графини, видимо знавшей толк в таких вещах. Ее неприязнь, как водится, зашла гораздо дальше былой дружбы. Ненависть ее была пропорциональна не прежней любви, а обманутым

надеждам. Сердце человеческое нуждается в отдыхе, когда поднимается на вершины привязанности, но редко останавливается на крутом склоне враждебных чувств. Впрочем, Горио был жильцом вдовы, что принуждало ее подавлять взрывы своего уязвленного самолюбия, хранить вздохи, вызванные разочарованием, и заглушать жажду мести, подобно монаху, обиженному игуменом. У мелких душ и проявления их чувств, хороших ли, дурных ли, всегда так же мелки. Вдова пустила в ход мелкое коварство, чтобы изводить свою жертву исподтишка. Она начала с устранения излишеств в столе.

— Ни корнишонов, ни анчоусов: это глупые затеи! — сказала она однажды Сильвии и вернулась к прежнему меню.

Горио был человек неприхотливый, у которого скопидомство, свойственное людям, наживающим состояние собственным горбом, выродилось в привычку. Суп, вареная говядина, блюдо овощей — таков бывал прежде, таким и остался навсегда его излюбленный обед. А потому госпоже Воке было чрезвычайно трудно донять такого невзыскательного жильца. В отчаянии, что его ничем не проймешь, она принялась подтачивать уважение к нему и таким образом заразила

неприязнью к Горио и своих пансионеров, которые, потехи ради, помогли ее мести.

К концу первого года вдова прониклась таким недоверием к макаронщику, что стала спрашивать себя, почему этот коммерсант, имея семь-восемь тысяч франков годового дохода, владея серебром и драгоценностями не хуже, чем у любой содержанки, поселился у нее и платит за пансион сущие пустяки по сравнению со своим состоянием. В течение большей половины первого года Горио сплошь и рядом раз или два раза в неделю обедал на стороне, затем, мало-помалу, стал обедать в городе не более двух раз в месяц. Увеселительные прогулки почтенного Горио как нельзя лучше соответствовали интересам госпожи Воке, и ей пришлась не по вкусу возраставшая пунктуальность, с которой жилец садился в положенные часы за ее стол. Эта перемена была приписана столько же постепенному уменьшению средств, как и желанию досадить своей хозяйке. У этих карликовых умов — отвратительнейшая привычка приписывать свою мелочность другим. К не счастью, в конце второго года Горио подтвердил сплетни, распускаемые о нем, он попросил госпожу Воке перевести его на третий этаж и сбавил плату до девятисот фран-

ков. Ему пришлось соблюдать такую жесткую экономию, что всю зиму он не разводил огня в своей комнате. Госпожа Воке пожелала получать плату вперед; господин Горио, которого с тех пор она стала называть «папаша Горио», согласился на это.

Сколько догадок строилось пансионерами о причинах его падения! Но добраться до корня было не так-то легко! По словам лжеграфини, папаша Горио был нелюдим, молчальник. По логике пустоголовых людей, всегда болтливых, так как им нечего сказать, кроме ерунды, — тот, кто не говорит о своих делах, непременно занимается дурными делами. Таким образом, этот достоуважаемый коммерсант превратился в жулика, этот волокита стал старым шутом. Папаша Горио то оказывался, как предполагал Вотрен, поселившийся в это время в Доме Воке, биржевым зайцем, по энергичному выражению биржевиков, который обделывает темные делишки с процентными бумагами, после того как разорился сам. То это был один из мелких игроков, которые ставят на карту и выигрывают по десяти франков в вечер. То из него делали сыщика тайной полиции, но Вотрен утверждал, что для этого он недостаточно хитер. Папаша Горио был, кроме того, скряга,

дающий ссуды на короткий срок за ростовщические проценты, или человек, ставящий на один и тот же номер лотереи, постепенно повышая ставку в надежде на выигрыш. Ему приписывали самые таинственные профессии, порождаемые пороком, позором, беспомощностью. Но, как ни постыдны были поведение или пороки Горио, отвращение, внушаемое им, не доходило до того, чтобы изгнать его — за пансион он платил. К тому же он приносил кое-какую пользу: кто был не в духе — мог сорвать на нем досаду; кто был в хорошем настроении — мог посмеяться над ним.

Восторжествовало мнение госпожи Воке, казавшееся наиболее правдоподобным. Она пустила слух, что этот превосходно сохранившийся господин, здоровый, как бык, и способный еще доставить немало удовольствия, — попросту развратник со странными вкусами. Вот на каких фактах основывала свою клевету госпожа Воке.

Через несколько месяцев после отъезда злополучной графини, ухитрившейся прожить полгода на ее счет, как-то утром, лежа в постели, вдова услышала на лестнице шуршанье шелкового платья и легкие шаги молодой, проворной женщины, пробиравшейся к Горио, который предупредительно отворил свою дверь. Толстуха

Сильвия тотчас же доложила барыне, что какая-то девушка, одетая, как божество, обутая в прюнелевые, совсем чистенькие полусапожки, как угорь, проскользнула с улицы на кухню и спросила, где живет господин Горио. Госпожа Воке и служанка стали подслушивать и уловили кое-какие нежные слова, произнесенные во время довольно продолжительного визита. Когда господин Горио пошел проводить свою даму, толстуха Сильвия немедленно взяла корзинку и, делая вид, будто идет на рынок, последовала за влюбленной парочкой.

— Сударыня, — сказала она хозяйке по возвращении, — что ни говорите, господин Горио, должно быть, чертовски богат; иначе он не давал бы им так шиковать. Представьте себе, на углу Эстрапады стоял великолепный экипаж, и она села в него.

Во время обеда госпожа Воке собственноручно спустила штору, чтобы господина Горио не беспокоило солнце, светившее ему прямо в глаза.

— Вас любят красотки, господин Горио, вот и солнышко вас жалует, — сказала она, намекая на утренний визит. — У вас губа не дура — она прехорошенькая.

— Это моя дочь, — ответил он с некоторой

гордостью, которую пансионеры приняли за хвастовство старика, старающегося соблюсти приличия.

Спустя месяц визит этот повторился. Его дочь, в первый раз пришедшая в утреннем туалете, явилась после обеда, нарядившись как будто для выезда в свет. Пансионеры, болтавшие в гостиной, успели разглядеть красивую, изящную блондинку с тонкой талией, слишком изысканную, чтобы она могла быть дочерью какого-то папаши Горио.

— Да их две! — сказала толстуха Сильвия, не узнав ее.

Через несколько дней другая девушка, высокая, хорошо сложенная брюнетка, с бойким взглядом, спросила господина Горио.

— Да их три! — сказала Сильвия.

Вторая дочь, в первый раз пришедшая навестить отца также утром, несколько дней спустя приехала вечером в карете, одетая в бальное платье.

— Да их четыре! — сказали госпожа Воке и толстуха Сильвия, не узнавшие в этой важной даме девушки, пришедшей в первый раз утром в скромном платье.

Горио продолжал еще платить за содержание

тысячу двести франков. Госпожа Воке находила вполне естественным, что богатый человек имеет четырех или пять любовниц, а то, что он выдавал их за дочерей, по ее мнению, доказывало лишь его изворотливость. Ее нисколько не возмущало, что он принимает их в Доме Воке. Но эти посещения объясняли ей равнодушие жильца к ее особе, а потому она позволила себе, в начале второго года, назвать его старым котом. Наконец, когда ее жилец пал до девятисот франков, госпожа Воке, увидя, что по лестнице спускается одна из этих дам, весьма нагло спросила его, каким, собственно, заведением считает он ее дом. Папаша Горио ответил ей, что эта дама его старшая дочь.

— Что же, у вас три дюжины дочерей, что ли! — съязвила госпожа Воке.

— Всего лишь две, — возразил жилец с кротостью разорившегося человека, которого нужда научила покорно сносить все.

К концу третьего года папаша Горио опять сократил свои расходы, перебравшись на четвертый этаж и снизив плату за свое содержание до сорока пяти франков в месяц. Он бросил нюхать табак, отказался от услуг парикмахера и перестал пудриться. Когда папаша Горио впервые появился без пудры, у хозяйки вырвался возглас

изумления; цвет его волос резко изменился, они стали грязно-серыми и зеленоватыми. Лицо его, от тайных огорчений становившееся день ото дня все печальнее, выглядело теперь безутешнее, чем у любого из столовников. Итак, все сомнения рассеялись. Папаша Горио — старый развратник; лишь искусство врача предохраняет его глаза от вредного влияния лекарств, необходимых при его болезнях. Противный цвет волос происходит от излишеств и тех снадобий, которые он принимает, чтобы продолжать излишествовать. Физическое и душевное состояние простака подтверждало эти сплетни. Когда его прекрасное белье износилось, он заменил его сшитым из коленкора по четырнадцать су локоть. Бриллианты, золотая табакерка, цепочка, драгоценности мало-помалу исчезли. Он расстался со своим васильковым фраком, со своим щегольским костюмом и стал носить и летом и зимою грубый суконный сюртук каштанового цвета, жилет из козьей шерсти и серые панталоны из шерстяной дерюги. Он постепенно худел; икры его опали; лицо, когда-то раздобревшее от сытого буржуазного благополучия, страшно осунулось и сморщилось; лоб покрылся морщинами; резко обозначилась челюсть. За четвертый год своего

пребывания на улице Нев-Сент-Женевьев Горио изменился до неузнаваемости. Крепкий шестидесятидвухлетний макаронщик, которому на вид было не больше сорока, рослый, толстый буржуа, свеженький от глупости, веселивший своей игривостью взоры прохожих, улыбавшийся, как юноша, стал похож на придурковатого, трясущегося, мертвенно бледного семидесятилетнего старца. Его голубые, прежде такие живые глаза сделались мутными, оловянными, выцвели; из них уже не текли слезы, но красные края век, казалось, кровоточили. Одним он внушал отвращение, в других возбуждал жалость. Молодые студенты-медики, заметив, как отвисла его нижняя губа, и измерив вершину его лицевого угла, долго приставали к нему и, ничего не добившись, объявили, что он впал в идиотизм. Как-то раз вечером, после обеда, госпожа Воке насмешливо спросила его:

— Ну, что же вас больше не навещают дочки? — ставя под сомнение его отцовство.

Папаша Горио вздрогнул, словно хозяйка уколола его железом.

— Иногда навещают, — ответил он взволнованным голосом.

— А-а! Вы иногда еще видитесь с ними! — за-

кричали студенты. — Браво, папаша Горио!

Но старик не слышал шуток, вызванных его ответом: он впал в задумчивость, которую поверхностный наблюдатель принял бы за старческое оцепенение, происходившее от слабоумия. Если бы они узнали его поближе, то, может быть, живо заинтересовались бы загадкой, какую представляло его физическое и душевное состояние; однако это была слишком трудная задача. Можно было навести справки, был ли Горио действительно раньше макаронщиком и велико ли его состояние, но старики, в которых он возбуждал любопытство, не выходили за пределы своего квартала и жили в меблированных комнатах, словно устрицы, приросшие к скале. Другие же, увлеченные водоворотом парижской жизни, едва выйдя за пределы улицы Нев-Сент-Женевьев, забывали о жалком старике, служившем предметом их насмешек. И этим ограниченным умам и этой беспечной молодежи безысходная нужда папаши Горио и его видимое тупоумие казались несовместимыми с достатком и с какими бы то ни было умственными способностями. Что касается женщин, которых он называл дочерьми, то все разделяли мнение госпожи Воке, говорившей с суровой логикой старух, привыкших судачить

вечерком, строя всевозможные догадки.

— Если бы папаша Горио имел таких богатых дочерей, как все эти дамы, бывающие у него в гостях, то он не жил бы в моем доме, на четвертом этаже за сорок пять франков в месяц и не одевался бы, как бедняк.

Это умозаключение было неопровержимо. Поэтому в конце ноября 1819 года, к тому времени, когда разыгралась эта драма, у всех пансионеров составилось вполне определенное мнение о бедном старике. У него никогда не было ни дочерей, ни жены; злоупотребление наслаждениями превратило его в улитку, в человекоподобного моллюска, из вида «фуражконосных», как говорил музейный служащий, завсегдатай, пользовавшийся только обедом. Рядом с Горио даже Пуаре был орлом, джентльменом. Пуаре разговаривал, отвечал; правда, разговаривая, рассуждая или отвечая, он не высказывал никаких собственных мыслей, так как имел обыкновение повторять в иных выражениях сказанное другими, но как-никак он способствовал разговору, был живым человеком, казался способным чувствовать, а папаша Горио, — прибавлял музейный служащий, — постоянно находится на точке замерзания.

Эжен де Растиньяк вернулся в настроении, хорошо знакомом незаурядным молодым людям или тем, которые, попадая в затруднительное положение, мгновенно обнаруживают качества избранников судьбы. В первый год пребывания в Париже, благодаря незначительному количеству труда, необходимому для получения на юридическом факультете первых ученых степеней, он мог свободно наслаждаться наиболее доступными чувственными удовольствиями Парижа. Студент не успевает познакомиться с репертуаром каждого театра, изучить все выходы из парижского лабиринта, узнать обычаи, усвоить язык столицы и втянуться в присущие ей развлечения, обшарить хорошие и дурные места, посетить занимательные лекции, обозреть богатства музеев. В эту пору студент страстно увлекается всяким вздором, крайне преувеличивая его значение. У него есть свой великий человек — какой-нибудь профессор из Коллеж де Франс, которому платят за уменье держаться на уровне аудитории. Студент потуже завязывает галстук и принимает позы перед дамами первой галереи Комической оперы. В этих последовательных посвящениях в таинства Парижа он сбрасывает с себя шелуху юности, расширяет свой кругозор и, в конце

концов, постигает, из каких слоев образуется общество. Сперва он только любовался вереницей экипажей, катящих в прекрасный солнечный день по Елисейским полям, вскоре он начинает взирать на них с завистью.

Эжен, сам того не ведая, прошел уже эту школу ко времени своего отъезда на каникулы, по получении степени бакалавра словесности и права. Его детские иллюзии, его провинциальные воззрения исчезли. Взгляды его изменились, честолюбие загорелось в нем, и он трезво взглянул на положение дел в отцовской усадьбе, в лоне семьи. Его отец, мать, два брата, две сестры и тетка, все достояние которых заключалось в пенсии, жили в маленьком именьице «Растиньяк». Поместье это, дававшее около трех тысяч франков годового дохода, находилось в зависимости от колебания цен, которому подвержено промышленное виноделие, и тем не менее приходилось ежегодно извлекать из него тысячу двести франков для Эжена. Зрелище этой постоянной нужды, великодушно скрываемой от него, невольное сравнение сестер, казавшихся ему в детстве такими красавицами, с парижанками, воплотившими созданный его мечтами тип красоты; непадежное будущее этой многочисленной

семьи, видевшей в нем свою опору; скаредность, с какой расходовались на его глазах самые малоценные припасы, вино, изготовляемое для семьи из виноградных выжимок, — словом, множество мелочей, о которых излишне упоминать здесь, удесятерили его желание преуспеть и вызвали в нем жажду отличий. Как человек с благородной душой он хотел быть обязан только собственным заслугам. Но по складу характера Растиньяк был чистокровный южанин; поэтому при переходе к делу его решения должны были подвергнуться колебаниям, охватывающим молодых людей, когда они попадают в открытое море, не зная, ни в какую сторону направить свои силы, ни под каким углом поставить паруса. Сначала он хотел было уйти с головой в работу, но вскоре, соблазненный необходимостью завязать связи, заметил, как велико влияние женщин на общественную жизнь, и принял решение пуститься в свет, чтобы завоевать там покровительниц; да и как не найти их пылкому и остроумному молодому человеку, остроумие и пылкость которого выступают еще ярче благодаря изяществу манер и особой нервной красоте, до которой так падки женщины? Эти мысли неотступно преследовали его среди полей, во время таких веселых в былые

годы прогулок с сестрами, которые нашли в нем большую перемену. Его тетка, госпожа де Марсильяк, когда-то принятая при дворе, имела знакомства среди высшей знати. Молодой честолюбец усмотрел вдруг в воспоминаниях, которыми так часто убаюкивала его тетка, основу для побед в обществе, по меньшей мере столь же важных, как и те, которые он одерживал на юридическом факультете; он расспросил ее относительно родственных связей, которые можно было бы завязать снова. Тряхнув ветви генеалогического дерева, старая дама пришла к заключению, что из всех родственников, которые могли бы быть полезны ее племяннику, из всей эгоистической богатой родни, наименее недоступной является виконтесса де Босеан. Она написала этой молодой женщине письмо в старинном стиле и, вручая его, сказала Эжену, что, если он завоюет расположение виконтессы, та поможет ему разыскать других родственников. Через несколько дней по прибытии Растиньяк послал госпоже де Босеан письмо тетушки. Виконтесса ответила приглашением на бал, назначенный на следующий день.

Таково было общее положение в пансионе Воке к концу ноября 1819 года. Несколько дней спустя Эжен вернулся во втором часу ночи с

бала виконтессы де Босеан. Желая наверстать потерянное время, студент мужественно дал себе во время танцев слово проработать до утра. Впервые готовился он провести бессонную ночь в тиши безмолвного квартала: увидя великолепие света, он находился под чарами искусственной энергии. Он не обедал в тот день у госпожи Воке. Пансионеры могли поэтому предполагать, что он вернется с бала лишь на рассвете, как возвращался иногда с праздников в Прадо или с балов в Одеоне, в испачканных шелковых чулках и в стоптанных туфлях. Прежде чем запереть дверь на засов, Кристоф отворил ее и выглянул на улицу. Появившийся в эту минуту Растиньяк мог неслышно подняться в свою комнату, сопутствуемый грохотавшим вслед за ним Кристофом. Эжен снял фрак, надел ночные туфли и плохонький сюртук, разжег торф и живо приготовился работать, так как Кристоф опять заглушил грохотом своих толстых башмаков почти бесшумные приготовления молодого человека.

Прежде чем погрузиться в учебники юриспруденции, Эжен несколько минут просидел в глубокой задумчивости. Он только что убедился, что виконтесса де Босеан является одной из изысканнейших женщин Парижа; дом ее слыл

самым приятным в Сен-Жерменском предместье. Вдобавок и по имени и по состоянию она принадлежала к верхам аристократического общества. Благодаря своей тетке де Марсильяк бедный студент был хорошо принят в этом доме, не понимая всего значения этой милости. Быть допущенным в эти раззолоченные гостиные было равносильно патенту на знатность. Появившись в этом крайне замкнутом обществе, он завоевал право бывать всюду. Ослепленный этим блестящим собранием, едва обменявшись несколькими словами с виконтессой, Эжен удовольствовался тем, что среди толпы парижских богинь, теснившихся на этом рауте, остановил свое внимание на одной из тех женщин, в которых молодежь страстно влюбляется с первого взгляда. Графиня Анастази де Ресто, высокого роста и прекрасного сложения, славилась в Париже красотой. Представьте себе большее черные глаза, великолепные руки, точеные ножки, огонь в движениях — женщину, которую маркиз де Ронкероль называл чистокровным конем. Живость ничуть не умаляла ее достоинств: формы ее были полны и округлы, но ее нельзя было упрекнуть в тучности. Чистокровный конь, породистая женщина — эта выражения в то время начинали заменять небесных анге-

лов, оссиановских героинь — всю старинную любовную мифологию, отвергнутую дендизмом. Но для Растиньяка госпожа Анастази де Ресто была просто желанной женщиной. Ему удалось закрепить за собой два тура в списке кавалеров на ее веере, и это дало ему возможность говорить с ней во время первой кадрили. — Где можно встречать вас в будущем, сударыня? — спросил он ее без обиняков, с той страстностью, которая так нравилась женщинам.

— Да всюду — в Булонском лесу, в театре Буфф, дома.

И предприимчивый южанин постарался сблизиться с восхитительной графиней, насколько может молодой человек сблизиться с женщиной в продолжение кадрили и вальса. Эжен сказал, что он кузен госпожи де Босеан, и был приглашен госпожой де Ресто, принятой им за знатную даму, бывать у нее. Она так улыбнулась ему на прощанье, что он счел визит к ней необходимым. Ему посчастливилось встретить человека, который не стал издеваться над его невежеством, смертным грехом в глазах знаменитых повес того времени, — Мо ленкуров, Ронкеролей, Максимов де Трайль, де Марсэ, Ахуда-Пинто, Ванденесов, которые были тогда в зените своей фатовской

славы и находились в связи с самыми изысканными женщинами — леди Брандон, герцогиней де Ланжэ, графиней де Кергарузет, госпожой де Сэриэн, герцогиней де Карильяно, графиней Ферро, госпожой де Ланти, маркизой д'Эгльмон, госпожой Фирмиани, маркизой де Листомер и маркизой д'Эпар, герцогиней де Мофриньез и дамами Гранльe. Итак, к счастью, наивный студент столкнулся с маркизом де Моприво, любовником герцогини де Ланжэ, генералом, простодушным, как дитя, и от него узнал, что графиня де Ресто живет на улице Эльдер.

Быть молодым, жаждать попасть в свет, стремиться к обладанию женщиной и видеть, как перед тобой открываются два дома сразу! Ступить ногой в Сен-Жерменском предместье у виконтессы де Босеан, преклонить колено на Шоссе д'Антен у графини де Ресто! Окинуть взором анфиладу парижских гостиных и считать себя достаточно красивым, для того чтобы найти там помощь и покровительство в сердце женщины. Чувствовать себя достаточно честолюбивым, чтобы одним великолепным прыжком вскочить на туго натянутый канат, по которому надо шагать с уверенностью никогда не оступающегося гимнаста, найдя в лице очаровательной женщины

наилучшее орудие для поддержания равновесия! С такими думами, перед образом такой красавицы, вставшим при свете тлеющего торфа, между кодексом законов и нищетой, — кто, подобно Эжену, не старался бы проникнуть мысленно в глубь грядущего, кто не разукрашивал бы его успехами? Блуждающая мысль Эжена так живо рисовала ему будущие радости, что он уже видел себя подле госпожи де Ресто, как вдруг вздох, подобный стону святого Иосифа, нарушил безмолвие ночи и отозвался в сердце молодого человека, которому почудилось хрипение умирающего. Эжен тихонько отворил дверь и, выйдя в коридор, заметил полоску света под дверью папаши Горио. Опасаясь, не заболел ли его сосед, он приложил глаз к замочной скважине, взглянул в комнату и увидел старика за работой, показавшейся юноше столь преступной, что он счел долгом хорошенько рассмотреть для блага общества, что затевает в ночную пору так называемый макаронщик. Папаша Горио, по-видимому, привязав предварительно к перекладине опрокинутого стола блюдо и миску из позолоченного серебра, вертел нечто вроде каната вокруг этих предметов с богатыми украшениями, нажимая с такой силой, что сплющивал их, видимо для того,

чтобы превратить в слитки.

«Черт возьми! Что за молодчина!» — подумал Растиньяк, увидя, как жилистые руки старика бесшумно с помощью веревки разминали позолоченное серебро, точно тесто. «Но кто же он, вор или укрыватель краденого, притворяющийся беспомощным дурачком и живущий по-нищенски, чтобы безопаснее заниматься своим промыслом?» — спрашивал себя Эжен, приподнимаясь на минуту.

Студент снова прильнул глазом к замочной скважине. Папаша Горио размотал канат, взял серебряную массу, положил ее на стол, предварительно разостлав на нем одеяло, и стал катать серебро, чтобы придать ему форму бруска; с операцией этой он справился изумительно легко.

«Да он силен, как король польский Август!» — подумал Эжен, когда брусок принял почти правильную круглую форму.

Папаша Горио грустно посмотрел на свою работу, слезы потекли у него из глаз, он задул витую восковую свечу, при свете которой скрутил серебро, и Эжен услышал, как он, вздыхая, лег.

«Он сумасшедший», — подумал студент.

— Бедное дитя! — громко произнес папаша Горио. После этих слов Растиньяк рассудил, что

благоразумнее хранить молчание об этом происшествии и не осуждать необдуманно соседа. Он собирался вернуться к себе, как вдруг различил довольно неопределенный шум, как будто шарканье по лестнице войлочных туфель. Эжен прислушался и действительно уловил чередующееся дыхание двух человек. Он не слышал ни скрипа двери, ни шагов, но вдруг увидел слабый свет в третьем этаже у господина Вотрена.

«Однако сколько тайн в этом пансионе!» — подумал он.

Спустившись на несколько ступеней, Эжен стал прислушиваться, и звон золота поразил его слух. Вскоре свет погас, и дыхание двух человек послышалось снова, но дверь не скрипнула. Затем, по мере того, как эти люди спускались, шум стал постепенно затихать.

— Кто там? — крикнула госпожа Воке, отворив окно своей комнаты.

— Это я вернулся, мамаша Воке, — пробасил Вотрен.

«Странно! Кристоф запер дверь на засов, — раздумывал Эжен, вернувшись в свою комнату. — В Париже надо бодрствовать ночью, чтобы знать как следует, что творится вокруг тебя».

Отвлекшись этими мелкими происшествиями

от своих честолюбивых любовных помыслов, Эжен принялся за работу. Но внимание его рассеивали подозрения, зародившиеся у него относительно папаши Горио, а еще больше — образ госпожи де Ресто, то и дело вставáвший перед ним, как вестник блестящей судьбы; в конце концов, он лег и заснул, как убитый. Из девяти ночей, которые молодые люди намереваются посвятить труду, семь отдаются сну. Надо иметь больше двадцати лет, чтобы бодрствовать ночью.

На другой день утром в Париже царил густой туман, один из тех туманов, которые обволакивают и окутывают его такой мглой, что самые аккуратные люди ошибаются во времени и опаздывают на деловые свидания. Каждый думает, что восемь часов, тогда как уже полдень. Было половина десятого, а госпожа Воке еще не вставала. Кристоф и толстуха Сильвия, тоже проспавшие, преспокойно попивали кофей со сливками с молока, предназначенного для пансионеров; Сильвия долго кипятила его, чтобы госпожа Воке не заметила этой незаконной «десятины».

— Сильвия, — сказал Кристоф, макая в кофей первый ломтик поджаренного хлеба, — господин Вотрен как-никак человек славный, а опять виделся этой ночью с какими-то двумя людьми.

Если барыня будет спрашивать, то ей об этом ни гугу.

— А он тебе дал на чай?

— Дал сто су за месяц, помалкивай, дескать.

— Только он да госпожа Кутюр не трясутся над каждым грошом, а другие готовы девой рукой отобрать то, что дают нам на новый год правой, — сказала Сильвия.

— Да и что дают-то? — промолвил Кристоф. — Какую-нибудь монеточку в сто су. Вот уже два года, как папаша Горио сам чистит башмаки, а скряга Пуаре обходится без ваксы и скорее выжжет ее, чем станет мазать свои опорки. Плюгавый студентишка дает мне сорок су. Щетки стоят дороже, и вдобавок он продает свою старую одежонку. Ну и выжиги!

— Брось! — сказала Сильвия, смакуя кофей. — Лучше наших мест во всем квартале не сыщешь: чем тут не житье! А скажи-ка, Кристоф, не говорил ли с тобой кто-нибудь о дядюшке Вотрене?

— Да, встречаю я намедни на улице какого-то господина, а он и говорит мне: «Не у вас ли живет полный господин с крашеными бакенбардами?» А я ему в ответ: «Нет, сударь, он их не красит. Такому весельчаку, как он, некогда этим заниматься». Я передал это господину Вотрену, а он

сказал: «Правильно, парень! Всегда так отвечай; нет ничего неприятнее, как обнаруживать свои слабости. Еще не женишься, пожалуй».

— А у меня на рынке хотели выведать, видала ли я, как он меняет рубашку. Потеха, да и только! Стой, — прервала она самое себя, — на церкви Валь де Грае бьет уже три четверти десятого, а никто и не шелохнется.

— Да все ушли из дому. Госпожа Кутюр со своей барышней отправилась в восемь причащаться к святому Этьену. Папаша Горио вышел с каким-то свертком. Студент вернется только после лекций, в десять часов. Я видел их, когда убирал лестницу; папаша Горио еще толкнул меня своим свертком, твердым, как железо. Чем-то он занимается, этот чудак? Другие над ним измываются, а все-таки он молодец, не им чета. Он дает не больно много, но дамы, к которым он меня иной раз посылает, отваливают знатные чаевые, а расфуфырены-то как!

— Те, кого он называет дочерьми? Их целая дюжина.

— Я ходил только к двум, к тем самым, что приезжали сюда.

— А вот барыня уже зашевелилась; сейчас подымет содом: надо пойти к ней. Кристоф, пока-

рауль молоко от кота.

Сильвия поднялась к хозяйке.

— Что это, Сильвия! Уже без четверти десять; я заспалась, как сурок, а вы меня не разбудили. Никогда не бывало ничего подобного.

— Это все туман, хоть ножом режь.

— А как же завтрак?

— В ваших жильцов словно бес вселился; все задали лататы с петухами.

— Выражайся правильно, Сильвия, — возразила госпожа Воке. — Говорят: ушли ни свет, ни заря.

— Слушаю; буду говорить по-вашему, барыня. Как бы то ни было, вы можете позавтракать и в десять. Мишонетка и Пуаришко [4] еще не подымались. Только они одни и остались дома и дрыхнут, как колоды; они и есть колоды.

— Послушай, Сильвия, ты называешь их вместе, как будто…

— Как будто что? — подхватила Сильвия, глупо захохотав. — Двое — значит пара.

— Вот что странно, Сильвия: как же это господин Вотрен вошел сегодня ночью, после того как Кристоф запер дверь на засов?

---

[4] Примечания: 4

В подлиннике Сильвия называет Пуаре «Пуаро», что по-французски значит «лук-порей».

— Что вы, что вы, барыня! Он услыхал шаги господина Вотрена и спустился отворить ему, а вам показалось…

— Подай-ка мне кофту да иди поскорее стряпать завтрак. Приготовь из остатков баранины рагу с картошкой да подай печеных груш. Тех, что по два лиара штука.

Через несколько минут госпожа Воке спустилась вниз в тот момент, когда кот, сбросив лапой тарелку, прикрывавшую миску с молоком, торопливо лакал его.

— Киска! — крикнула она.

Кот удрал, потом вернулся и стал тереться об ее ноги.

— Не юли, не юли, старый плут! Сильвия! Сильвия!

— Чего изволите, барыня?

— Посмотри-ка, сколько кот вылакал!

— Это все скотина Кристоф, я ему велела накрыть на стол. Куда он запропастился? Не беспокойтесь, барыня: молоко пойдет на кофей папаши Горио. Я разбавлю его водой, он и не заметит. Он ни на что не обращает внимания, даже на то, что есть.

— Куда же отправился этот чудило? — спросила госпожа Воке, расставляя тарелки.

— Кто его знает? Какие-то темные делишки обделывает.

— Я заспалась, — сказала госпожа Воке.

— Зато барыня свежа, как роза…

В это мгновение раздался звонок, и в столовую вошел Вотрен, напевая баском:

Свет исходил я спозаранку,

И всюду видели меня…

— А-а! Здравствуйте, мамаша Воке! — сказал он, заметив хозяйку, и галантно заключил ее в объятия.

— Да ну вас, бросьте!

— Скажите лучше: «какой нахал!» Ну, скажите же! Вы не хотите этого сказать? Я помогу вам накрыть на стол. Я очень любезен, не правда ли?

Ласкал белянку и смуглянку,

Любил, вздыхал…

Я видел сегодня нечто необычайное…

…свой миг ценя.

— А что? — откликнулась вдова.

— Папаша Горио был в половине девятого на улице Дофин у золотых дел мастера, который скупает старое столовое серебро и галуны. Он

продал ему за хорошие деньги позолоченную серебряную посуду. Хоть он и не специалист в этом деле, а скрутил ее ловко.

— Да ну, неужели?

— Да. Я возвращался домой, проводив одного приятеля, который укатил за границу на почтовых. Я подождал папашу Горио, чтобы посмотреть, что будет дальше. Потеха! Он вернулся в наш квартал, на улицу Грэ, и вошел в дом известного ростовщика — некоего Гобсека. Это пройдоха высшей марки, способный сделать домино из костей собственного отца, это еврей, араб, грек, цыган; ограбить его мудрено, он держит денежки в банке.

— Что же устраивает папаша Горио?

— Он ничего не устраивает, — сказал Вотрен, — он расстраивает свои дела. Болван так глуп, что разоряется на девчонок, а они...

— Вот он! — прервала Сильвия.

— Кристоф, — крикнул папаша Горио, — поди ко мне.

Кристоф последовал за папашей Горио и вскоре спустился обратно.

— Куда ты? — спросила слугу госпожа Воке.

— По поручению господина Горио.

— Что это такое? — промолвил Вотрен, выры-

вая из рук Кристофа письмо и читая вслух адрес: — «Графине Анастази де Ресто». Ты идешь туда? — продолжал он, возвращая письмо Кристофу.

— На улицу Эльдер. Мне приказано отдать это графине в собственные руки.

— А что там внутри? — спросил Вотрен, разглядывая письмо на свет. — Банковый билет? Нет.

Он слегка отклеил конверт.

— Оплаченный вексель! — воскликнул Вотрен. — Каналья! Да этот хрыч — галантный кавалер. Ступай, старый плут, — продолжал он, хлопнув Кристофа ручищей по голове так, что тот завертелся юлой. — Получишь на чай.

Стол был накрыт. Сильвия кипятила молоко. Госпожа Воке разводила огонь в печке с помощью Вотрена, продолжавшего напевать:

Свет исходил я спозаранку,
И всюду видели меня…

Когда все было готово, вошли госпожа Кутюр и мадемуазель Тайфер.

— Откуда вы так рано, моя милочка? — спросила госпожу Кутюр госпожа Воке.

— Мы ходили помолиться в церковь Сент-Этьен-дю-Мон. Ведь нам придется сегодня пойти к господину Тайферу. Бедная крошка, она дро-

жит, как осиновый лист, — продолжала госпожа Кутюр, садясь перед печкой и пододвигая к огню башмаки, от которых валил пар.

— Погрейтесь и вы, Викторина, — сказала госпожа Воке.

— Вы хорошо делаете, мадемуазель, что молитесь богу о смягчении сердца вашего батюшки, — промолвил Вотрен, придвигая сироте стул. — Но этого мало. Вам нужен друг, который взял бы на себя смелость сказать все напрямик этой свинье, этому дикарю; по слухам, у него три миллиона, и он не дает вам приданого. В наше время и хорошенькой девушке нужно приданое.

— Бедное дитя, — сказала госпожа Воке. — Погодите, душенька, ваш изверг-отец накличет беду на свою голову.

При этих словах на глаза Викторины навернулись слезы, и госпожа Кутюр знаком остановила вдову.

— Если бы только нам удалось повидаться с ним, если бы мне удалось поговорить с ним, передать ему последнее письмо его жены, — продолжала вдова комиссара-казначея. — Я никогда не решалась послать это письмо по почте; он знает мой почерк…

— О, женщины, невинные, несчастные, гони-

мые! — воскликнул Вотрен, перебивая ее. — Так вот до чего вы дошли! Через несколько дней я займусь вашими делами, и все пойдет как по маслу.

— О, сударь! — сказала. Викторина сквозь слезы, бросая на Вотрена жгучий взгляд, к которому тот остался вполне равнодушен. — Если бы вы могли как-нибудь попасть к моему отцу и сказать ему, что его любовь и честь моей матери для меня дороже всех богатств на свете! Если бы вам удалось сколько-нибудь смягчить его суровость, я молила бы бога за вас. Будьте уверены, я не осталась бы в долгу…

— Свет исходил я спозаранку, — иронически запел Вотрен.

В эту минуту вниз сошли Горио, мадемуазель Мишоно и Пуаре, может быть, привлеченные запахом подливки, которою Сильвия приправляла остатки баранины. В тот момент, когда все семь жильцов, здороваясь друг с другом, усаживались за стол, пробило десять, и с улицы донеслись шаги студента.

— А, господин Эжен! — сказала Сильвия. — Сегодня вы будете завтракать со всеми.

Студент поздоровался с пансионерами и сел подле папаши Горио.

— Со мной случилось необыкновенное при-

ключение, — начал он, положив себе порцию баранины и отрезав кусок хлеба, который госпожа Воке по обыкновению смерила глазами.

— Приключение? — спросил Пуаре.

— Почему же это вас удивляет, старая шляпа? — бросил Вотрен. — Кому же иметь приключения, как не такому красавчику?

Мадемуазель Тайфер робко скользнула взглядом по молодому студенту.

— Расскажите же нам ваше приключение, — попросила госпожа Воке.

— Вчера я был на балу у своей кузины, виконтессы де Босеан, у нее великолепный дом, апартаменты, обитые шелком; она устроила пышный раут, и я веселился как коро…

— Лек, — перебил его Вотрен.

— Что вы хотите сказать, сударь? — воскликнул Эжен запальчиво.

— Я сказал: «Лек», так как корольки веселятся много больше королей.

— Это правда: я предпочел бы быть этой беззаботной птичкой, чем королем, потому что… — подхватил, как всегда, чужую мысль Пуаре.

— Словом, — продолжал студент, обрывая его, — я танцевал с одной из первых красавиц бала, восхитительной графиней, самым очарова-

тельным созданием, какое я когда-либо видел, Ее голову украшали цветы персика, прекраснейший букет живых благоуханных цветов был приколот сбоку, у ее талии; но нет! Разве опишешь женщину, оживленную танцами? Надо было видеть ее собственными глазами. И что же! Сегодня, около девяти часов утра, я встретил эту божественную графиню; она шла пешком по улице Грэ. О, как у меня забилось сердце! Я вообразил…

— Что она идет сюда, — вставил Вотрен, многозначительно посматривая на студента. — Она, конечно, шла к ростовщику, дядюшке Гобсеку. Если вы покопаетесь в сердцах парижанок, то найдете, что первое место там занимает ростовщик, а уж потом идет любовник. Вашу графиню зовут Анастази де Ресто, а живет она на улице Эльдер.

При этом имени студент пристально взглянул на Вотрена. Папаша Горио резким движением поднял голову и окинул обоих собеседников блестящим и тревожным взглядом, поразившим пансионеров.

— Она, значит, уже пошла туда; Кристоф опоздает! — скорбно воскликнул Горио.

— Я угадал, — шепнул Вотрен на ухо госпоже Воке.

Горио ел машинально, не замечая, что ест. Никогда еще не казался он таким тупым и далеким от действительности, как в эту минуту.

— Какой идиот мог сказать вам ее имя, господин Вотрен? — спросил Эжен.

— Папаша Горио его прекрасно знает, почему же и мне не знать его? — ответил Вотрен.

— Господин Горио! — воскликнул студент.

— А, что такое? — отозвался несчастный старик. — Так она была очень хороша вчера?

— Кто?

— Госпожа де Ресто.

— Посмотрите-ка на старого скрягу, — сказала госпожа Воке Вотрену, — как у него загорелись глаза.

— Что же — она у него на содержании? — шепнула мадемуазель Мишоно студенту.

— О, да! она была безумно хороша, — продолжал Эжен, в которого папаша Горио впился глазами. — Не будь там госпожи де Босеан, моя божественная графиня была бы царицей бала; молодые люди только на нее и смотрели, я был двенадцатым в списке ее кавалеров: она танцевала все кадрили. Другие женщины из себя выходили от бешенства. Никому счастье не улыбалось вчера так, как ей. Недаром говорят, что

нет ничего прекраснее фрегата под парусами, лошади на полном скаку и танцующей женщины.

— Вчера она — наверху колеса фортуны, у герцогини, — сказал Вотрен, — сегодня утром на последней ступеньке лестницы, у ростовщика. Таковы парижанки. Если мужья не в состоянии поддерживать их необузданную страсть к роскоши, они продаются. А если нельзя продаться, они готовы распотрошить родных матерей, лишь бы чем-то блеснуть. Словом, не брезгуют ничем. Старая песня!

Лицо папаши Горио, сиявшее, как солнце в ясный день, пока говорил студент, омрачилось при этом жестоком замечании Вотрена.

— Ну, где же ваше приключение? — сказала госпожа Воке. — Говорили вы с ней? Спросили вы ее, собирается ли она изучать право?

— Она не заметила меня, — ответил Эжен. — Но разве не странно встретить одну из красивейших женщин Парижа в девять утра на улице Грэ, когда она должна была вернуться с бала не раньше двух часов ночи? Нигде, кроме Парижа, невозможны такие приключения.

— Полноте, бывают приключения позабавнее этого! — воскликнул Вотрен.

Мадемуазель Тайфер едва слушала, все мысли

ее были поглощены предстоящей попыткой добиться свидания с отцом. По знаку госпожи Кутюр она встала из-за стола; пора было одеваться. Когда обе дамы вышли, папаша Горио последовал их примеру.

— Ну, что, видели? — сказала госпожа Воке Вотрену и другим пансионерам. — Ясно, что его разорили женщины этого сорта.

— Я никогда не поверю, что красавица графиня де Ресто принадлежит папаше Горио! — воскликнул студент.

— Да мы и не имеем особого желания уверять вас, — прервал Вотрен. — Вы еще слишком молоды, чтобы знать всю подноготную Парижа. Попозже вы убедитесь, что тут можно встретить так называемых «людей со страстями»...

При этих словах мадемуазель Мишоно выразительно посмотрела на Вотрена. Она встрепенулась, как кавалерийская лошадь при звуке трубы.

— А-а! — протянул Вотрен, прерывая свою речь и бросая на старую деву многозначительный взгляд. — И у нас были страстишки?

Та потупила глаза, словно монахиня, увидевшая статуи.

— Так вот, — продолжал он, — когда таким

людям втемяшится что-нибудь в башку, то у них этого колом не вышибешь. Их жажду утоляет только вода из определенного и часто гнилого источника; чтобы испить ее, они готовы продать жен и детей; готовы душу продать черту. Для одних этот источник — игра, биржа, собрание картин или коллекция насекомых, музыка; для других — женщина, которая умеет готовить лакомые блюда. Предложите таким господам хоть всех женщин мира, они наплюют на них; давай им обязательно ту, которая удовлетворяет их страсть. Часто женщина эта вовсе не любит их, помыкает ими, продает им очень дорого крохи наслаждения; и все-таки мои чудаки не унимаются и готовы заложить последнее одеяло в ломбарде, отнести ей последнее экю. Папаша Горио один из таких людей. Графиня обирает его, потому что он умеет молчать. Таков высший свет! Бедняга только о ней и думает, как видите. Пока в нем не заговорит страсть, это просто грубое животное. Но затроньте эту тему, и лицо его заблестит, как алмаз, Разгадать этот секрет немудрено. Сегодня утром он продал серебро в лом; я видел, как он входил к дядюшке Гобсеку, на улице Грэ. Следите шаг за шагом! Вернувшись, он послал к графине де Ресто болвана Кристофа, который показал нам

адрес на конверте с оплаченным векселем. Раз графиня пошла к старому ростовщику, то, видно, деньги нужны были ей до зарезу. Папаша Горио, как любящий кавалер, раскошелился для нее. Не нужно большого ума, чтобы понять это. Это доказывает вам, мой юный друг, что в то время, как графиня смеялась, танцевала, гримасничала, играла персиковыми цветами и приподнимала платьице, — на душе у нее, как говорится, кошки скребли: она думала об опротестованных векселях, своих или своего любовника.

— После ваших слов мне захотелось во что бы то ни стало узнать правду. Завтра же пойду к госпоже де Ресто! — воскликнул Эжен.

— Да, — сказал Пуаре, — надо завтра же пойти к госпоже де Ресто.

— И вы, может быть, застанете там добряка Горио, который придет получить мзду за свою любезность.

— Однако, — промолвил Эжен с отвращением, — какое же болото ваш Париж.

— И презабавное болото, — подхватил Вотрен. — Те, кто пачкается в грязи, разъезжая в карете, — честные люди, а кто попадает в грязь, идя пешком, — те мошенники. Случись вам стянуть какую-нибудь безделицу, и вас будут

показывать на площади перед Дворцом юстиции, как диковинку. А украдите миллион, и о ваших добродетелях будут кричать в гостиных. Вы платите тридцать миллионов жандармерии и судейским за поддержание этой морали. Красота!

— Как! — воскликнула госпожа Воке. — Папаша Горио превратил в слиток свой кофейный сервиз?

— Не было ли там двух голубков на крышке?

— Были.

— Он очень дорожил им, должно быть; он плакал, когда сплющивал чашку и блюдце. Я видел это случайно, — сказал Эжен.

— Этот сервиз был для него дороже жизни, — ответила вдова.

— Ну, вот видите, насколько страсть владеет этим чудаком! — воскликнул Вотрен. — Эта женщина умеет задеть его слабую струнку.

Студент поднялся к себе. Вотрен куда-то ушел. Через несколько минут госпожа Кутюр и Викторина сели в карету, нанятую Сильвией. Пользуясь лучшими часами дня, Пуаре отправился под ручку с мадемуазель Мишоно гулять в Ботанический сад.

— Словно женатые, — сказала толстая Сильвия. — Сегодня они в первый раз выходят вместе.

Они так сухи, что, коли сшибутся, от них искры посыпятся.

— Берегись тогда шаль мадемуазель Мишоно, — посмеялась госпожа Воке, — она вспыхнет как трут.

Возвратясь в четыре часа вечера, Горио увидел при свете двух коптивших ламп Викторину, глаза которой были красны от слез. Госпожа Воке слушала рассказ о бесплодном утреннем визите к господину Тайферу. Ему надоели посещения дочери и старухи Кутюр, и он принял их, чтобы объясниться.

— Дорогая моя, — говорила госпожа Кутюр госпоже Воке, — представьте, он даже не предложил Викторине сесть, и ей пришлось все время стоять. А мне он сказал без гнева, совершенно хладнокровно, что мы можем избавить себя от труда приходить к нему, что мадемуазель (он даже не назвал ее дочерью) роняет себя в глазах своей назойливостью (это раз-то в год, чудовище!), что мать Викторины была бесприданницей, а поэтому мадемуазель не может ни на что притязать; словом, наговорил самых жестоких вещей, от которых бедная девочка залилась слезами. Крошка бросилась к ногам отца и смело заявила ему, что проявляет такую настойчивость только ради ма-

тери, что она готова безропотно покориться его воле, но умоляет прочесть завещание покойной; Викторина достала письмо и, подавая его отцу, говорила прекрасно, с большим чувством; не знаю, откуда у нее что бралось; сам господь бог наставлял ее, бедная девочка так воодушевилась, что, слушая ее, я ревела, как дура. А знаете, что делал тем временем этот изверг? Он стриг ногти; потом взял письмо, орошенное слезами несчастной госпожи Тайфер, и бросил его на камин, сказав: «Хорошо!» Он хотел поднять дочь, та ловила его руки, чтобы поцеловать, но он отнял их. Ну, не злодей ли это? Тут вошел этот долговязый болван, его сын, и даже не поздоровался с сестрой.

— Значит, оба они — чудовища? — вырвалось у папаши Горио.

— После этого, — продолжала госпожа Кутюр, не обратив внимание на восклицание добряка, — отец и сын ушли, раскланявшись со мной и ссылаясь на неотложные дела. Вот к чему свелось наше посещение. По крайней мере, он видел дочь! Не понимаю, как может он не признавать ее: она его вылитый портрет.

Столовники и жильцы прибывали один за другим; они здоровались, перекидываясь теми ничего не значащими словечками, к которым в

некоторых кругах Парижа сводятся все остроты: глупость является основным их элементом, и вся соль их заключается в жесте или интонации. Этот своеобразный жаргон постоянно меняется. Шутка, на которой он построен, никогда не живет и месяца. Политическое событие, уголовный процесс, уличная песенка, гаерство актера — все дает пищу этой игре ума, состоящей главным образом в том, чтобы подхватывать идеи и слова на лету, как мяч, и словно ракеткой отбрасывать обратно. Недавнее изобретение диорамы, дающей более полную иллюзию, чем панорама, ввело в некоторых художественных мастерских обычай прибавлять к словам в шутку окончание «рама». Эту манеру привил в пансионе Воке молодой художник, один из завсегдатаев.

— Ну, милсдарь Пуаре, как ваше драгоценное здоровьерама? — бросил музейный служащий и, не дожидаясь ответа, обратился к госпоже Кутюр и Викторине: — Вы чем-то огорчены, сударыни?

— Будем ли мы сегодня объедать? — воскликнул Орас Бьяншон, студент-медик, приятель Растиньяка. — У меня животик подвело, он спустился usque ad talones[5].

---

[5] Примечания: 5
До самых пят (лат.).

— Здоровый хладорама! — сказал Вотрен. — Подвиньтесь-ка, папаша Горио! Какого черта! Вы заняли своей ножищей всю печку.

— Достопочтенный господин Вотрен, — отозвался Бьяншон, — почему вы говорите хладорама? Это ошибка, надо говорить холодорама.

— Нет, — сказал музейный служащий, — полагается говорить хладорама, соответственно — хладнокровный.

— А вот и его сиятельство маркиз де Растиньяк, доктор кривды! — закричал Бьяншон, обхватывая шею Эжена и сжимая ее так, будто собирался его задушить. — Эй, все сюда!

Мадемуазель Мишоно вошла незаметно, поздоровалась с собравшимися, не говоря ни слова, и подсела к трем женщинам.

— Меня всегда пробирает дрожь при виде этой старой летучей мыши, — шепнул Бьяншон Вотрену, показывая на мадемуазель Мишоно. — Я изучил френологию Галля и нахожу у нее Иудины шишки.

— А вы с Иудой знакомы? — спросил Вотрен.

— Кто же не встречал его! — ответил Бьяншон. — Честное слово, это седая старая дева напоминает мне длинных червей, которые истачивают в конце концов целую балку.

— Вы попали в точку, молодой человек, — промолвил Вотрен, разглаживая бакенбарды.

И, роза, прожила век роз она: не боле,
Как утро лишь одно.

— А-а! Вот отличнейший супорама, — произнес Пуаре, увидя Кристофа, который входил, почтительно держа миску с супом.

— Извините, сударь, — сказала госпожа Воке, — это суп из свежей капусты.

Все молодые люди покатились со смеху.

— Попался, Пуаре!

— Пуарреша попался!

— Мамаша Воке получает два очка, — сказал Вотрен.

— Обратил ли кто-нибудь утром внимание на туман? — спросил служащий.

— Это был туман неистовый и беспримерный, — ответил Бьяншон, — туман зловещий, унылый, жестокий, удушливый, туман в духе Горио.

— Гориорама, — вставил художник, — потому что в нем не было видно ни зги.

— Эй, милорд Горио, о вашей милости говорят.

Папаша Горио, сидевший на самом конце стола, у двери, через которую вносили кушанья, поднял

голову, взял из-под салфетки кусок хлеба и по старой купеческой привычке, дававшей себя порой знать, стал обнюхивать его.

— Чего это вы? По-вашему, хлеб не хорош, что ли? — язвительно крикнула ему госпожа Воке, заглушая шум ложек, тарелок и голосов.

— Напротив, сударыня, он выпечен из этампской муки первого сорта.

— А почему вы это определили? — спросил Эжен.

— По белизне, по вкусу.

— А вкус у вас в носу, раз вы нюхаете хлеб, — сказала госпожа Воке. — Вы стали так бережливы, что, наконец, изловчитесь питаться одним запахом: кухни.

— Возьмите тогда патент на изобретение, — крикнул музейный служащий, — разбогатеете.

— Полноте, папаша Горио делает это, чтобы доказать, что был макаронщиком, — сказал художник.

— Значит, ваш нос заменяет реторту? — опять спросил музейный служащий.

— Ре… что? — подхватил Бьяншон.

— Ре-шето.

— Ре-бро.

— Ре-вень.

— Ре-мень.
— Ре-дис.
— Ре-миз.
— Ре-зонанс.
— Ре-верано.

Эти восемь ответов раздались со всех концов столовой, следуя один за другим с быстротой беглого огня, и вызвали дружный смех, тем более что бедный папаша Горио смотрел на сотрапезников с придурковатым видом, как будто силясь понять незнакомый язык.

— Ре..? — спросил он Вотрена, занимавшего место рядом с ним.

— Ре-тирад, старина! — сказал Вотрен, хлопнув папашу Горио по макушке и нахлобучив ему шляпу на самые глаза.

Бедный старик, ошеломленный этим внезапным нападением, минуту оставался неподвижным. Кристоф унес тарелку бедняги, думая, что тот кончил суп; поэтому, когда папаша Горио, приподняв шляпу, взялся за ложку, он ударил ею по столу. Все расхохотались.

— Это глупая шутка, сударь, — сказал старик, — и если вы позволите себе еще раз что-нибудь подобное…

— Что будет тогда, папаша? — перебил его

Вотрен.

— Когда-нибудь вы жестоко поплатитесь за это.

— В преисподней, не правда ли? — сказал художник. — В том темном уголке, куда ставят напроказивших детей?

— А вы что же не кушаете, мадемуазель? — обратился Вотрен к Викторине. — Значит, папа оказался несговорчивым?

— Ужасный человек, — сказала госпожа Кутюр.

— Надо научить его уму-разуму, — промолвил Вотрен.

— Но мадемуазель могла бы предъявить иск о возвращении платы за содержание, — сказал Растиньяк, сидевший близ Бьяншона, — раз она ничего не кушает. Посмотрите-ка, посмотрите, как воззрился папаша Горио на мадемуазель Викторину.

Старик, забыв о еде, пристально смотрел на несчастную девушку; выражение неподдельного горя застыло на ее лице — горе дочери, отвергаемой любимым отцом.

— Мы ошиблись, дружище, относительно папаши Горио, — шепнул Эжен. — Он не идиот и не бесчувственный человек. Исследуй его по

системе Галля и скажи мне свое мнение. Сегодня ночью я видел, как он плющил, словно воск, позолоченное блюдо, и на лице его заметны были не совсем обычные чувства. В его жизни есть какая-то тайна, и я постараюсь ее разгадать. Ты напрасно смеешься, Бьяншон, я не шучу.

— Этот человек представляет интерес для медицины, согласен, — сказал Бьяншон. — Я могу вскрыть его, коли ему будет угодно.

— Нет, пощупай ему голову.

— А, может быть, его глупость заразительна!

На следующий день Растиньяк оделся франтом и около трех часов пошел к госпоже де Ресто, легкомысленно предаваясь дорогой безумным мечтам, которые делают жизнь молодых людей полной чудесных, волнующих переживаний: они не считаются тогда ни с препятствиями, ни с опасностями, видят во всем успех, одной лишь игрой воображения придают поэтичность своему существованию, горюют и печалятся, когда рушатся проекты, существовавшие лишь в области их необузданных желаний; не будь они так неопытны и робки — общественный порядок стал бы невозможным. Эжен шагал, принимая всевозможные предосторожности, чтобы не запачкаться, и в то же время обдумывал, что

сказать госпоже де Ресто, запасался остроумием, сочинял удачные ответы в воображаемом разговоре, готовил остроты, фразы в духе Талейрана, предполагая стечение обстоятельств, благоприятное объяснению, на котором он строил свое будущее. Студент все-таки выпачкался в грязи и принужден был почистить сапоги и платье в Пале-Рояле.

«Если бы я был богат, — подумал Эжен, разменивая монету в сто су, захваченную на всякий случай, — я поехал бы в экипаже и мог бы поразмыслить на досуге».

Наконец, он пришел на улицу Эльдер и спросил графиню де Ресто. С холодным бешенством человека, уверенного, что со временем его ждет триумф, встретил он презрительные взгляды слуг, видевших, как он шел пешком по двору, и не слыхавших стука экипажа. Эти взгляды особенно задели его за живое, потому что он и без того понял уже свое ничтожество, войдя во двор, где била копытом прекрасная лошадь, в богатой сбруе, запряженная в один из тех щегольских кабриолетов, которые выставляют напоказ роскошь расточительной жизни и выдают привычку ко всем парижским утехам. Эжен погрузился в уныние. Ящички его мозга, казавшиеся ему полными

остроумия, захлопнулись; он вдруг поглупел. В ожидании ответа графини, которой лакей пошел доложить о визитере, он стоял у окна передней, заложив нога за ногу и облокотясь на шпингалет, и рассеянно смотрел во двор. Ему казалось, что время тянется медленно, и он ушел бы, если бы не был наделен тем южным упорством, которое творит чудеса, когда идет напролом.

— Барыня в будуаре и очень заняты, сударь, — сказал лакей, — они мне не ответили; не угодно ли вам пройти в гостиную; там уже есть один посетитель.

Дивясь страшной власти этого люда, умеющего одним словом выразить свое мнение о господах или осудить их, Растиньяк развязно отворил дверь, откуда вышел лакей; студент желал, несомненно, показать этой наглой челяди, что расположение комнат ему известно; но он весьма опрометчиво попал в комнату, где находились лампы, буфеты, аппарат для нагревания купальных полотенец; из нее был выход в темный коридор и на потайную лестницу. В передней послышался приглушенный смех, окончательно смутивший Эжена.

— Гостиная там, сударь, — сказал лакей с той притворной почтительностью, которая кажется,

в свою очередь, издевательством.

Эжен бросился назад так стремительно, что натолкнулся на ванну, в которую едва не упала его шляпа, к счастью, подхваченная им. В эту минуту в конце длинного коридора, освещенного маленькой лампочкой, отворилась дверь, и Растиньяк услышал одновременно голос госпожи де Ресто, голос папаши Горио и звук поцелуя. Вслед за лакеем он прошел через столовую в первую гостиную и остановился там у окна, заметив, что оно выходит во двор. Ему хотелось убедиться, действительно ли это тот самый папаша Горио. Сердце его страшно билось, ему вспоминались ужасные рассуждения Вотрена. Лакей ждал Эжена у двери гостиной, но оттуда вдруг вышел элегантный молодой человек и сказал нетерпеливым тоном:

— Я ухожу, Морис. Скажите графине, что я прождал ее больше получаса.

Этот нахал, несомненно имевший какое-то право быть таковым, направился, напевая итальянскую арию, к окну, где стоял Эжен; ему хотелось и заглянуть в лицо студента и посмотреть во двор.

— Не угодно ли вам подождать минуту, ваше сиятельство, барыня освободилась, — сказал

Морис, возвращаясь в переднюю.

В это мгновение папаша Горио спустился по потайной лестнице во двор и очутился у самых ворот. Старик вытащил зонтик и собирался раскрыть его, не обратив внимания, что ворота отворены, чтобы пропустить тильбюри, которым правил молодой человек с орденом. Папаша Горио едва успел отскочить назад; его чуть не раздавили. Конь, испугавшись зонтика, шарахнулся и помчался к подъезду. Молодой человек сердито обернулся, взглянул на папашу Горио и, прежде чем тот вышел, поклонился ему, своим поклоном подчеркивая вынужденное уважение, выказываемое ростовщикам, в которых нуждаются, или деланное почтение к человеку с подмоченной репутацией, вызывающее после краску стыда. Папаша Горио ответил добродушным дружеским кивком. Все это произошло с быстротой молнии. Поглощенный своими наблюдениями, Эжен не замечал, что он не один. Вдруг послышался голос графини.

— Вы собираетесь уходить, Максим? — сказала она с упреком и с легкой досадой в голосе.

Графиня не обратила внимания на появление тильбюри. Растиньяк круто повернулся и увидел графиню, кокетливо одетую в белый кашемиро-

вый пеньюар с розовыми бантами, причесанную небрежно, как все парижанки утром. Она благоухала, она, несомненно, только что приняла ванну; как бы смягченная красота ее казалась еще более томной, ее глаза были влажны. Молодые люди подмечают все: они мысленно вбирают очарование, излучаемое женщиной, подобно тому, как растение вбирает из воздуха нужные ему вещества. Эжену не надо было касаться рук этой женщины, чтобы ощутить их свежесть. Он видел сквозь кашемир розовые тона ее груди — пеньюар, приоткрываясь, обнажал ее, — и Эжен останавливал здесь свой взор. Графиня не нуждалась в корсете: одного пояса было достаточно, чтобы обрисовать ее гибкий стан; шея ее призывала к любви; ножки в туфельках были изящны. Максим взял ее руку, чтобы поцеловать, и только тогда Эжен заметил Максима, а графиня — Эжена.

— А! Это вы, господин де Растиньяк! Я очень рада вас видеть, — сказала она таким тоном, который догадливые люди умеют понимать.

Максим смотрел то на Эжена, то на графиню достаточно выразительно, чтобы заставить непрошеного гостя убраться.

«Дорогая моя, надеюсь, ты выставишь этого

дурачка за дверь!» Такой фразой можно было ясно и понятно истолковать взгляды заносчивого молодого человека, которого графиня. Анастази называла Максимом и за лицом которого она наблюдала с выражением покорности, выдающим все тайны женщины, хотя она сама того и не подозревает.

Растиньяк почувствовал жгучую ненависть к этому молодому человеку. Прежде всего белокурые и хорошо завитые волосы Максима показали ему, насколько ужасны были его собственные; затем сапоги Максима были из тонкой кожи и чисты, тогда как сапоги Эжена, несмотря на предосторожности, принятые им дорогой, покрылись легким слоем грязи; наконец, на Максиме был сюртук, изящно облегавший его стан и делавший его похожим на красивую женщину, тогда как Эжен и среди дня явился во фраке. Сообразительное дитя Шаранты сразу постигло, какое превосходство давал костюм этому денди, тонкому, высокому, с ясными глазами, с бледным лицом, одному из людей, способных пустить сирот по миру. Не дожидаясь ответа Эжена, госпожа де Ресто порхнула в другую гостиную, и развевавшиеся полы ее пеньюара то разлетались, то опускались, как крылья мотылька; Максим

последовал за ней. Взбешенный Эжен направился вслед за Максимом и графиней. Таким образом, все трое очутились лицом к лицу около камина, в большой гостиной. Студент хорошо знал, что мешает ненавистному Максиму, но хотел досадить денди, даже рискуя навлечь на себя неудовольствие госпожи де Ресто. Вспомнив, что он уже видел этого молодого человека на балу у госпожи де Босеан, Эжен сообразил вдруг, кем был Максим для госпожи де Ресто, и с тем юношеским задором, который ведет и к большим промахам и к большим успехам, сказал себе: «Вот мой соперник; хочу восторжествовать над ним!»

Безрассудный! Он не знал, что граф Максим де Трайль позволял оскорблять себя, стрелял первым и убивал, противника. Эжен был искусный охотник, но он еще не сшибал в тире двадцать кукол из двадцати двух.

Молодой граф бросился в глубокое кресло у камина, взял щипцы и принялся мешать угли с таким раздражением, с таким неистовством, что прекрасное лицо Анастази внезапно омрачилось. Молодая женщина повернулась к Эжену и бросила на него холодный, вопросительный взгляд, так красноречиво говоривший: «Почему вы не уходите?», что воспитанный человек тотчас же нашел

бы благовидный предлог, чтобы ретироваться.

Эжен изобразил на лице удовольствие и сказал:

— Сударыня, я не откладывал визита, чтобы…

Он остановился, не докончив фразы. Отворилась дверь. Внезапно появился господин, правивший тильбюри; он был без шляпы; не здороваясь с графиней, озабоченно оглядел он Эжена и протянул руку Максиму, сказав: «Здравствуйте», с дружеским выражением, крайне изумившим Эжена. Молодые провинциалы не ведают, как приятна жизнь втроем.

— Господин де Ресто, — промолвила графиня, указывая студенту на мужа.

Эжен низко поклонился.

— Господин де Растиньяк, — продолжала она, представляя Эжена графу де Ресто, — родственник виконтессы де Босеан по линии Марсильяков, которого я имела удовольствие встретить у нее на последнем балу.

Родственник виконтессы де Босеан по линии Марсильяков! Слова эти, произнесенные графиней почти напыщенно, вследствие особой гордости, которую испытывает хозяйка дома, когда может доказать, что принимает у себя лишь людей высшего круга, произвели магическое

действие: куда девался сдержанно-церемонный вид графа! Он поклонился студенту.

— Чрезвычайно рад, сударь, познакомиться с вами. Даже граф Максим де Трайль тревожно взглянул на Эжена; наглая заносчивость мгновенно с него спала. Могущественное вмешательство имени, словно удар волшебного жезла, открыло все ящички в мозгу южанина и вернуло ему припасенное остроумие. Атмосфера высшего парижского общества, доселе бывшая для него потемками, вдруг озарилась светом. Мысли его унеслись далеко от дома Воке, от папаши Горио.

— Я думал, что род Марсильяков угас, — сказал граф де Ресто Эжену.

— Да, сударь, — ответил тот. — Мой двоюродный дед, кавалер де Растиньяк, женился на наследнице рода Марсильяков; У него была только дочь, вышедшая замуж за маршала де Кларембо, деда матери госпожи де Босеан. Мы — младшая ветвь, ветвь, еще более обедневшая, так как мой дед, вице-адмирал, потерял все состояние на службе королю. Революционное правительство не захотело признать наших долговых претензий при ликвидации Ост-Индской компании.

— Не командовал ли ваш дед «Мстителем» до 1789 года?

— Да, командовал.

— Значит, он был знаком с моим дедом, командиром «Варвика».

Максим поглядел на госпожу де Ресто и слегка пожал плечами, как бы говоря: «Если они заведут разговор о флоте, то мы погибли». Анастази поняла взгляд господина де Трайля. С удивительным самообладанием, присущим женщинам, она сказала, улыбаясь:

— Подите сюда, Максим, у меня есть к вам просьба. Господа, мы предоставим вам плавать вместе на «Варвике» и на «Мстителе».

Она встала, сделала Максиму знак, исполненный насмешливого лукавства, и тот направился вместе с ней к будуару. Не успела эта морганатическая чета — меткое немецкое выражение, не имеющее равнозначащего на французском языке, — дойти до двери, как граф прервал беседу с Эженом.

— Анастази! Не уходите же, дорогая! — воскликнул он с раздражением. — Вы ведь знаете, что…

— Сейчас, сейчас, я на минутку, — перебила она его, — мне надо дать Максиму маленькое поручение.

Вскоре она вернулась. Подобно всем женщинам, принужденным следить за настроением

мужа, чтобы иметь возможность вести себя как вздумается, умеющим угадывать, до какого предела можно идти, не теряя драгоценного доверия, в мелочах всегда считаясь с мужем, графиня убедилась по интонациям голоса графа, что оставаться в будуаре было бы весьма небезопасно. Этой помехой она была обязана Эжену. Поэтому графиня, с выражением величайшей досады, указала на студента Максиму, который весьма насмешливо сказал, обращаясь к графу, к его жене и Эжену:

— Ну, вы заняты важными делами, я не хочу вам мешать. Прощайте! — И исчез.

— Не уходите, Максим! — крикнул граф.

— Приходите обедать, — сказала графиня и, еще раз покинув Эжена и графа, пошла вслед за Максимом в первую гостиную, где они задержались, полагая, что де Ресто успеет тем временем выпроводить Эжена.

Растиньяк слышал то их хохот, то разговор, перемежавшийся паузами, но коварный студент острил с господином де Ресто, льстил ему или вовлекал в спор, чтобы дождаться графини и выяснить ее отношения с папашей Горио. Эта женщина, очевидно, влюблена в Максима, эта женщина, державшая в подчинении мужа и бывшая в тайной связи со старым макаронщиком,

казалась студенту существом таинственным. Он хотел проникнуть в тайну, надеясь стать, таким образом, неограниченным властелином этой типичнейшей парижанки.

— Анастази! — опять позвал граф жену.

— Ну, бедный мой Максим, ничего не поделаешь, — сказала она молодому человеку. — До вечера…

— Надеюсь, Нази, — шепнул он ей на ухо, — что вы выставите этого юнца; когда ваш пеньюар приоткрывался, глаза его загорались, как угли. Чего доброго, он станет объясняться вам в любви, компрометировать вас, и мне придется его пристрелить.

— Вы с ума сошли, Максим! — сказала она. — Наоборот, эти студентики — превосходные громоотводы. Я, разумеется, постараюсь восстановить против него Ресто.

Максим расхохотался и вышел, графиня последовала за ним и стала у окна, наблюдая, как он садится в экипаж и горячит коня, взмахивая бичом. Она вернулась только после того, как затворились ворота.

— Какое совпадение, моя дорогая, — крикнул ей граф, когда она вошла, — поместье, где живут родные господина де Растиньяка, находится

недалеко от Вартейля, на Шаранте. Наши деды были знакомы.

— Очень рада, что у нас есть общие знакомые, — промолвила графиня рассеянно.

— Больше, чем вы думаете, — сказал Эжен, понизив голос.

— Каким образом? — спросила она с живостью.

— Да я только что видел, — продолжал студент, — как от вас вышел господин, с которым я живу дверь в дверь в одном и том же пансионе, папаша Горио.

Услышав эту фамилию, с прибавлением «папаша», граф, помешивавший в камине головешки, уронил щипцы в огонь, словно обжегшись, и встал.

— Сударь, вы могли бы сказать: господин Горио!

Графиня сначала побледнела, видя досаду мужа, затем покраснела; она была крайне смущена. Потом она ответила с напускной непринужденностью, стараясь придать голосу естественное выражение:

— Никого другого мы не любим больше, чем… Она не докончила фразы, посмотрела на фортепиано, как будто ей пришла в голову какая-то

фантазия, и сказала:

— Вы любите музыку, сударь?

— Очень, — ответил Эжен, краснея и дурея от смутной мысли, что он ляпнул что-то весьма несуразное.

— Вы поете? — воскликнула она, уходя к фортепиано и стремительно пробегая по всем клавишам, от нижнего до и до верхнего фа. — Р-р-р-ра!

— Нет, сударыня.

Граф де Ресто расхаживал взад и вперед.

— Жаль, вы лишены сильного оружия для завоевания успеха. Ca-a-ro, ca-a-ro, ca-a-a-aro, non du-bi-ta-re[6], — запела графиня.

Произнеся имя папаши Горио, Эжен ударил волшебным жезлом, но результат получился противоположный тому, какой имели слова: «родственник госпожи де Босеан». Он очутился в положении человека, удостоившегося особой чести попасть к любителю редкостей и неловко задевшего шкаф со статуэтками, отчего упали три-четыре плохо приклеенные головки. Он готов был провалиться сквозь землю. Лицо госпожи де Ресто было сухо и холодно, а глаза, принявшие равнодушное выражение, избегали взгляда зло-

---

[6] Примечания: 6
Милый, милый, не сомневайся (итал.).

получного студента.

— Сударыня, — сказал тот, — вам надо поговорить с господином де Ресто, имею честь засвидетельствовать свое почтение, позвольте мне…

— Когда бы вы ни пожаловали, — перебила графиня, жестом останавливая Эжена, — будьте уверены, что вы доставите величайшее удовольствие и господину де Ресто, и мне.

Эжен низко поклонился чете и вышел в сопровождении господина де Ресто, который, несмотря на протесты студента, проводил его до передней.

— Когда бы ни пожаловал этот господин, — сказал граф Морису, — ни графини, ни меня не будет дома.

Выйдя на подъезд, Эжен заметил, что идет дождь.

— Ну, этого еще недоставало, — сказал он сам себе. — Я только что допустил бестактность и сам не ведаю, в чем она заключается и насколько велика, а в довершение всего испорчу теперь фрак и шляпу! Лучше бы сидеть по-прежнему в своей норе и корпеть над юриспруденцией, не помышляя ни о чем, кроме судейской карьеры. Разве я могу бывать в свете, когда там, чтобы не ударить лицом в грязь, нужна тьма всего: кабрио-

леты, вычищенные сапоги, прочий необходимый такелаж, золотые цепочки, утром — белые замшевые перчатки за шесть франков, а вечером непременно желтые! Я влип со старым дуралеем папашей Горио!

Когда он очутился в воротах, кучер наемной кареты, несомненно только что доставивший новобрачных и думавший лишь о том, как бы надуть хозяина, прикарманив плату за несколько незаконных поездок, сделал знак Эжену, увидя его без зонта, во фраке, в белом жилете, в желтых перчатках и вычищенных сапогах. Эжен находился во власти слепой ярости, все глубже и глубже увлекающей молодого человека в пропасть, в которую он сам шагнул, словно надеясь найти выход из нее. Растиньяк, не имевший и двадцати су в кармане, кивнул кучеру в знак согласия и сел в карету, где несколько лепестков померанца и серебряные нити канители подтверждали, что в ней недавно ехали новобрачные.

— Куда прикажете? — спросил кучер, успевший снять белые перчатки.

«Черт возьми, — подумал Эжен, — раз уж я тону, то надо, по крайней мере, извлечь из этого какую-нибудь пользу!»

— В особняк де Босеанов! — прибавил он гром-

ко.

— В какой? — спросил кучер.

Этот убийственный вопрос привел Эжена в замешательство. Вновь испеченный щеголь не знал, что есть два особняка де Босеанов, не ведал, насколько богат он родственниками, которым нет до него никакого дела.

— Виконта де Босеана, на улице…

— Гренель, — перебил его кучер, кивнув головой. — Ведь есть еще особняк графа и маркиза де Босеана на улице Сен-Доминик, — прибавил он, поднимая подножку.

— Я это и без вас знаю, — сухо ответил Эжен. «Сегодня все издеваются надо мной! — подумал он, бросая шляпу на переднее сиденье. — Вот выходка, которая обойдется мне не дешевле, чем выкуп короля. Но по крайней мере, я являюсь с визитом к своей так называемой кузине как заправский аристократ. Папаша Горио обошелся мне уже не меньше десяти франков, старый злодей! Ей-ей, я расскажу о своем приключении госпоже де Босеан, может быть, это рассмешит ее. Она, несомненно, знает тайну преступной связи этой старой бесхвостой крысы с красавицей графиней. Лучше понравиться кузине, чем обивать пороги этой безнравственной женщины,

которая, по-видимому, стоит недешево. Если одно имя прекрасной виконтессы оказывает такое магическое действие, то какое же влияние должна иметь она сама! Обратимся в высшую инстанцию. Когда целишь во что-нибудь на небе, надо метить в бога».

Эти слова кратко выразили множество мыслей, роившихся в его голове. Видя, что льет дождь, он немного успокоился и приободрился. Он подумал, что трата двух оставшихся у него драгоценных монет в сто су будет не напрасной: останутся невредимы сапоги, шляпа и фрак. У него стало весело на душе, когда он услышал возглас кучера: «Отворите ворота!» Под рукою швейцара в красной с позументами ливрее заскрипели петли ворот; Растиньяк самодовольно взирал, как его карета проехала ворота, повернула во двор и остановилась под навесом подъезда. Извозчик в грубом синем плаще с красной оторочкой слез и спустил подножку. Выйдя из кареты, Эжен услышал подавленный смех, доносившийся из-за колонны особняка. Трое или четверо лакеев уже потешались над этим мещанским свадебным экипажем. Их смех открыл глаза студенту, как только он сравнил эту колымагу с элегантнейшей двухместной каретой, запряженной парой

резвых коней, украшенных розетками на ушах и грызших удила; напудренный кучер с прекрасным галстуком сдерживал их на туго натянутых вожжах, как будто они собирались умчаться. На Шоссе д'Антен, во дворе госпожи де Ресто, стоял изящный кабриолет двадцатишестилетнего молодого человека. В Сен-Жерменском предместье знатного вельможу ожидала роскошная карета, какую не купишь и за тридцать тысяч франков.

«Кто же там? — подумал Эжен, слишком поздно сообразивший, что в Париже вряд ли встретишь еще не занятую женщину и что завоевание одной из этих королев — дело очень нелегкое. — Черт возьми! У моей кузины, несомненно, тоже есть свой Максим».

Он поднялся по ступеням подъезда со смертельным холодом в душе. При его появлении стеклянная дверь отворилась; он встретил лакеев, степенных, как ослы, когда их чистят скребницей. Бал, на который он прибыл, происходил в парадных приемных покоях, находившихся в нижнем этаже особняка де Босеанов. Эжен не успел явиться с визитом к кузине в промежуток времени, отделявший приглашение на бал от самого бала, и не видел еще личных апартаментов госпожи де Босеан; ему предстояло поэтому увидеть впервые

чудеса особого изящества, отражающего душу и образ жизни женщины высшего круга. Это было тем более интересно, что гостиная госпожи де Ресто давала ему материал для сравнения. Виконтессу можно было видеть, начиная с половины пятого. Она не приняла бы своего кузена, явись он пятью минутами раньше. Эжен не постиг еще тонкостей парижского этикета. Его провели к госпоже де Босеан по широкой белой лестнице с позолоченными перилами, устланной красным ковром и уставленной цветами. Он не знал биографии госпожи де Босеан, передававшейся из уст в уста, — одной из тех изменчивых историй, которые каждый вечер рассказывают друг другу на ушко в парижских гостиных.

Виконтесса уже три года находилась в связи с очень знатным и богатым португальским вельможей, маркизом д'Ахуда-Пинто. Это была одна из тех невинных связей, которые так привлекательны для участников, что они совершенно не выносят третьих лиц. Виконт де Босеан сам подал пример обществу, волей-неволей признав этот морганатический союз. В первые дни этой дружбы приезжавшие к виконтессе в два часа заставали у нее маркиза д'Ахуда-Пинто. Госпожа де Босеан не могла не пускать их к себе — это

было бы неприлично, но она так холодно принимала их и так пристально разглядывала карнизы, что каждому было ясно, насколько он ее стесняет. Когда в Париже стало известно, что визиты между двумя и четырьмя стесняют госпожу де Босеан, она оказалась в полнейшем одиночестве. Она ездила в Буфф и в Оперу в сопровождении господина де Босеана и господина д'Ахуда-Пинто, но де Босеан как человек многоопытный, усадив жену и португальца, всегда оставлял их наедине. Господину д'Ахуда предстояло сочетаться браком: он женился на девице де Рошфид. Во всем высшем обществе не знала об этой свадьбе лишь одна особа — госпожа де Босеан. Кое-кто из ее приятельниц намекал на это в разговоре с нею; она отвечала смехом, полагая, что они из зависти хотят смутить ее счастье. Между тем предстояло церковное оглашение. Красавец португалец еще не осмелился произнести коварные слова, хотя и приехал для того, чтобы сообщить виконтессе о своей женитьбе. Почему? По-видимому, нет ничего труднее, как объявить женщине подобный ультиматум. Есть мужчины, лучше чувствующие себя на дуэли перед противником, который грозит проколоть им сердце шпагой, чем перед женщиной, которая будет ныть в продолжении

двух часов, а потом притворится умирающей и потребует нюхательной соли. Как раз в эту минуту господин д'Ахуда-Пинто сидел как на иголках и собирался уж уйти, говоря себе, что госпожа де Босеан может узнать эту новость иным путем — он может ей написать; удобнее совершить это любовное убийство пером, нежели личным объяснением. Когда лакей виконтессы доложил о господине Эжене де Растиньяке, маркиз д'Ахуда-Пинто радостно встрепенулся. Да будет вам известно, что сообразительность любящей женщины по части всяких догадок еще больше, чем ее уменье вносить разнообразие в наслаждения. Когда ей предстоит быть покинутой, она скорее угадывает смысл какого-нибудь жеста, чем конь чует отдаленное веянье любви, как о том рассказал Вергилий. Поэтому уверяю вас, что госпожа де Босеан подметила этот невольный, легкий, но страшный в своей наивности трепет.

Эжен не знал, что в Париже никогда не следует являться к кому бы то ни было, не узнав предварительно от друзей дома всей подноготной мужа, жены и детей, дабы не совершить одной из тех грубых бестактностей, о которых в Польше выражаются картинно; «Запрягите в свою телегу пять волов», — конечно, чтобы вытащить вас из лужи,

в которую вы сели. Во Франции этим обмолвкам не дано еще никакого названия, несомненно, потому, что они кажутся здесь невозможными, вследствие огромного распространения сплетен. После того как Эжен сел уже в лужу у госпожи де Ресто, которая даже не дала ему запрячь пяти волов в телегу, один он способен был, явившись к госпоже де Босеан, вернуться к своей профессии погонщика волов. Но тогда как госпожу де Ресто и господина де Трайля он страшно стеснял своим присутствием, господина д'Ахуда он, наоборот, выводил из затруднительного положения.

— Прощайте, — сказал португалец, торопясь выйти, когда Эжен вошел в маленькую кокетливую, серую с розовым, гостиную, где роскошь казалась простым изяществом.

— До вечера! Ведь вечером мы едем в Буфф? — спросила госпожа де Босеан, поворачивая голову и бросая взгляд на маркиза.

— Не могу, — ответил он, берясь за ручку двери. Госпожа де Босеан встала и подозвала его к себе, не обращая ни малейшего внимания на Эжена; тот стоял, ослепленный блеском волшебного богатства, веря в реальность арабских сказок и не зная, куда деваться в присутствии этой не замечавшей его женщины. Виконтесса подняла

указательный палец правой руки и красивым движением пригласила маркиза сесть напротив. В этом жесте было столько бурной деспотии ческой страсти, что маркиз выпустил ручку двери и вернулся. Эжен не без зависти смотрел на него.

«Вот владелец кареты! — подумал он. — Но неужели надо иметь резвых коней, ливрейных лакеев и груды золота, чтобы удостоиться взгляда парижанки?» Демон роскоши уязвил его сердце, лихорадка наживы охватила его, от жажды золота в горле у него пересохло. У него было сто тридцать франков на три месяца. Его отец, мать, братья, сестры, тетка — все вместе тратили менее двухсот франков в месяц! Мелькнувшее в его голове сопоставление своего настоящего положения и цели, которой надо достичь, способствовало его замешательству.

— Почему же вы не можете быть в Итальянской опере? — спросила виконтесса, смеясь.

— Дела! Я обедаю у английского посланника.

— Бросьте дела.

Когда человек обманывает, он неизбежно вынужден нагромождать одну ложь на другую. И господин д'Ахуда сказал, усмехнувшись:

— Вы этого требуете?

— Да, конечно.

— Я очень рад это слышать, — ответил он, бросая на нее многозначительный взгляд, который успокоил бы всякую другую женщину.

Он взял руку виконтессы, поцеловал ее и вышел.

Эжен провел рукой по волосам и изогнулся для поклона, думая, что теперь госпожа де Босеан обратит на него внимание, но она вдруг вскочила, бросилась на галерею, подбежала к окну и стала наблюдать за господином д'Ахуда, в то время как тот садился в карету; она вся обратилась в слух и разобрала слова, повторенные выездным лакеем кучеру:

— К господину де Рошфиду.

Слова эти и стремительность, с какой д'Ахуда бросился в карету, поразили эту женщину, как гром и молния; смертельная тревога вновь овладела ею. В высшем свете самые страшные катастрофы внешне только этим и ограничиваются. Виконтесса вошла к себе в спальню, присела к столу и взяла лист красивой бумаги.

«Раз вы обедаете у Рошфидов, а не в английском посольстве, — написала она, — вы обязаны дать мне объяснение. Жду вас».

Поправив несколько неразборчивых букв (рука ее судорожно вздрагивала), она написала внизу

К., что означало Клара Бургундская, и позвонила.

— Жак, — сказала она тотчас же явившемуся лакею, — пойдите в половине восьмого к господину де Рошфиду и спросите маркиза д'Ахуда. Если господин маркиз там, передайте ему эту записку, ответа не надо; если же его нет, вы вернетесь и отдадите мне письмо обратно.

— Ваше сиятельство ожидают в гостиной.

— Ах, да, правда, — сказала она, отворяя дверь.

Эжен начал чувствовать себя очень неловко; наконец, виконтесса предстала пред ним и сказала взволнованным голосом, от которого дрогнуло его сердце:

— Простите, сударь, мне надо было написать два слова, теперь я всецело в вашем распоряжении.

Она не сознавала, что говорит, ибо вот что она думала: «Ах! Он хочет жениться на мадемуазель де Рошфид. Но разве он свободен? Эта свадьба расстроится сегодня же, или я… Но завтра об этом не будет и речи».

— Кузина! — ответил Эжен.

— Что такое? — протянула виконтесса, окидывая студента вызывающим, леденящим взглядом.

Эжен понял это «что такое». За три часа он

столько узнал, что был настороже.

— Сударыня, — поправился он, краснея. Он запнулся, потом продолжал: — Простите меня, я так нуждаюсь в покровительстве, что немножко родства мне не повредит.

Госпожа де Босеан улыбнулась, но невесело: она чувствовала уже нависшую над ней беду.

— Если бы вы знали положение моей семьи, — продолжал он, — вы согласились бы взять на себя роль одной из тех сказочных фей, которые находили удовольствие в том, чтобы устранять препятствия с пути своих крестников.

— Чем же я могу быть вам полезной, кузен? — спросила она, смеясь.

— Не знаю. Быть с вами в родстве, даже теряющемся во мраке прошлого, уже великое счастье. Вы смутили меня, я забыл, что хотел вам сказать. Кроме вас, у меня нет знакомых в Париже. Ах! Как я хотел бы посоветоваться с вами, попросить вас пригреть меня, как бедного ребенка, который желает уцепиться за вашу юбку и сумеет умереть за вас.

— Вы могли бы убить кого-нибудь за меня?

— Хоть двоих! — воскликнул Эжен.

— Дитя! Да, вы дитя, — сказала она, удерживая слезы. — Вы вот способны любить искренно!

— О! — воскликнул он, склоняя голову.

Ответ честолюбца пробудил в виконтессе живой интерес к нему. Южанин делал свой первый шахматный ход. Промежуток времени, отделявший голубой будуар госпожи де Ресто от розовой гостиной госпожи де Босеан, равнялся для него трем годам изучения кодекса Парижского права; об этом кодексе не принято говорить, хотя он составляет высшую общественную юриспруденцию; которая, будучи хорошо изучена и умело применена на практике, обеспечивает блестящую карьеру.

— А! Вспомнил, — сказал Эжен. — На вашем балу я обратил внимание на госпожу де Ресто и сегодня утром был у нее.

— Вероятно, вы очень помешали ей, — сказала госпожа де Босеан, улыбаясь.

— О, да! Я круглый невежда и вооружу против себя всех, если вы откажете мне в помощи. Мне кажется, что в Париже очень трудно встретить молодую, красивую, богатую, изящную женщину, которая не была бы занята, а мне нужна такая; она научила бы меня тому, что вы, женщины, умеете так хорошо объяснять: жизни. Я везде встречу какого-нибудь де Трайля. Вот я и приехал к вам просить помочь мне разгадать загадку и

сказать, в чем состоит глупость, которую я там совершил. Я сказал о некоем папаше…

— Герцогиня де Ланжэ, — доложил Жак, прерывая студента на полуслове. Того передернуло от досады.

— Если вы хотите иметь успех, — шепнула виконтесса, — то прежде всего умейте сдерживаться.

— А! Здравствуйте, дорогая моя, — произнесла она, вставая и идя навстречу герцогине. Виконтесса так горячо, с такой сердечностью жала ей руки, точно перед ней была родная сестра; герцогиня отвечала самыми нежными ласками.

«Вот две близких подруги, — подумал Растиньяк. — Отныне я буду иметь двух покровительниц; у обеих этих женщин, должно быть, одинаковые привязанности, и герцогиня несомненно, примет во мне участие».

— Какой удачной мысли обязана я счастью видеть тебя, дорогая Антуанетта? — сказала госпожа де Босеан.

— Да я просто заметила, что господин д'Ахуда-Пинто входит к де Рошфидам, и подумала: значит, вы одни.

Госпожа де Босеан не закусила губы, не покраснела, взгляд ее не изменился, чело как будто

прояснилось, в то время как герцогиня произносила эти роковые слова.

— Если бы я знала, что вы заняты, — продолжала герцогиня, поворачиваясь к Эжену.

— Господин Эжен де Растиньяк, один из моих кузенов, — сказала виконтесса. — Не знаете ли, как поживает генерал де Монриво? Сэризи говорил мне вчера, что его совсем не видно; был он у вас сегодня?

Ходили слухи, что герцогиня покинута господином де Монриво, в которого она была безумно влюблена. Вопрос этот задел ее за живое, и она ответила, вспыхнув:

— Вчера он был в Елисейском дворце.

— На дежурстве, — сказала госпожа де Босеан.

— Клара, вы знаете, конечно, — снова заговорила герцогиня, глядя на виконтессу с нескрываемым злорадством, — что завтра состоится оглашение о браке д'Ахуда-Пинто с мадемуазель де Рошфид?

Удар был слишком жесток; виконтесса побледнела и ответила, смеясь:

— Сплетня, забавляющая глупцов. С какой стати господину д'Ахуда связывать одну из знатнейших португальских фамилий с Рошфидами? Рошфиды вновь испеченные дворяне.

— Но Берта, говорят, принесет с собой двести тысяч годового дохода.

— Господин д'Ахуда слишком богат для подобных расчетов.

— Но, дорогая, мадемуазель де Рошфид очень мила.

— А!

— Как бы то ни было, он обедает у них сегодня. Все уже условлено. Меня крайне удивляет, что вы так мало осведомлены.

— Какую же глупость вы сделали, сударь? — сказала госпожа де Босеан. — Этот бедный мальчик так недавно попал в свет, что ничего не понимает в наших разговорах, дорогая Антуанетта. Пожалейте его, отложим этот разговор до завтра. Завтра, несомненно, все будет официально известно, и вы любезно меня известите, уже не рискуя ошибиться.

Герцогиня смерила Эжена с головы до ног высокомерным взглядом, принижающим человека, сводящим его к нулю.

— Я, сам того не ведая, вонзил кинжал в сердце госпожи де Ресто. Сам того не ведая, вот в чем моя вина, — сказал студент, которому сметливость сослужила хорошую службу и помогла уловить язвительные насмешки, скрытые под сердечны-

ми фразами этих женщин, — С людьми, которые причиняют вам боль совершенно сознательно, вы продолжаете видеться и, может быть, даже боитесь их, а на того, кто ранит, не зная, какую глубокую рану он наносит, смотрят как на глупца, как на простофилю, не умеющего ничем воспользоваться, и каждый презирает его.

Госпожа де Босеан бросила на студента проникновенный взгляд, которым великие души умеют выразить одновременно и признательность и чувство достоинства. Взгляд этот был бальзамом, успокаивавшим сердце студента, только что уязвленное достойным судебного исполнителя взором, каким смерила его герцогиня.

— Представьте себе, — продолжал Эжен, — мне перед этим только что удалось завоевать расположение графа де Ресто; должен вам сказать, сударыня, — обратился он к герцогине со смиренным и в то же время лукавым видом, — что пока я лишь горемычный студент, очень одинокий, очень бедный…

— Не говорите этого, господин де Растиньяк. Мы, женщины, всегда пренебрегаем тем, кем все пренебрегают.

— Ну! — протянул Эжен. — Мне всего лишь двадцать два года; надо уметь переносить невзгоды,

свойственные возрасту. К тому же я на исповеди и преклоняю колена в исповедальне, красивее которой не сыщешь: в этой совершают грехи, а каются в другой.

Герцогиня приняла холодный вид при этих безбожных речах и осудила их дурной тон, обратившись к виконтессе со словами:

— Господин де Растиньяк приехал из…

Госпожа де Босеан рассмеялась от души, глядя на своего кузена и герцогиню.

— Он приехал, дорогая моя, и ищет наставницы, которая научила бы его хорошему тону.

— Разве не естественно, герцогиня, — возразил Эжен, — желать быть посвященным в тайны того, что нас пленяет? («Ну, — подумал он, — право, я выражаюсь, как парикмахер».)

— Но госпожа де Ресто, кажется, ученица господина де Трайля, — промолвила герцогиня.

— Я не знал этого, сударыня, — ответил студент. — Поэтому я имел неосторожность оказаться лишним. Словом, я поладил с мужем настолько, что жена вынуждена была временно терпеть мое присутствие, как вдруг мне вздумалось сказать, что я знаком с человеком, который на моих глазах только что вышел по потайной лестнице, а перед этим поцеловал в коридоре

графиню.

— Кто же это? — воскликнули обе женщины.

— Дряхлый старик, живущий на два луидора в месяц в предместье Сен-Марсо, подобно мне, бедному студенту; настоящий горемыка, над которым издеваются все; мы называем его «папаша Горио».

— Но вы действительно младенец! — вскричала виконтесса. — Госпожа де Ресто — урожденная Горио.

— Дочь макаронщика, — подхватила герцогиня, — женщина низкого происхождения, представленная ко двору в один день с дочерью кондитера. Помните, Клара? Король рассмеялся и сострил по-латыни насчет муки. Люди… как это? Люди…

— E jusdem farinae[7], — вставил Эжен.

— Вот, вот.

— А! Так это ее отец, — произнес студент с ужасом.

— Ну да; у этого чудака две дочери, которых он безумно любит, несмотря на то, что и та и другая почти отреклись от него.

— Вторая, если не ошибаюсь, замужем за

---

[7] Примечания: 7
Из той же муки (лат.).

банкиром с немецкой фамилией, бароном Нусингеном? — сказала виконтесса, глядя на госпожу де Ланжэ, — Ее зовут Дельфина? Не та ли это блондинка, у которой литерная ложа в Опере, она бывает также в театре Буфф и очень громко смеется, чтобы обратить на себя внимание?

Герцогиня промолвила, улыбаясь:

— Но я дивлюсь на вас, дорогая моя. Почему вы уделяете столько внимания людям этого сорта? Надо было влюбиться до безумия, как Ресто, чтобы выпачкаться в муке мадемуазель Анастази. Она будет стоить ему не дешево! Она во власти господина де Трайля, и он погубит ее.

— Они отреклись от отца? — переспросил Эжен.

— Ну да, от отца, своего отца, словом, от отца, — продолжала виконтесса, — и от хорошего отца: говорят, он дал каждой из них по пятьсот или по шестьсот тысяч приданого, чтобы они были счастливы в замужестве, а себе оставил всего-навсего восемь-десять тысяч франков годового дохода, полагая, что дочери останутся его дочерьми, что он создал себе у них двойное существование, два дома, где будет окружен любовью, обласкан. Через два года зятья изгнали его из своего общества, как последнего пария…

Слезы навернулись на глазах Эжена, находившегося под свежим впечатлением чистых, святых семейных привязанностей, под властью пленительных юношеских верований и переживавшего первый день на поле брани парижской цивилизации. Искренние чувства так заразительны, что несколько мгновений все трое молча смотрели друг на друга.

— О, боже мой, — сказала госпожа де Ланжэ, — да, это кажется ужасным, и, однако, мы наблюдаем это ежедневно. Нет ли тут особой причины? Скажите, дорогая, думали вы когда-нибудь о том, что такое зять? Зять — человек, для которого мы с вами воспитываем дорогое нам существо, связанное с нами тысячью уз, утеху семьи в течение семнадцати лет, ее белоснежную душу, сказал бы Ламартин., но это существо станет бичом семьи. Отняв у нас дочь, этот человек начинает с того, что хватается за ее любовь к себе, как за топор, чтобы заживо обрубить в сердце этого ангела корни всех чувств, привязывающих ее к семье. Вчера наша дочь была для нас всем, мы были всем для нее; на другой день она делается нашим врагом. Разве мы не видим этой трагедии изо дня в день? Тут невестка крайне дерзка со свекром, который все принес в жертву сыну. Там зять вы-

гоняет тещу из дому. Иногда, говорят: разве есть в современном обществе что-либо драматическое? Но что может быть ужаснее тех драм, в которой главный персонаж — зять, не говоря уже о наших браках, ставших чем-то в высшей степени нелепым. Я ясно представляю себе, что случилось со старым макаронщиком. Помнится, этот Форио…

— Горио, сударыня.

— Да, этот Морио был председателем секции во время революции; он знал закулисную сторону пресловутого голода и положил начало своему богатству тем, что продавал в те времена муку в десять раз дороже, нежели она ему стоила. А муки у него было сколько угодно. Ему продавал ее на огромные суммы управляющий имениями моей бабушки. Этот Горио, подобно всему этому люду, конечно, делился доходами с Комитетом общественного спасения. Помню, управляющий говорил бабушке, что она может жить в Гранзилье вполне спокойно, так как ее мука является превосходным удостоверением в благонадежности. Так вот этот Лорио, поставлявший хлеб рубителям голов, имеет одну лишь страсть. Он, говорят, обожает дочерей. Старшую он посадил на нашест в дом Ресто, младшая была привита к лозе барона де Нусингена, богатого банкира,

разыгрывающего из себя роялиста. Вы хорошо понимаете, что во время Империи зятья мирились с тем, что у них бывает этот старый «Девяносто третий», — при Буонапарте это куда ни шло. Но когда вернулись Бурбоны, простак стал стеснять господина де Ресто, а банкира и подавно. Дочери, может быть и любившие отца по-прежнему, захотели сохранить и козу и капусту, и отца и мужа; они принимали Горио, когда у них никого не бывало, они делали это как будто из-за любви к нему. «Папа, приходите, нам будет лучше, когда мы будем наедине!» и т. д. Но, дорогая моя, я думаю, что истинные чувства отличаются зоркостью и проницательностью: сердце этого несчастного «Девяносто третьего» обливалось кровью. Он понял, что дочери стыдятся его, что они любят своих мужей, а он вредит зятьям. Пришлось пожертвовать собой. И он принес себя в жертву, так как он отец: он сам подверг себя изгнанию. Видя, насколько дочери довольны, он понял, что поступил правильно. Отец и дети стали соучастниками этого маленького преступления. Мы видим это на каждом шагу. Разве этот папаша Горио не был бы сальным пятном в салоне своих дочерей? Он скучал бы, ему было бы там не по себе. То, что произошло с этим отцом, может случиться с самой

хорошенькой женщиной, всецело отдающейся любви: если она своей любовью наводит скуку на своего возлюбленного, то он бежиг от нее, делает подлости, чтобы избавиться от нее. Все чувства таковы. Наше сердце — сокровище, опустошите его сразу, и вы будете разорены. Мы так же беспощадны к чувству, отдаваемому безраздельно, как и к человеку, не имеющему ни гроша. Отец этот отдал все. На протяжении двадцати лет он отдавал свою душу, свою любовь; все свое состояние он отдал в один день. Когда лимон был выжат, дочери выбросили кожуру на улицу.

— Светское общество — подло, — сказала виконтесса, перебирая шаль и не поднимая глаз, так как ее задели за живое слова госпожи Лаижэ, которая бросила камешек в ее огород, рассказывая эту историю.

— Подло! Нет, — возразила герцогиня, — оно идет своим путем, вот и все. Я говорю с вами так, чтобы показать, что не обманываюсь насчет света. Я думаю то же, что и вы, — сказала она, пожимая руку виконтессе. — Свет — трясина; постараемся удержаться на высотах.

Она встала и поцеловала госпожу де Босеан в лоб, говоря:

— Вы очень хороши сейчас, дорогая. Я никогда

не видела такого прелестного румянца.

Затем она вышла, слегка кивнув головой студенту.

— Папаша Горио изумителен! — сказал Эжен, вспомнив, как старик сплющивал ночью золоченый сервиз.

Госпожа де Босеан не слышала его; она задумалась. Молчание продолжалось несколько секунд, и бедный студент оцепенел от смущения, не смея ни уйти, ни оставаться, ни заговорить.

— Светское общество подло и зло, — произнесла виконтесса. — Как только нас постигнет беда, всегда найдется услужливый друг, чтобы сообщить нам о ней и поворачивать в нашем сердце кинжал, заставляя нас любоваться его рукояткой. Сейчас же и сарказм и насмешки! О! Я сумею защититься.

Знатная дама подняла голову, и молнии сверкнули в ее гордых глазах.

— А! — произнесла она, увидя Эжена. — Вы здесь!

— Все еще! — сказал он жалобно.

— Так вот, господин де Растиньяк, обращайтесь с обществом так, как оно того заслуживает. Вы хотите достичь успеха, я помогу вам. Вы измерите глубину женской испорченности, вы

изведаете беспредельность презренного мужского тщеславия. Хотя я внимательно читала книгу света, в ней все же оставались страницы, мне неизвестные. Теперь я знаю все. Чем хладнокровнее вы будете рассчитывать, тем дальше подвинетесь вперед. Разите, не давая пощады, вас будут бояться. Смотрите на мужчин и женщин, как на перекладных лошадей, которым вы предоставите издыхать на очередной станции, и вы достигнете вершины своих желаний. Но вы будете сведены к нулю, если около вас не будет женщины, которая покровительствовала бы вам. Вам нужна молодая, богатая, элегантная женщина. Но если вас захватит истинное чувство, прячьте его, как сокровище; пусть никто не догадывается о нем, иначе вы погибнете. Из палача вы превратитесь в жертву. Если вы когда-нибудь полюбите, храните вашу тайну! Не посвящайте в нее никого, не узнав предварительно, кому вы открываете свое сердце. Заранее оберегая эту еще несуществующую любовь, учитесь остерегаться света. Послушайте, Мигэль… (Она простодушно ошиблась именем и не заметила этого.) Существует нечто, еще более ужасное, чем положение отца, покинутого дочерьми, готовыми желать ему смерти; это соперничество двух сестер. Ре-

сто знатного происхождения; жена его принята в высшем свете, представлена ко двору; но ее сестра, ее богатая сестра, красавица Дельфина де Нусинген, жена золотого мешка, изнывает от тоски; зависть снедает ее, ее отделяет огромное расстояние от сестры. Сестра стала для нее чужой, они отреклись друг от друга так же, как отреклись от отца. Поэтому госпожа де Нусинген готова вылакать всю грязь между улицей Сен-Лазар и улицей Гренель, чтобы войти в мой салон. Она думала достичь цели с помощью де Марсэ и сделалась рабой де Марсэ, она изводит де Марсэ, а де Марсэ обращает на нее весьма мало внимания. Если вы представите мне Дельфину, то будете ее Вениамином, она станет обожать вас. Полюбите ее после, если сможете, а если нет — заставьте ее служить себе. Она явится ко мне раза два на большие рауты, когда у меня будет тьма народа; но я никогда не приму ее утром. Я буду здороваться с ней — этого достаточно. Произнеся имя отца Горио, вы заперли перед собой двери дома графини. Да, дорогой мой, сколько бы вы ни ходили к госпоже де Ресто, всякий раз ее не будет дома. Приказано вас не принимать. Так пусть же отец Горио поможет вам проникнуть к Дельфине де Нусинген. Красавица де Нусинген послужит вам

вывеской. Станьте ее избранником, и женщины будут от вас без ума. Ее соперницы, ее подруги, лучшие подруги, захотят отбить вас у нее. Есть женщины, которые влюбляются в мужчину, уже избранного другой женщиной, подобно некоторым мещанкам, которые, перенимая фасон наших шляп, надеются перенять наши манеры. Вы будете иметь успех. В Париже успех — все, это ключ к власти. Если женщины признают в вас ум, талант, мужчины поверят этому, если только вы их не разочаруете. Вы можете тогда дать простор всем своим желаниям, перед вами будут открыты все двери. Вы узнаете тогда, что светское общество представляет собой сборище простофиль и плутов. Не будьте ни среди тех, ни среди других. Я даю вам свое имя, как нить Ариадны, чтобы войти в этот лабиринт. Не компрометируйте его, — сказала она, выпрямляясь и бросая на студента царственный взгляд, — верните мне его незапятнанным. А теперь оставьте меня. У нас, женщин, также бывают свои битвы.

— Если вам понадобится человек, готовый пойти взорвать мину… — перебил ее Эжен. — Так что же? — сказала она.

Он ударил себя в грудь, улыбнулся в ответ на улыбку кузины и вышел. Было пять часов. Эжен

был голоден и опасался опоздать к обеду. Но само опасение делало еще ощутительнее счастье носиться вихрем по Парижу. Это бессознательное наслаждение позволяло ему всецело отдаться осаждавшим его мыслям. Юноша его лет, оскорбленный презрением, горячится, приходит в ярость, грозит кулаком всему обществу, хочет отомстить за себя и в то же время сомневается в себе. Растиньяк был удручен в эту минуту словами: «Вы заперли перед собой двери дома графини».

«Пойду! — думал он. — И если госпожа де Босеан окажется права, если приказано не пускать меня… я… госпожа де Ресто найдет меня во всех салонах, где она бывает. Я научусь фехтовать, стрелять из пистолета, я убью ее Максима!» — «А деньги! — кричал ему рассудок, — Где же ты возьмешь денег?»

Выставленное напоказ богатство графини де Ресто внезапно заблистало перед его глазами. Он увидел там роскошь, к которой по всем признакам была так неравнодушна дочь Горио, позолоту, ценные вещи, бросающиеся в глаза, безвкусную пышность выскочек, расточительность содержанки. Это манящее видение вдруг стушевалось перед грандиозным особняком

де Босеанов. Воображение Эжена, перенесясь в высшие сферы парижского общества, навело студента на множество дурных мыслей, расширяя его кругозор и делая растяжимой совесть. Свет предстал перед его глазами без прикрас: богачи, не считающиеся ни с законами, ни с моралью; он понял, что богатство — ultima vatio mundi[8]. «Вотрен прав — богатство высшая добродетель», — подумал он.

Приехав на улицу Нев-Сент-Женевьев, он вбежал к себе наверх, спустился, чтобы отдать десять франков кучеру, и вошел в вонючую столовую, где увидел, словно животных у кормушки, восемнадцать насыщавшихся сотрапезников. Зрелище этого убожества, вид этой столовой вызвали в нем отвращение. Переход был слишком резок, контраст слишком разителен; непомерное тщеславие обуяло его. С одной стороны, свежие прелестные образы изысканнейшего светского общества, молодые живые лица, обрамленные чудесами искусства и роскоши, головы, исполненные поэзии и страсти; с другой — зловещие картины, окаймленные грязью, и лица, на которых запечатлелись лишь нити и механизм

[8] Примечания: 8
Самая основа мира (лат.).

страстей. Эжену вспомнились наставления, вырвавшиеся у госпожи де Босеан под влиянием гнева — гнева покинутой женщины, и ее заманчивые предложения; нищета явилась комментарием к ним. Для достижения богатства Растиньяк решил проложить два параллельных хода; опереться и на науку и на любовь, стать светским львом и ученым. Сколько ребячества оставалось еще в нем! Две эти линии — кривые, приближающиеся одна к другой, но никогда не пересекающиеся.

— Вы очень мрачны, господин маркиз, — сказал Вотрен, бросая на студента один из тех взглядов, которыми он умел, казалось, проникать в самые сокровенные тайны сердца.

— Я не расположен сносить шутки тех, кто называет меня господином маркизом, — ответил тот. — Надо иметь сто тысяч франков годового дохода, чтобы быть здесь настоящим маркизом, а кто живет в Доме Воке, того фортуна не балует.

Вотрен взглянул на Растиньяка отечески и презрительно, как бы говоря: «Молокосос! Да я тебя одним пальцем раздавлю!» Затем ответил:

— Вы не в духе; может быть, вам не повезло у прекрасной графини де Ресто?

— Она не велела меня принимать, так как я

сказал, что ее отец ест за одним столом с нами! — воскликнул Растиньяк.

Все обедающие переглянулись. Папаша Горио опустил глаза и отвернулся, чтобы вытереть слезы.

— Ваш табак попал мне в глаз, — сказал он соседу.

— Отныне, кто станет издеваться над папашей Горио, будет иметь дело со мной, — произнес Эжен, глядя на соседа старого макаронщика. — Он лучше всех нас. Мои слова, конечно, не относятся к дамам, — прибавил он, поворачиваясь к мадемуазель Тайфер.

Эта фраза положила конец разговорам. Эжен произнес ее с таким видом, что обедающие прикусили языки. Только Вотрен промолвил, зубоскаля:

— Надо уметь хорошо владеть шпагой и метко стрелять из пистолета, чтобы принять папашу Горио под свое покровительство и отвечать за него.

— Я так и сделаю, — сказал Эжен.

— Значит, вы открываете сегодня военные действия?

— Может быть, — ответил Растиньяк. — Но я никому не обязан отдавать отчет в своих делах,

я ведь не стараюсь угадать, что делают другие по ночам.

Вотрен посмотрел на Растиньяка исподлобья.

— Кто не хочет, мальчик мой, быть одураченным марионетками, тот должен войти в балаган, а не ограничиваться подсматриванием в щелки. Прекратим разговор, — прибавил он, видя, что Эжен готов вскипеть. — Мы побеседуем с вами наедине, когда вам будет угодно.

Обед прошел мрачно и холодно. Папаша Горио, поглощенный глубокой скорбью, вызванной в нем фразой студента, не понял, что настроение умов изменилось в его пользу и что его принял под защиту молодой человек, способный положить конец травле.

— Так у господина Горио, оказывается, дочь — графиня? — вполголоса спросила госпожа Воке.

— А другая — баронесса, — ответил Растиньяк.

— Он только на это и способен, — сказал Бьяншон Растиньяку. — Я щупал ему голову: у него одна только шишка — шишка отцовства, он будет Вечным Отцом.

Эжен был настроен серьезно, и шутка Бьяншона не рассмешила его. Он хотел последовать советам госпожи де Босеан и ломал себе голову над тем, где и как раздобыть денег. В тревоге

взирал он на развернувшиеся перед его глазами саванны света, пустынные и изобильные в то же время. По окончании обеда все разошлись, оставив его одного в столовой.

— Значит, вы видели мою дочь? — сказал Горио взволнованным голосом.

Пробужденный от задумчивости этим добряком, Эжен взял его руку и с умилением пристально посмотрел на него.

— Вы славный и достойный человек, — ответил он. — Мы поговорим о ваших дочерях потом.

Он встал, не слушая папаши Горио, и отправился в свою комнату, где написал матери следующее письмо:

> «Дорогая мама, подумай, нет ли у тебя третьего соска, который напитал бы меня. Положение мое таково, что я могу быстро пойти в гору. Мне надо иметь тысячу двести франков, во что бы то ни стало. Не говори ничего о моей просьбе отцу, он, может быть, воспротивится этому, а если я не получу этих денег, то впаду в отчаяние, которое может привести меня к самоубийству. Объясню тебе все подробно, когда мы увидимся; а то

пришлось бы исписать тома, чтобы ты поняла мое положение. Я не проигрался, дорогая мамочка, не наделал долгов; но, если ты хочешь сохранить жизнь, которую ты мне дала, то найди эту сумму. Словом, я бываю у виконтессы де Босеан, она взяла меня под свое покровительство. Я должен бывать в свете, а у меня нет ни су, чтобы иметь чистые перчатки. Я готов есть один хлеб, пить одну воду, поститься, коли надо, но я не могу обойтись без орудий, которыми в этих краях вскапывают виноградники. Мне предстоит или пробить себе дорогу, или увязнуть в грязи. Я знаю, какие надежды, вы возлагаете на меня, и хочу ускорить их осуществление. Мамочка, продай что-нибудь из своих фамильных драгоценностей, вскоре я заменю их другими. Я достаточно хорошо знаю положение нашей семьи и сумею оценить такую жертву, и ты должна верить, что она будет не напрасной, — иначе я оказался бы чудовищем. Лишь крайняя нужда могла исторгнуть у меня эту просьбу — так и смотри на нее. Все наше будущее зависит от этого посо-

бия: с этими деньгами я должен открыть военные действия, ибо жизнь в Париже представляет непрерывную битву. Если для пополнения этой суммы нет иного средства, кроме продажи тетушкиных кружев, скажи ей, что я ей пришлю другие, еще лучше!» И т. д.

Он написал обеим сестрам, прося прислать их сбережения, а чтобы в семье не было разговоров о жертве, которую они, конечно, с величайшей радостью принесут ему, он обратился к их деликатности, затронув струны чести, столь туго натянутые и столь отзывчивые в юных сердцах. Однако, окончив эти письма, Эжен ощутил невольную дрожь: он содрогался, он трепетал. Молодой честолюбец знал безупречное благородство этих погребенных в уединении душ, ему было известно, на какие лишения он обрекает сестер и как велико будет вместе с тем их счастье, с какой радостью будут беседовать они украдкой, в укромном уголке сада, о любимом брате. Его сознание озарилось вдруг ярким светом, и ему показалось, что он видит, как сестры пересчитывают тайком свое маленькое богатство, как они пускают в ход лукавую девичью изобретатель-

ность, чтобы послать ему эти деньги потихоньку, и, совершая подвиг, впервые прибегают к обману. «Сердце сестры — алмаз чистоты, бездна нежности!» — подумал он. Ему делалось стыдно, что он написал им. Какая сила заключена в их обетах, как чист порыв их душ к небесам! С каким упоением готовы они пожертвовать собой! Какое горе будет для его матери, если она не сможет выслать всю сумму! И эти прекрасные чувства, эти ужасные жертвы послужат для него лишь ступенькой, чтобы добиться благосклонности Дельфины де Нусинген. Несколько слезинок, последние крупицы фимиама, брошенные на священный алтарь семьи, выкатились из его глаз. В волнении, полный отчаяния, ходил он взад и вперед. Папаша Горио, увидя его в таком состоянии через полуотворенную дверь, вошел и сказал:

— Что с вами, сударь?

— Ах, дорогой соседушка, я — сын и брат, подобно тому, как вы — отец. Вы имеете основание трепетать за графиню Анастази: она в руках некоего Максима де Трайля; он погубит ее.

Папаша Горио ушел, бормоча какие-то слова, которых Эжен не разобрал.

На другой день Растиньяк отнес письма на почту. Он колебался до последнего мгновения,

но опустил их в ящик со словами: «Я добьюсь своего!» Слова игрока, великого полководца, роковые слова, которые чаще губят людей, нежели спасают!

Несколько дней спустя Эжен пошел к госпоже де Ресто и не был принят. Он трижды возвращался туда и трижды натыкался на запертую дверь, хотя являлся в часы, когда графа Максима де Трайля там не было. Виконтесса оказалась права. Студент забросил занятия. Он ходил в университет, чтобы отозваться на перекличке и, записавшись, улизнуть. Он рассуждал так же, как большинство студентов, и отложил занятия до экзаменов, решив отмечаться в посещении лекций на втором и третьем курсе, а затем напоследок засесть за право и изучить его сразу. Таким образом, он выгадывал пятнадцать месяцев для плавания по парижскому океану, для общения с женщинами, для погони за богатством.

За эту неделю он дважды видел госпожу де Босеан; он являлся к ней только тогда, когда карета маркиза д'Ахуда выезжала со двора. Эта знаменитая женщина, самая поэтическая фигура Сен-Жерменского предместья, еще на несколько дней осталась победительницей и добилась отсрочки брака мадемуазель де Рошфид с марки-

зом д'Ахуда-Пинто. Боязнь потерять свое счастье наполнила эти последние дни самой жгучей страстью, но они должны были ускорить катастрофу. Маркиз д'Ахуда, столковавшись с Рошфидами, смотрел на эту размолвку и на примирение как на счастливое стечение обстоятельств: они надеялись, что госпожа де Босеан свыкнется с мыслью об этом браке и, в конце концов, поступится своими утренними свиданиями ради того будущего, которое жизнь сулит мужчине. Итак, несмотря на самые священные клятвы, повторяемые каждый день, господин д'Ахуда играл комедию, а виконтесса охотно давала себя обманывать. «Вместо того, чтобы благородно выброситься в окно, она позволяет волочить себя по лестнице», — говорила ее лучшая приятельница, герцогиня де Ланжэ. Тем не менее эти догоравшие огни мерцали еще довольно долго, и виконтесса оставалась в Париже, оказывая услуги своему молодому родственнику, к которому она возымела какую-то суеверную привязанность. Эжен проявил преданность и отзывчивость при таких обстоятельствах, когда женщины ни в чьем взоре не видят ни жалости, ни истинного участия. Если мужчина говорит им в эти минуты ласковые слова, то делает это с корыстной целью.

Желая в совершенстве изучить поле предстоящей битвы, прежде чем попытаться взять на абордаж дом де Нусингена, Растиньяк решил разузнать подробности о прошлом папаши Горио и собрал достоверные сведения, которые могут быть сведены к следующему.

Жан-Иоахим Горио до революции был простым рабочим-макаронщиком, искусным, бережливым и настолько предприимчивым, что купил дело своего хозяина, случайно ставшего жертвой первого восстания 1789 года. Он водворился на улице Жюсьен, близ хлебного рынка, и проявил много здравого смысла, согласившись стать председателем секции, чтобы обеспечить своей торговле покровительство влиятельнейших лиц той опасной эпохи. Подобная предусмотрительность положила начало его богатству, возросшему во время голода, действительного или мнимого, который вызвал в Париже огромное повышение цен на хлеб. Народ устраивал кровавые побоища возле булочных, тогда как некоторые преспокойно покупали вермишель и макароны в бакалейных лавках.

За этот год гражданин Горио нажил капитал, послуживший ему впоследствии для того, чтобы развернуть торговлю, воспользовавшись всеми

преимуществами, какие дает обладание значительной суммой денег. С ним произошло то, что происходит со всеми людьми, имеющими способности лишь в какой-нибудь определенной сфере. Посредственность спасла его. К тому же его богатство стало известно лишь тогда, когда уже не представляло более опасности быть богатым; он ни в ком не возбуждал зависти. Хлебная торговля, казалось, поглотила все его помыслы. Когда дело шло о зерне, муке, отрубях, об определении их качества и происхождения, о наблюдении за их сохранностью, о предвидении колебания цен, о предугадывании обильного урожая или недорода, о закупке зерна по дешевой цене, о заготовках в Сицилии, на Украине — Горио не имел себе равного. Видя, как он ведет свои дела, объясняет законы о ввозе и вывозе зерновых, изучает дух этих законов и подмечает недостатки, иной признал бы его человеком, пригодным для поста министра. Терпеливый, деятельный, энергичный, упорный, всюду поспевающий, он обладал орлиным взглядом, опережал всех, все предвидел, все знал, все скрывал; он был дипломатом, когда надо было обдумывать план, солдатом — когда надо было действовать. Вне специальности, вне своей простой и безвестной лавки, на

пороге которой он сиживал в свободные часы, опершись плечом о косяк двери, он снова делался тупым и грубым рабочим, человеком, неспособным понять рассуждение, нечувствительным ко всем духовным наслаждениям; человеком, который дремлет во время спектакля, будучи одним из парижских Долибанов, сильных только в глупости. Почти все эти натуры похожи друг на друга. В сердце почти каждого из них вы найдете какое-нибудь возвышенное чувство. Два чувства, исключавшие все остальные, наполняли сердце макаронщика, поглощали его способность любить, подобно тому, как хлебная торговля захватила все его умственные способности. Его жена, единственная дочь богатого фермера из Бри, была для него предметом набожного поклонения, безграничной любви. Горио преклонялся перед этой хрупкой и сильной, чувствительной и прекрасной натурой, составлявшей резкий контраст с его собственной. Если в сердце мужчины есть врожденное чувство, то не гордость ли это, которую испытывает он, постоянно оказывая покровительство слабому существу? Присоедините сюда любовь, живую признательность всех честных душ к источнику их радостей, и вы поймете множество моральных странностей. После семи-

летнего безоблачного счастья Горио, к несчастью, потерял жену: она начала приобретать власть над ним и вне сферы чувств, может быть, она перевоспитала бы эту вялую натуру, может быть, заронила бы в нее способность понимать мир и жизнь. Когда Горио лишился жены, чувство отцовства развилось у него до безрассудства. Свою привязанность, над которой насмеялась смерть, он перенес на двух дочерей, захвативших все его чувства. Он решил остаться вдовцом, несмотря на блестящие предложения, которые делали ему купцы и фермеры, стремившиеся выдать за него дочерей. Его тесть, единственный человек, к которому он был расположен, недаром утверждал, что Горио поклялся сохранить верность покойной жене. Хлеботорговцы, неспособные понять это возвышенное безумие, потешались над ним и дали Горио какое-то чудное прозвище. Но первый же, вздумавший произнести его за бутылкой вина, распиваемого по случаю состоявшейся сделки, получил от макаронщика удар кулаком в плечо, от которого полетел кубарем и ударился головой о тумбу улицы Облен. Безрассудная преданность, ревнивая, нежная любовь Горио к дочерям была так хорошо известна, что как-то раз один из конкурентов, желая удалить

его с рынка, чтобы диктовать цены самому, сказал ему, что Дельфина только что попала под кабриолет. Макаронщик, бледный, полумертвый, тотчас же ушел с рынка. Он проболел несколько дней от реакции, вызванной противоречивыми чувствами, в которые погрузила его эта ложная тревога. Он не нанес этому человеку сокрушительного удара в плечо, зато совсем вытеснил с рынка, воспользовавшись его критическим положением и доведя до банкротства.

Воспитание дочерей Горио было, понятно, неразумным. Имея шестьдесят тысяч франков годового дохода и не тратя на себя и тысячи двухсот, он все свое счастье видел в удовлетворении прихотей дочек: нанимались превосходнейшие учителя, чтобы наделить их талантами, свидетельствующими о хорошем воспитании; к ним была приглашена компаньонка — по счастью, женщина с умом и вкусом; они катались верхом, имели свой выезд, жили так, как живали в старину любовницы какого-нибудь богатого старого вельможи; им достаточно было выразить желание, и отец старался удовлетворить его, сколько бы это ни стоило; взамен он просил только ласки. Горио считал своих дочерей ангелами и — бедняга! — ставил их, конечно, выше себя.

Ему нравились даже страдания, которые они ему причиняли. Когда дочери его стали невестами, он предоставил им выбирать мужей по своему вкусу; каждая получила в приданое половину состояния отца. Красавица Анастази, за которой ухаживал граф де Ресто, имела аристократические наклонности, побудившие ее покинуть отчий дом, дабы устремиться в высшие сферы общества. Дельфина любила деньги и вышла замуж за Нусингена, банкира, по происхождению немца, ставшего бароном Священной Империи. Горио остался по-прежнему макаронщиком. Дочери и зятья вскоре стали брезгливо морщиться, видя, что он продолжает торговлю, хотя в ней заключалась вся его жизнь. После двухлетних настойчивых упрашиваний Горио согласился уйти на покой, с капиталом, полученным от продажи предприятий и от прибылей последних лет; все это приносило, по расчетам госпожи Воке, у которой он поселился, от восьми до десяти тысяч франков в год. Горио бросился в этот пансион с отчаяния, охватившего его, когда он увидел, что обе дочери, по настоянию мужей, не только отказали ему в крове, но даже видеться с ним стали лишь украдкой.

К этим сведениям, сводилось все, что знал гос-

подин Мюре о папаше Горио, у которого он купил предприятие. Таким образом, предположения, высказанные герцогиней де Ланжэ в присутствии Растиньяка, подтвердились. На этом кончается изложение этой, безвестной, но страшной парижской трагедии.

В конце первой недели декабря Растиньяк получил, два письма: одно, от матери, другое от старшей сестры. При виде этих столь хорошо знакомых почерков он затрепетал от радости и в то же время содрогнулся от страха. Эти два непрочных листка бумаги должны были или похоронить его надежды, или поддержать их. Вспоминая бедственное положение своих родных, Эжен испытывал некоторый страх, но он достаточно испытал силу их любви и знал, что может безбоязненно высасывать последние капли их крови. Письмо матери гласило следующее:

> «Дорогое дитя, посылаю тебе то, о чем ты меня просил. Пусть эти деньги пойдут тебе на пользу; если бы даже дело шло о спасении твоей жизни, я не могла бы собрать вторично столь значительную сумму без ведома твоего отца, а это нарушило бы согласие в нашей семье. Чтобы

добыть ее, нам пришлось бы заложить имение. Я не могу судить о планах, которых не знаю; но какие же это планы, если ты боишься мне их доверить? Объяснение не потребовало бы многих томов; нам, матерям, достаточно одного слова, и это слово избавило бы меня от мук неизвестности. Не стану скрывать от тебя тягостного впечатления, которое произвело на меня твое письмо. Дорогой сынок, какое чувство побудило тебя вселить такой ужас в мою душу? Ты, должно быть, весьма страдал, когда писал мне, так как и я очень страдала, читая твое письмо. На какой путь вступаешь ты? Неужели твоя жизнь, твое счастье требуют, чтобы ты казался не тем, что ты есть, чтобы бывал в свете, где ты не можешь бывать, не делая непосильных расходов и не теряя драгоценного времени, необходимого для занятий? Милый Эжен, поверь сердцу матери, кривые пути не ведут ни к чему великому. Терпение и покорность судьбе должны быть добродетелями молодых людей, находящихся в твоем положении. Я не браню тебя, мне не хотелось

бы примешивать ни малейшей горечи к нашему приношению. Слова мои — слова матери, столь же доверчивой, сколь и предусмотрительной. Если ты знаешь, в чем состоят твои обязанности, то я, в свою очередь, знаю, как чисто твое сердце, как прекрасны твои намерения. Поэтому я могу сказать тебе безбоязненно: иди, мой любимый, иди намеченной дорогой! Я трепещу, так как я мать, но каждый шаг твой будет сопровождаться нашими сердечными пожеланиями и благословениями. Будь благоразумен, дорогое дитя! Ты должен быть рассудителен, как мужчина: судьба пяти дорогих тебе лиц находится в твоих руках. Да, в тебе все наше достояние; а твое счастье — наше счастье. Все мы молим бога помочь тебе в твоих начинаниях. Твоя тетка Марсильяк проявила при этих обстоятельствах неслыханную доброту: ей понятно даже то, что ты писал мне о своих перчатках. Но у нее «слабость к старшему племяннику», сказала она шутя. Люби свою тетушку, Эжен: я расскажу тебе, что она сделала для тебя только после того, как ты добьешься успеха; ина-

че ее деньги будут жечь тебе руки. Вы не знаете, дети, что значит жертвовать сувенирами! Но чего только не принесешь вам в жертву! Она поручает мне передать тебе, что целует тебя в лоб и хотела бы передать тебе этим поцелуем способность постоянно быть счастливым. Эта добрая, превосходная женщина написала бы тебе сама, если бы не подагра в пальцах. Отец здоров. Урожай 1819 года превзошел наши ожидания. Прощай, дорогое дитя, О твоих сестрах я ничего не скажу: Лора пишет сама. Предоставляю ей удовольствие поболтать о маленьких семейных событиях. Да ниспошлет тебе небо успех! Да, добейся успеха, Эжен. Ты заставил меня пережить такое страдание, что вторично я его не перенесу. Я узнала, что значит быть бедной, желая иметь богатство, чтобы отдать его своему ребенку. Ну, прощай. Не оставляй нас без вестей и прими поцелуй, который посылает тебе твоя мать».

Окончив чтение письма, Эжен залился слезами. Ему вспомнилось, как папаша Горио сплющивал

золоченый сервиз и продавал его, чтобы уплатить по векселю дочери! «Твоя мать сделала то же со своими драгоценностями! — говорил он себе. — Твоя тетка, несомненно, плакала, продавая кое-какие реликвии! Какое право имеешь ты клеймить Анастази? Ради своих эгоистических планов ты только что сделал то же самое, что сделала она ради любовника! Кто из вас хуже?» Студент почувствовал, что внутри его все горит нестерпимо. Он хотел отказаться от света, не брать этих денег. Он испытывал благородные и прекрасные тайные угрызения совести, которые редко ценят люди, когда судят о своих ближних, но за которые ангелы на небе часто прощают преступника, осужденного судьями на земле. Растиньяк распечатал письмо сестры; ее выражения, исполненные невинной грации, освежили ему душу.

«Твое письмо пришло весьма кстати, дорогой братец. У нас с Агатой было столько способов истратить наши деньги, что мы, в конце концов, не знали, на какую покупку решиться. Ты поступил, как слуга испанского короля, швырнувший часы своего господина, ты привел нас к

согласию. Право, мы постоянно спорили из-за того, какому из наших желаний отдать предпочтение, и не могли, дорогой Эжен, придумать такого расхода, который удовлетворил бы все наши желания. Агата прыгала от радости. Словом, — мы целый день были словно сумасшедшие, доказательством чего служит то (стиль тетушки), что матушка спросила нас строго: «Что с вами делается, девочки?» Если бы нас побранили немножко, мы были бы, кажется, еще довольнее. Женщина, должно быть, находит величайшее наслаждение в страдании ради того, кого она любит! Только я одна оставалась задумчивой и печальной, несмотря на свою радость. Я несомненно буду плохой женой, я слишком расточительна. Я купила себе два пояса, красивое шило, чтобы протыкать круглые отверстия в корсетах, всякий вздор, так что у меня меньше денег, чем у толстухи Агаты: она бережлива и копит деньги, как сорока. У нее было двести франков! А у меня, дорогой друг, только пятьдесят экю. Я жестоко наказана, я хотела бы бросить свой пояс в

колодезь, мне всегда будет тяжело его носить. Я обокрала тебя. Агата — прелесть. Она сказала мне: «Пошлем триста пятьдесят франков от нас обоих». Но я не могла удержаться, чтобы не рассказать тебе все, как оно было. Знаешь ли, что мы сделали, чтобы исполнить твое приказание? Мы взяли наши достославные денежки и пошли погулять вдвоем, и как только достигли большой дороги, пустились бегом в Рюффек, где мы просто-напросто сдали всю сумму господину Гремберу, смотрителю конторы почтовых дилижансов! На обратном пути мы летели легче ласточек. «Не счастье ли окрыляет нас?» — спросила меня Агата. Мы разговаривали о множестве вещей, которых я не повторю вам, господин парижанин, в них слишком много места занимаете вы. О, дорогой брат, мы тебя очень любим, вот все в двух словах. Что касается хранения тайн, то, по словам тетушки, такие маленькие притворщицы, как мы, способны на все, даже на молчание. Матушка предприняла с тетушкой таинственное путешествие в Ангулем, и обе хранят молчание относи-

тельно высоких целей этой поездки; оно не обошлось без долгих совещаний, на которые ни мы, ни господин барон не были допущены. Великие дела занимают умы Растиньяковского королевства. Кисейное платье, усеянное цветами, которое инфанты вышивают для ее величества королевы, шьется в глубочайшей тайне. Остается вышить только два полотнища. Решено не возводить каменной ограды со стороны Вертейля, там будет изгородь. Население королевства лишится части плодов, части виноградника, но зато для чужестранцев откроется прекрасный вид. Если наследный принц нуждается в платках, то предупреждаем его, что вдовствующая королева де Марсильяк, роясь в своих сокровищах и в сундуках, известных под именем Помпеи и Геркуланума, обнаружила кусок прекрасного голландского полотна, о котором она и не знала; принцессы Агата и Лора предоставляют в ее распоряжение нитки, иголки и по-прежнему немного слишком красные руки. Два юных принца — дон Генри и дон Габриэль сохранили прискорб-

ную привычку объедаться вареньем, доводить до исступления своих сестер, бить баклуши вместо ученья, разорять ради забавы птичьи гнезда, поднимать беготню и срезывать, вопреки законам государства, ивовые ветви на тросточки. Нунций папы, в просторечии именуемый господином кюре, угрожает отлучить их от церкви, если они будут по-прежнему пренебрегать святыми канонами[9] грамматики ради стрельбы из бузиновых трубок. Прощай, дорогой братец, никогда еще письмо не несло с собой столько пожеланий счастья, столько удовлетворенной любви. Зато тебе будет о чем порассказать нам, когда ты приедешь! Мне ты скажешь все, потому что я ведь старшая. Тетушка намекнула нам, что ты, вероятно, имеешь успех в свете.

«О даме говорят, о прочем же ни слова».

---

[9] Примечания: 9

В подлиннике непереводимая игра слов: «canon» значит и «канон» и «пушка».

При нас, разумеется! Послушай, Эжен, если хочешь, мы можем обойтись без носовых платков, а сшить тебе рубашки. Отвечай поскорее относительно этого. Если тебе нужны теперь же красивые, хорошо сшитые рубашки, нам придется сейчас же приняться за работу; и если в Париже есть неизвестные нам фасоны, пришли нам образчик, особенно для манжет. Прощай! прощай! Целую тебя в лоб с левой стороны, в висок, который принадлежит: мне одной… Другой листок оставляю Агате; она обещала мне не читать ни одной строчки из моего письма. Но, чтобы дело было вернее, я не отойду от нее, пока она будет писать. Твоя любящая сестра.

Лора де Растиньяк».

«О, да, — подумал Эжен, — да, разбогатеть во что бы то ни стало! Никакие сокровища не могут вознаградить за такую преданность. Я хотел бы собрать счастье со всего мира и отдать его им».

— Тысяча пятьсот пятьдесят франков! — проговорил он после паузы. — Ни одна монета не должна пропасть зря! Лора права. Как догадлива

женщина, черт возьми! У меня все рубашки из грубого полотна. Ради счастья другого девушка хитрит, как вор. Простодушная сама по себе, она делается предусмотрительной ради меня, она словно ангел небесный, прощающий земные грехи, не понимая их.

Свет стал теперь доступен ему. Он уже пригласил, выспросил, завоевал портного. При виде господина де Трайля Растиньяк постиг, какое влияние оказывают портные на жизнь молодых людей. Портной либо смертельный враг, либо друг, в зависимости от покроя костюма; среднего не существует. В лице своего портного Эжен встретил человека, понявшего отеческое назначение своего ремесла: он видел в себе связующее звено между настоящим и будущим молодых людей. Зато благодарный Растиньяк одной из тех острот, которыми он отличался впоследствии, помог этому человеку составить состояние.

— Я знаю, — сказал он, — две пары брюк его изделия, которые помогли найти невест с приданым в двадцать тысяч франков годового дохода.

Полторы тысячи франков — и фраков сколько угодно! В эту минуту бедный южанин отбросил все сомнения и спустился к завтраку с тем не поддающимся описанию видом, какой придает

молодому человеку обладание некоторой суммой денег. В тот миг, когда деньги попадают в карман студента, его воображение воздвигает колонну, на которую он опирается. Походка его делается тверже, чем раньше, он чувствует в себе точку опоры для своего рычага, смотрит прямо и уверенно, движения его становятся проворными; вчера смиренный и робкий, он готов был сносить удары; теперь он способен нанести их премьер-министру. В нем происходит нечто неслыханное: он хочет всего и может все, желания теснятся в нем беспорядочной толпой, он весел, щедр, общителен. Словом, недавно бескрылый птенец взмахивает крыльями. Студент без денег хватает на лету крупицы наслаждения, словно пес, который, подвергаясь множеству опасностей, стащил кость, грызет ее и высасывает из нее мозг на бегу; но молодой человек, в кармане которого забренчало несколько шальных червонцев, смакует свои наслаждения, перебирает их, отдается им, чувствует себя на седьмом небе и забывает, что значит слово «нищета». Ему принадлежит весь Париж. Пора, когда все — блеск, сверкание и пламя! Пора жизнерадостной силы, которую не тратит с толком никто, ни мужчина, ни женщина! Пора долгов и живых опасений, удесятеряющих

все наслаждения! Кто не жил на левом берегу. Сены, между улицей Сен-Жак и улицей Святых Отцов, тот не изведал человеческой жизни!

«Ах! Если бы парижанки знали, — думал Растиньяк, поглощая вареные груши, ценою четверть су штука, поданные госпожой Воке, — они пришли бы искать здесь любви».

В эту минуту посыльный королевской конторы почтовых дилижансов появился в столовой, позвонив предварительно у калитки. Он спросил господина Эжена де Растиньяка и протянул ему два мешочка и книгу, чтобы расписаться. Вотрен бросил на Растиньяка пронизывающий взгляд, хлестнувший того, как удар бича.

— У вас будет теперь чем платить за уроки фехтования и за стрельбу в тире, — сказал Вотрен.

— Прибыли галионы, — заметила госпожа Воке, глядя на мешки.

Мадемуазель Мишоно боялась взглянуть на деньги, опасаясь выдать свою жадность.

— У вас добрая матушка, — сказала госпожа Кутюр.

— У господина де Растиньяка добрая матушка, — повторил Пуаре.

— Да, мамаша пустила себе кровь, — промолвил Вотрен. — Вы сможете теперь повесничать,

бывать в свете, ловить там богатых невест и танцевать с графинями, у которых на голове персиковые цветы. Но послушайтесь меня, молодой человек, почаще заглядывайте в тир.

Вотрен сделал жест, как будто метился в противника. Раегиньяк хотел дать на чай, но в кармане у него ничего не оказалось. Вотрен порылся в своем и бросил посыльному франк.

— Вам теперь открыт кредит, — заметил он, глядя на студента.

Растиньяк вынужден был поблагодарить его, хотя не переносил этого человека с тех пор, как они обменялись колкостями в день, когда Эжен вернулся от госпожи де Босеан. Всю эту неделю Эжен и Вотре не разговаривали между собою и наблюдали друг друга. Студент тщетно спрашивал себя о причине этого. Идеи передаются, несомненно, прямо пропорционально порождающей их силе и попадают туда, куда посылает их мозг, по математическому закону, подобному тому, что определяет направление бомбы, вылетевшей из мортиры. Действие идей бывает различно. Существуют нежные натуры, идеи глубоко западают в них и производят опустошения; есть также натуры мощно вооруженные, черепа с медной броней; воля других сплющивается об

них и падает, как пуля, ударившая в стену; кроме того, есть еще дряблые и рыхлые натуры, чужие идеи замирают в них, подобно ядрам, попавшим в мягкий грунт редутов. У Растиньяка была одна из тех полных пороха голов, которые взрываются при малейшем толчке. Он был еще слишком горяч и молод, чтобы не поддаваться воздействию идей и той заразе чувств, странные явления которой незаметно поражают нас. Моральное зрение Эжена отличалось такой же остротой и зоркостью, как и его рысьи глаза. Каждое из его физических и нравственных чувств обладало той таинственной дальностью прицела, той гибкостью маневрирования, которые приводят вас в изумление у выдающихся людей, у бретеров, мгновенно подмечающих слабое место в любой броне. Впрочем, за последний месяц у Эжена развилось столько же достоинств, сколько и недостатков. Его недостатки соответствовали требованиям света и осуществлению его все возрастающих желаний. К числу его положительных качеств принадлежала та южная живость, которая побуждает идти навстречу затруднению, чтобы преодолеть его, и не позволяет людям, родившимся по ту сторону Луары, оставаться в неопределенном положении; качество это се-

веряне называют недостатком: по их мнению, если им объясняется возвышение Мюрата, то оно же явилось причиной его смерти. Отсюда следует, что, когда южанин умеет сочетать северную пронырливость с залуарской отвагой, од становится совершенством и никому не уступит трона в Швеции. Растиньяк не мог поэтому долго оставаться под обстрелом Вотрена, не зная, друг ему этот человек или враг. По временам ему казалось, что эта странная личность проникает в его страсти и читает в его сердце, между тем как у самого Вотрена все было глухо-наглухо заперто, и он казался неподвижным, непроницаемым сфинксом, который все знает, все видит и ничего не говорит. Чувствуя, что карман его полон, Эжен взбунтовался.

— Будьте любезны подождать, — сказал он Вотрену, который допил, смакуя, кофе и встал, чтобы выйти.

— Зачем? — ответил Вотрен, надевая широкополую шляпу и беря железную трость. Он часто фехтовал ею с видом человека, который не побоится нападения и четырех воров.

— Я отдам вам долг, — продолжал Растиньяк, быстро развязывая мешок и отсчитывая госпоже Воке сто сорок франков. — Долг платежом

красен, — сказал он вдове. — Мы в расчете до Сильвестрова дня. Разменяйте мне сто су.

— Долг платежом красен, — повторил Пуаре, глядя на Вотрена.

— Вот двадцать су, — сказал Растиньяк, протягивая монету сфинксу в парике.

— Можно подумать, что вам неприятно быть у меня в долгу, — воскликнул Вотрен, устремляя на молодого человека пронизывающий взгляд и насмешливо, цинично ухмыляясь, что частенько едва не доводило Эжена до вспышки гнева.

— Пожалуй... да, — ответил студент, держа оба мешка в руке и вставая, чтобы подняться в свою комнату.

Вотрен собирался выйти в гостиную, а студент направлялся к двери, выходившей на площадку лестницы.

— Знаете ли, господин маркиз де Растиньякорама, то, что вы мне сказали, не очень вежливо, — произнес Вотрен, хлопнув дверью и подходя к студенту, который холодно посмотрел на него.

Растиньяк затворил дверь в столовую и повел за собой Вотрена к лестнице, на площадку, отделявшую столовую от кухни; здесь находилась дверь в сад с продолговатым окном над ней, украшенным железной решеткой. Тут студент сказал

в присутствии Сильвии, выбежавшей из кухни:

— Господин Вотрен, я не маркиз и зовут меня не Растиньякорама.

— Они будут драться, — невозмутимо сказала мадемуазель Мишоно.

— Драться! — повторил Пуаре.

— Ну, вот еще! — ответила госпожа Воке, поглаживая столбик серебряных монет.

— Но они идут под липы, — воскликнула мадемуазель Викторина, вставая, чтобы взглянуть в сад. — А ведь этот бедный молодой человек прав.

— Пойдем к себе, деточка, — сказала госпожа Кутюр, — это нас не касается.

Когда госпожа Кутюр и Викторина встали, они встретили в дверях толстуху Сильвию, загородившую им дорогу.

— Что такое? — сказала она. — Господин Вотрен сказал господину Эжену: «Давайте объяснимся!» Потом он взял его под руку, и вот они теперь ходят по артишокам.

В эту минуту появился Вотрен.

— Мамаша Воке, — сказал он, улыбаясь, — не пугайтесь, я хочу под липами попробовать свои пистолеты.

— О, сударь, — сказала Викторина, складывая руки, — за что хотите вы убить господина

Эжена?

Вотрен отступил на два шага и пристально взглянул на Викторину.

— Этого еще недоставало! — воскликнул он насмешливым голосом, заставившим бедную девушку покраснеть. — Этот молодчик очень мил, не так ли? — продолжал он. — Вы наводите меня на одну мысль. Я осчастливлю вас обоих, дорогое дитя мое.

Госпожа Кутюр взяла свою питомицу под руку и увела ее, шепча ей на ухо:

— Викторина, я не понимаю, что с вами сегодня.

— Я не желаю, чтобы у меня стреляли из пистолета, — сказала госпожа Воке. — Вы перепугаете всех соседей, сейчас же нагрянет полиция!

— Ну, успокойтесь, мамаша Воке, — ответил Вотрен. — Потише, потише, мы пойдем в тир.

Он вернулся к Растиньяку и без церемонии взял его под руку.

— Если бы я даже доказал вам, что в тридцати пяти шагах всаживаю пулю раз пять подряд в туза пик, — сказал он ему, — то и это вас не утихомирило бы. Вы, по-видимому, малость вспыльчивы и дадите подстрелить себя, как дурака.

— Вы идете на попятный, — сказал Эжен.

— Не подзадоривайте меня, — ответил Вотрен. — Сегодня утром не холодно, пойдемте сядем там, — сказал он, показывая на зеленые скамейки. — Там нас никто не услышит. Мне надо поговорить с вами. Вы славный молодой человек, которому я не хочу зла. Я вас люблю, клянусь Надуй См… (гром и молния!), клянусь Вотреном. Потом я скажу вам, почему я вас люблю. А пока что я знаю вас наизусть, словно сам вас смастерил, и сейчас докажу вам это. Положите сюда свои мешки, — продолжал он, указывая Эжену на круглый столик.

Растиньяк положил деньги на стол и сел, охваченный любопытством, до крайности возбужденным в нем внезапной переменой в обращении этого человека, который только что собирался его убить, а теперь разыгрывал из себя покровителя.

— Вам очень хотелось бы знать, кто я такой, что я делал и делаю, — продолжал Вотрен. — Вы слишком любопытны, мой мальчик. Полно, успокойтесь. Вы сейчас еще не то услышите! Мне в жизни не везло. Выслушайте меня сперва, а потом уж отвечайте. Вот в двух словах моя прошлая жизнь. Кто я? Вотрен. Что я делаю? Что мне заблагорассудится. Дальше. Хотите знать мой нрав? Я добр с теми, кто делает мне добро и к кому

лежит мое сердце. Этим все дозволено, они могут вытворять со мной что угодно, и я никогда не крикну им: «Берегись!» Но, клянусь своей трубкой, я зол, как черт, с теми, кто мне надоедает или не пришелся по вкусу. И вам нелишне знать, что убить человека для меня все равно, что плюнуть, вот так, — сказал он, сплевывая. — Но убиваю я только тогда, когда это совершенно необходимо, и стараюсь работать чисто. Я, что называется, мастер своего дела. Я читал мемуары Бенвенуто Челлини — я лично, и вдобавок еще читал их поитальянски! Я научился у него, а это был парень не промах, подражать провидению, которое убивает нас без разбора, и искать прекрасное всюду, где его можно найти. Быть одному против всех и иметь удачу — разве это не блестящая игра? Я много размышлял о теперешнем устройстве вашего общественного беспорядка. Мой мальчик, дуэль — детская игра, глупость. Когда из двух живых людей один должен исчезнуть, только безмозглый дурак будет полагаться на волю случая. Дуэль? Орел или решка! — вот и все. Я попадаю пять раз подряд в туза пик, пуля в пулю на расстоянии тридцати пяти шагов! Когда наделен таким талантиком, то можно быть уверенным, что ухлопаешь противника. И вот я стрелял в два-

дцати шагах и промазал. А тот бездельник завею жизнь никогда не держал в руках пистолета. И вот смотрите! — сказал этот странный человек, расстегивая жилет и показывая грудь, мохнатую, как спина медведя, покрытую огненно-красными волосами, возбуждавшими отвращение и ужас, — этот молокосос подпалил мне шерсть, — прибавил он, вкладывая палец Растиньяка в ямку на груди. — Но в то время я был еще дитя ваших лет, двадцати одного года. Я верил еще кое во что: в женскую любовь, в тьму глупостей, в которых вам предстоит барахтаться. Допустим, мы стали бы драться. Вы, чего доброго, убили бы меня. Предположим, я в могиле, а вы куда бы делись? Вам пришлось бы дать тягу, укатить в Швейцарию, проедать папашины денежки, а у него их немного. Я разъясню вам, в каком положении вы находитесь: у меня то преимущество, что, изучив подноготную земного бытия, я понял, что возможно одно из двух: тупое повиновение или бунт. Я не повинуюсь ничему, разве это не ясно? Знаете ли, что нужно вам при ваших замашках? Миллион, и притом скорехонько, а то как бы нам, с нашей головушкой, не угодить в тенета Сен-Клу, чтобы удостовериться, есть ли Высшее Существо. Я дам вам этот миллион.

Вотрен остановился, глядя на Эжена.

— Яга! Вы больше уже не хмуритесь на дядюшку Вотрена. Заслышав это заветное словечко, вы встрепенулись, словно девушка, которой сказали: «Сегодня вечером», и вот она прихорашивается и облизывается, как кошка, лакающая молоко. Отлично! Приступим же к делу! И будем действовать вкупе! Вот ваше конто, молодой человек. Там, на родине, живут папаша, мамаша, тетушка, две сестры (одной восемнадцать, другой семнадцать лет), двое братишек (пятнадцати и десяти лет) — вот перечень экипажа. Тетушка воспитывает ваших сестер. Кюре учит латыни братьев. Семья ест больше каштановой каши, чем белого хлеба, папенька боится, как бы не износились брюки, маменька еле-еле справляет себе по платью зимою и летом, сестрицы изворачиваются, как умеют. Я знаю все, я бывал на юге. Дело обстоит именно так, коли вам посылают тысячу двести франков в год, а ваша землишка приносит всего три тысячи. Мы держим кухарку и слугу, надо соблюдать приличия, папенька — барон. Что касается нас, мы честолюбивы, мы в родстве с де Босеанами, а ходим пешком; мы хотим богатства, а не имеем ни гроша; любим прекрасные обеды Сен-Жерменского предместья, а едим прескверно

ное рагу мамаши Воке; хотим занимать особняк, а спим на убогой койке! Я не порицаю ваших желаний. Не все наделены честолюбием, дорогой мой. Спросите женщин — каких мужчин они добиваются, — конечно, честолюбцев. У честолюбцев спинной хребет крепче, кровь богаче железом, сердце горячее, чем у остальных. А женщина так счастлива и так прекрасна в часы, когда ощущает в себе силу, что она отдает предпочтение перед всеми тому мужчине, чья сила огромна, хотя бы женщине грозила опасность быть сокрушенной им! Я перечисляю ваши желания, имея в виду задать вам один вопрос. Вот какой. Голод у нас волчий, зубки острые — как же наполнить котелок? Нам приходится прежде всего грызть кодекс, это занятие невеселое и никакого толку от него нет, но ничего не поделаешь. Пусть будет так. Мы сделаемся адвокатом, чтобы со временем стать председателем суда присяжных; бедняков, которые лучше нас, будем посылать на каторгу, с клеймом на плече, доказывая богатым, что они могут спать спокойно. Это невесело и к тому же долгая песня. Сперва два года ждать у моря погоды в Париже, щелкать зубами при виде лакомых кусков, до которых мы так охочи. Вечно желать и никогда не получать удовлетворения — утоми-

тельно. Если бы вы были анемичны и из породы моллюсков, вам нечего было бы опасаться; но у вас кровь кипучая, как у льва, а аппетит такой, что мы можем наделать двадцать глупостей в день. Вам не выдержать этой пытки, с которой могут сравниться самые ужасные муки боженькиного ада. Допустим, что вы благоразумны, что вы пьете молочко и сочиняете элегии, все равно при всем вашем благородстве вам придется после всевозможных передряг и лишений, от которых можно осатанеть, сделаться для начала заместителем какого-нибудь проходимца в глухой дыре, куда вас запрячет правительство, бросив вам тысячу франков жалованья, — это все равно, что дать супцу собаке мясника. Лай на воров, защищай богача, отправляй на гильотину людей, не лишенных сердца. Благодарю покорно! Если у вас нет протекции, вы сгниете в своем провинциальном суде. К тридцати годам вы будете судьей с окладом в тысячу двести франков в год, если не пошлете до тех пор судейскую мантию ко всем чертям. Когда вам стукнет сорок, вы женитесь на дочке какого-нибудь мукомола с приданым тысяч в шесть годового дохода. Спасибо! Имея протекцию, вы в тридцать лет будете королевским прокурором, с жалованьем в тысячу экю, и

женитесь на дочери мэра. Если вы не будете брезговать мелкими подлостями на политическом поприще, читая, например, на избирательном бюллетене Виллель вместо Манюэль (получается рифма — это успокаивает совесть), то в сорок лет станете главным прокурором и можете сделаться депутатом. Заметьте, дорогой мой мальчик, что до этого ваша совесть причинит вам немало беспокойства, что вам придется в продолжение двадцати лет терпеть неприятности, скрывать свою нищету и что ваши сестры останутся старыми девами. Имею честь обратить также ваше внимание на то, что во Франции всего лишь двадцать главных прокуроров, а вас двадцать тысяч кандидатов, среди которых попадаются хваты, готовые продать свою родню, лишь бы только добиться повышения в чине. Если эта профессия вам претит, подберем что-нибудь другое. Не хочет ли барон де Растиньяк стать адвокатом? Прекрасно! Придется в течение десяти лет претерпевать хождение по мукам, тратить по тысяче франков в месяц, иметь библиотеку, кабинет, бывать в свете, заискивать перед стряпчими, чтобы получить практику, трепать языком. Если бы это ремесло дало вам благополучие, я не возражал бы. Но найдите мне в Париже хоть пять адвокатов, ко-

торые к пятидесяти годам зарабатывают более пятидесяти тысяч франков! Да я предпочту быть пиратом, чем унижаться так. Но где же раздобыть деньгу? Все это душу не веселит. Нас может выручить из беды приданое. Не собираетесь ли вы жениться? Это значит привязать себе камень на шею; кроме того, если вы женитесь из-за денег, что станется с вашим чувством чести, с вашим благородством! Лучше уж теперь же поднять бунт против людских условностей. Жениться из-за денег — значит пресмыкаться перед женой, лизать пятки теще, барахтаться в такой грязи, что и свинье было бы тошно, — тьфу! И если бы вы, по крайней мере, обрели счастье! Но вы не оберетесь горя с женой, на которой женитесь таким образом. Лучше уж воевать с мужчинами, чем вести борьбу с собственной женой! Вот перекресток, от которого расходятся жизненные пути, — выбирайте, молодой человек! Вы уже выбрали: вы побывали у своего кузена де Босеана и понюхали роскоши. Вы побывали у госпожи де Ресто, дочери папаши Горио, и почуяли парижанку. Когда в тот день вы вернулись домой, на вашем лбу было написано, — я разобрал это без труда: «Добиться успеха! Добиться успеха во что бы то ни стало». Браво! — подумал я. Вот подходящий для меня

молодчик. Вам понадобились деньги. Где же их взять? Вы отняли последнее у сестер. Все братья более или менее обирают сестер. Ваши полторы тысячи франков, сколоченные бог весть как в крае, где больше каштанов, чем пятифранковиков, разойдутся мигом, как солдаты-мародеры. А что вы станете делать потом? Работать? Труд в том виде, как вы его понимаете в настоящее время, дает под старость апартаменты у мамаши Воке таким молодцам, как Пуаре. Быстро разбогатеть — над разрешением этой задачи бьются в этот момент пятьдесят тысяч молодых людей, находящихся в одинаковом с вами положении. Вы один из их числа. Судите сами, какие усилия вам придется делать и с каким остервенением ведется борьба. Вам приходится пожирать друг друга, как паукам в банке; ведь пятидесяти тысяч тепленьких местечек нет. Знаете, как прокладывают себе здесь дорогу? Бурным расцветом гения или ловкостью пролазы, не брезгующего подкупом. В эту людскую массу надо или врезаться, как пушечное ядро, или прокрасться, как чума. Честность ничего не дает. Перед властью гения склоняются, его ненавидят, его стараются оклеветать, так как он не делится добычей ни с кем, но все же перед ним гнут спину, только

если он упорно добивается своего; словом, перед ним благоговейно преклоняют колена, когда не могут втоптать его в грязь. Таланты редки, продажность всеобща. Продажность — оружие посредственности, которая кишит кругом; вы везде наталкиваетесь на продажность. Вы увидите женщин, мужья которых получают всего-навсего шесть тысяч франков в год, а они тратят больше десяти тысяч на наряды. Вы увидите чиновников с окладом в тысячу двести франков и тем не менее покупающих имения. Увидите женщин, продающих себя ради того, чтобы прокатиться в карете сына пэра Франции, имеющего право ехать в Лоншан по средней аллее. Вы увидели уже, как жалкий глупец папаша Горио вынужден был платить по векселю, подписанному его дочкой, муж которой имеет пятьдесят тысяч франков годового дохода. Ручаюсь, что вы не сделаете в Париже и двух шагов без того, чтобы не встретить адских интриг. Бьюсь об заклад — ставлю свою голову против кочерыжки, — что вам уготовано осиное гнездо у первой же женщины, которая вам понравится, если только она богата, красива и молода. Все они обходят законы, воюют со своими мужьями из-за всего.

Я никогда не кончил бы, если бы пришлось

объяснять вам, на какие сделки идут ради любовников, тряпок, детей, семьи или ради удовлетворения тщеславия, редко во имя добродетели, уверяю вас. А потому честный человек — всеобщий враг. Но кого вы считаете честным? В Париже честен тот, кто молчит и отказывается делить добычу. Я не говорю о жалких илотах, которые везде тянут лямку, никогда не получая награды за свой труд, я называю их нищей братией христовой. Конечно, там царит добродетель во всем цвете своей глупости, но там же свила себе гнездо и нищета. Воображаю, как вытянулись бы лица у этих почтенных людей, если бы бог сыграл с ними злую шутку и не явился на Страшный суд. Итак, если вы хотите быстро нажить деньгу, вам надо уже быть богатым или казаться таковым. Чтобы разбогатеть здесь, надо ставить крупные ставки, иначе пропадешь. Если в ста доступных вам профессиях встречаются десять человек, которые быстро идут в гору, их называют ворами. Сделайте соответствующие выводы. Вот жизнь как она есть. Это не лучше кухни, точь-в-точь такая же вонь, — и приходится марать руки, если хочешь пировать; умейте только хорошенько вымыться — в этом вся мораль нашего времени. Я говорю так о людях потому, что имею на это право: я их

знаю. Вы думаете, я хулю их? Ничуть не бывало. Они всегда были такими. Моралисты нигде не изменят мир. Человек несовершенен. Иной лицемерит больше, другой меньше, и в соответствии с этим глупцы называют одного нравственным, другого безнравственным. Я не обвиняю богатых, чтобы возвеличить народ: человек везде один и тот же — наверху, внизу, посредине. На каждый миллион этого двуногого скота приходится десять молодцов, которые ставят себя выше всего, даже выше законов: я один из них. Если вы человек незаурядный, идите напрямик, с высоко поднятой головой. Но придется бороться с завистью, с клеветой, с посредственностью, со всем светом. Наполеон наткнулся на военного министра по фамилии Обри, который едва не сослал его в колонии. Проверьте себя хорошенько. Посмотрите, будете ли вы чувствовать каждый день, вставая утром, что воля ваша стала тверже, чем была накануне. Учитывая все это, я предложу вам сейчас одну сделку, от которой не отказался бы никто. Выслушайте внимательно. Я, видите ли, задумал одну вещь. Моя мечта — зажить патриархальной жизнью в большом имении, этак тысяч в сто арпанов, на юге Соединенных Штатов. Я хочу стать плантатором, завести рабов,

нажить несколько миллиончиков продажей волов, табака, леса, жить по-королевски, исполняя все свои прихоти, жить такой жизнью, о какой и не помышляют здесь, ютясь в каменных норах. Я — большой поэт. Своих стихов я не пишу: они заключаются в моих делах и чувствах. Я имею в настоящее время пятьдесят тысяч франков, на это едва можно купить сорок негров. Мне нужно двести тысяч франков, так как я хочу приобрести двести негров, чтобы удовлетворить свой вкус к патриархальной жизни. Негры, видите ли, те же дети, с которыми можно проделывать все, что угодно, не рискуя, что любопытный королевский прокурор потребует вас к ответу. С этим черным капиталом я в десять лет наживу три-четыре миллиона. Если мне это удастся, никто не спросит меня: «Кто ты?» Я буду господин Четыре Миллиона, гражданин Соединенных Штатов. Мне будет под пятьдесят, из меня еще песок не будет сыпаться, я поживу в свое удовольствие. Короче говоря, если я вам доставлю приданое в миллион, дадите вы мне двести тысяч франков? Двадцать процентов за комиссию. Разве это много? Вы позаботитесь, чтобы ваша женушка влюбилась в вас по уши. После свадьбы вы начнете обнаруживать тревогу, угрызения совести, будете недели две

притворяться опечаленным. Как-нибудь ночью, поломав комедию, вы объявите жене между двумя поцелуями, что у вас двести тысяч франков долга, вы скажете ей при этом: «Люблю тебя!..» Этот водевиль разыгрывается ежедневно самыми благовоспитанными молодыми людьми. Молодая женщина охотно отдает кошелек тому, кто берет ее сердце. Не думайте, что вы останетесь в убытке. Нет. Вы найдете способ вернуть свои двести тысяч франков, обделав какое-нибудь дельце. С такими деньгами при вашем уме вы наживете какое угодно состояние. Следовательно, в полгода вы осчастливите себя, свою любезную супругу и дядюшку Вотрена, не говоря о вашей семье, которая за недостатком дров зимой согревает руки собственным дыханием. Не удивляйтесь ни тому, что я вам предлагаю, ни тому, что требую от вас. Из шестидесяти блестящих браков, совершающихся в Париже, сорок семь не обходятся без подобных сделок. Нотариальная палата принудила господина…

— Что же мне нужно сделать? — жадно спросил Растиньяк, прерывая Вотрена.

— Почти ничего, — ответил тот, радостно встрепенувшись, как рыбак, почувствовавший, что рыба клюнула. — Слушайте же. Сердце

несчастной, обездоленной девушки с величайшей жадностью впитывает любовь, как губка влагу, оно расширяется, едва на него упадет хоть капля чувства. Ухаживать за молодой особой, которая живет в полном одиночестве, мучимая тоской, в бедности, не подозревая, что ее ждет богатство! — да это значит иметь все козыри на руках, знать номера лотереи, играть та) бирже, будучи в курсе всех новостей. Брак, воздвигнутый на таких условиях, будет незыблем. Если этой, девушке достанутся миллионы, она бросит их к вашим ногам, точно это простые камушки. «Возьми, мой возлюбленный! Возьми, Адольф! Возьми, Альфред! Возьми, Эжен!» — скажет она, если Адольф, Альфред или Эжен догадались принести для нее жертвы. Я подразумеваю под жертвами продажу старого фрака, чтобы пойти вместе в ресторан «Кадран-Бле» покушать пирожков с грибами, а оттуда вечером махнуть в «Амбигю-Комик»; жертва — это заклад часов в ломбарде, чтобы подарить ей шаль. Не буду говорить вам ни о любовных цидулках, ни о прочем вздоре, которому придают такое значение женщины; например, разлучившись с женщиной, нужно брызнуть водой на почтовую бумагу, как будто письмо смочено слезами; по всем признакам, вы

сами знаете в совершенстве любовное наречье. Видите ли, Париж все равно, что громадный лее Нового Света, где копошатся двадцать различных диких племен — илинойцы, гуроны, живущие добычей от разных охот в недрах общества, а вы — охотник за миллионами. Чтобы добыть их, вы расставляете канканы, силки, подманиваете с помощью дудки. Есть несколько способов охоты. Одни охотятся за приданым, другие подкарауливают аукционы, третьи улавливают души, четвертые продают своих клиентов, связав их по рукам и ногам. Того, кто возвращается с полным ягдташем, приветствуют, чествуют, принимают в порядочном обществе. Воздадим должное этой гостеприимной земле, вы имеете дело с самым снисходительным городом в мире. В то время как гордая аристократия всех столиц Европы отказывается пускать в свою среду бесчестного миллионера, Париж открывает ему объятия, бежит на его рауты, ест его обеды и чокается с его бесчестьем.

— Но где найти такую девушку? — сказал Эжен.

— Она перед вами, она ваша!

— Мадемуазель Викторина?

— Она самая.

— Как же это?

— Будущая баронесса де Растиньяк уже любит вас!

— У нее нет ни гроша, — возразил озадаченный Эжен.

— В том-то и закавыка, Еще два слова, и все разъяснится. Папаша Тайфер — старый мошенник; по слухам, во время революции он убил своего приятеля. Это один из тех молодцов, которые не считаются ни с чьим мнением. Он — банкир, главный пайщик конторы Фредерик Тайфер и К°. У него единственный сын, которому он собирается оставить свое состояние, обойдя Викторину. Что до меня, я не люблю подобных несправедливостей. Я, как Дон-Кихот, люблю брать под свою защиту слабого против сильного. Если бы богу угодно было отнять у Тайфера сына, он вернул бы к себе дочь, он захотел бы иметь какого-нибудь наследника, эта глупость — в природе человека, а у него не может быть больше детей, мне это известно. Викторина кротка и мила, она живо скрутит отца, он завертится у нее волчком, кнутом явится здесь чувство. Ваша любовь так полонит ее сердце, что она не забудет вас: вы женитесь на ней. А я беру на себя роль провидения, исполнителя воли божией. У меня есть друг, ко-

торый мне многим обязан, полковник луарской армии, только что назначенный в королевскую гвардию. Он слушается моих советов и стал крайним роялистом: он не из тех болванов, которые остаются верны своим убеждениям. Хочу дать вам еще один совет, дружок: плюйте и на свои убеждения, и на свои слова. Когда потребуется, продавайте их. Кто хвастается неизменностью убеждений, тот берет на себя обязательство всегда идти прямым путем, тот глупец, верящий в свою непогрешимость. Принципов нет, есть события; законов нет, есть обстоятельства: тот, кто выше толпы, приноравливается к событиям и обстоятельствам, чтобы руководить ими. Если бы существовали неизменные принципы и законы, нации не меняли бы их, как мы меняем сорочки. Отдельный человек не может быть мудрее целой нации. Человек, оказавший Франции меньше всего услуг, превращен в кумира, боготворимого по той причине, что он все видел в красном свете, а он годен лишь на то, чтобы его водрузили среди машин в музее с ярлычком — Лафайет; в то же время всякий бросает камень в человека, который воспрепятствовал разделу Франции на Венском конгрессе и достаточно презирает человечество, чтобы выхаркнуть тому в лицо столько

клятв, сколько требуется: на этого человека следовало бы возложить корону, а его закидывают грязью. О, я знаю толк в делах! Я знаю подноготную многих людей. Достаточно! Я согласен иметь непоколебимые убеждения, когда встречу хотя бы трех человек, между которыми не было бы разногласицы относительно любого принципа; мне придется ждать долгонько. В судах не найдешь и трех судей, которые сходились бы в толковании одной и той же статьи закона. Возвращаюсь к своему приятелю. Скажи я ему — и он Христа распнет вторично. По одному слову дядюшки Вотрена он затеет ссору с этим бездельником, который и ста су не дает бедной сестре, и…

Тут Вотрен поднялся, стал в позицию и сделал выпад, подражая учителю фехтования.

— Ив тартарары! — прибавил он.

— Какой ужас! — сказал Эжен. — Вы изволите шутить, господин Вотрен?

— Та-та-та, успокойтесь. Не притворяйтесь младенцем; впрочем, горячитесь, негодуйте, коли это вас забавляет! Скажите, что я негодяй, преступник, мошенник, разбойник, но не называйте меня ни мелким плутом, ни шпионом. Ну, говорите же, давайте по мне залп! Я вам прощаю — это так естественно в ваши годы. И

я был таким когда-то. Но только поразмыслите хорошенько. Когда-нибудь вы поступите еще хуже. Вы будете ухаживать за какой-нибудь хорошенькой женщиной и брать у нее деньги. Да вы уже подумываете об этом, — продолжал Вотрен. — Разве вы добьетесь успеха, если не будете чеканить звонкой монеты из своей любви? Добродетель, дорогой мой студент, не делится на кусочки: или она есть, или ее нет. Нас призывают каяться в грехах. Тоже недурная система. Совершай преступления, но кайся, и будешь прощен. Соблазнить женщину, чтобы подняться по общественной лестнице ступенькой выше, посеять раздор в семье, наделать всевозможных пакостей под сурдинку или иным манером, ради удовольствия или личной выгоды, — что же, по-вашему, все это — проявления веры, надежды и милосердия? Почему светского щеголя, отнявшего за одну ночь половину состояния у ребенка, приговаривают всего лишь к двум месяцам тюрьмы, а беднягу, укравшего ассигнацию в тысячу франков при отягчающих обстоятельствах, отправляют на каторгу? Вот ваши законы. В них нет ни одной статьи, которая не приводила бы к абсурду. Господин в перчатках, но со лживыми речами совершал убийства без кровопролития,

кровь ему дарили; убийца взломал дверь отмычкой; таковы два ночных происшествия. Между тем, что я вам предлагаю, и тем, что вы сделаете со временем, только та разница, что у вас руки не будут в крови. Вы верите, что в мире есть что-то незыблемое! Презирайте людей и высматривайте в сетях свода законов такие петельки, через которые можно пролезть. Тайна больших, неведомо откуда взявшихся состояний — в преступлении, забытом потому, что оно было чисто сделано.

— Молчите. Я не хочу больше вас слушать, вы способны заставить меня усомниться в самом себе. Сейчас я не хочу знать ничего, кроме голоса чувства.

— Как вам угодно, дитя мое. Я был о вас более высокого мнения. Больше я вам ничего не скажу. Еще одно слово, впрочем, — Вотрен пристально посмотрел на студента. — Вы знаете мою тайну, — сказал он.

— Молодой человек, отказавшийся от ваших услуг, сумеет забыть ее.

— Хорошо сказано; вы меня радуете. Другой, видите ли, был бы менее щепетильным. Не забывайте того, что я хочу сделать для вас. Даю вам две недели сроку. Соглашайтесь или отказывайтесь, воля ваша.

«Какая железная логика у этого человека, — подумал Растиньяк, глядя на Вотрена, спокойно удалявшегося с тростью под мышкой. — Он сказал мне без обиняков то, что госпожа де Босеан говорила, соблюдая правила приличия. Он раздирал мне сердце стальными когтями. Почему я стремлюсь бывать у госпожи де Нусинген? Он разгадал мои намерения, как только они у меня зародились. Этот разбойник в двух словах сказал мне о добродетели больше, чем все люди и книги. Если добродетель не терпит сделок с совестью, значит, я обокрал сестер?» — подумал Эжен, бросая мешок на стол.

Он сел и погрузился в мучительное раздумье.

«Быть верным добродетели — высокое мученичество! Все верят в добродетель, а кто добродетелен? Народы делают из свободы кумира, а где на земле свободный народ? Моя молодость пока еще похожа на безоблачное голубое небо; желать быть знатным или богатым не значит ли решиться лгать, гнуть спину, пресмыкаться, принимать гордый вид, льстить, скрывать? Не значит ли это добровольно сделаться лакеем тех, которые лгали, гнули спину, пресмыкались? Прежде чем стать их сообщником, надо быть их слугой. Так нет же, нет. Я хочу трудиться благо-

родно, свято; я хочу трудиться день и ночь, хочу быть обязанным своим благополучием только собственному труду. Такое благополучие достигается очень медленно, но зато каждый день голова моя будет спокойно склоняться на подушку и ее не будут тревожить дурные мысли. Что может быть прекраснее, чем созерцать свою жизнь и находить, что она чиста, как лилия? Я и жизнь — словно жених и невеста. Вотрен показал мне, что происходит после десяти лет супружества. Черт возьми! У меня голова идет кругом. Не хочу ни о чем думать, сердце — мой верный вожатый».

Из задумчивости Эжена вывел голос толстухи Сильвии, доложившей ему о прибытии портного, перед которым студент предстал, держа в руке два мешка с деньгами, и нельзя сказать, что был раздосадован этим обстоятельством. Примерив свои фраки, он облекся в новую визитку, которая совершенно преображала его.

«Я не уступлю теперь господину де Трайлю, — подумал он. — Наконец-то я имею вид джентльмена».

— Сударь, — сказал папаша Горио, входя к Эжену, — вы спрашивали, не знаю ли я, в каких домах бывает госпожа де Нусинген.

— Да.

— Так вот, она будет в ближайший понедельник на балу у маршала Карильяно. Если вы сможете там быть, вы расскажете мне, как веселились мои дочки, как они были одеты, словом, все.

— Как вы узнали это, дорогой папаша Горио? — спросил Эжен, усаживая его поближе к печке.

— Мне сказала об этом ее горничная. Обо всем, что у них происходит, я узнаю от Терезы и Констанции, — продолжал он весело.

Старик походил на юного влюбленного, счастливого тем, что придумал хитрость, позволяющую ему следить за жизнью своей возлюбленной так, что она этого даже не подозревает.

— Вы их увидите, увидите, — говорил он тоскливо, наивно выражая зависть.

— Не знаю, — ответил Эжен. — Отправлюсь к госпоже де Босеан и спрошу ее, не может ли она представить меня супруге маршала.

Эжен с тайной радостью думал о том, что он покажется у виконтессы, одетый так, как будет отныне одеваться всегда. То, что моралисты называют безднами сердца, — не что иное, как обманчивые мысли, невольные корыстные побуждения. Эти перипетии, предмет стольких разглагольствований, эти внезапные возвращения вспять рассчитаны на то, чтобы увеличить

наши наслаждения. Видя себя прекрасно одетым, в прекрасных перчатках, в прекрасной обуви, Растиньяк забыл свое добродетельное решение. Молодость не осмеливается взглянуть на себя в зеркало совести, когда она клонится в сторону неправды, тогда как зрелый возраст уже видел себя в нем; к этому сводится вся разница между двумя этими фазами жизни.

За последние дни два соседа, Эжен и папаша Горио, сделались приятелями. Их тайная дружба объяснялась психологическими мотивами, породившими ухудшение взаимоотношений между Вотреном и студентом. Смелый философ, пожелавший установить влияние наших чувств на физический мир, найдет, несомненно, немало доказательств их ощутимого воздействия в отношениях, создаваемых ими между нами и животными. Какой физиономист разгадает характер человека скорее, чем собака узнает, любит ее незнакомец или не любит. Атомы цепляются друг за друга — выражение, вошедшее в пословицу, употребляемое каждым, представляет один из пережитков, уцелевших в языке и разоблачающих философское неразумие тех, кто занят шелухой примитивных слов. Любовь дает себя чувствовать. Чувство накладывает отпечаток на

все и побеждает пространство. Письмо отражает душу, оно является столь верным эхом голоса пишущего, что чуткие умы относят письма к драгоценнейшим сокровищам любви. Папаша Горио, которого безрассудное чувство поднимало до высших степеней собачьего чутья, почуял сочувствие, полную восхищения доброжелательность, юношескую симпатию к себе, пробудившиеся в сердце студента. Однако эта зарождавшаяся дружба не привела еще ни к каким проявлениям откровенности. Обнаруживая желание видеть госпожу де Нусинген, Эжен не рассчитывал на то, что старик введет его в ее дом; но он надеялся, что тот проговорится, а он сможет воспользоваться этим. До сих пор папаша Горио говорил с ним о дочерях только в связи с тем, что Эжен позволил себе сказать при всех в день двух своих визитов.

— Дорогой господин де Растиньяк, — сказал ему старик на другой день, — как могли вы подумать, что моя дочь рассердилась на вас за то, что вы произнесли мое имя? Обе дочери очень любят меня. Я счастливый отец. Но только зятья дурно ведут себя по отношению ко мне. Я не хотел, чтобы дорогие мне существа страдали из-за моих неладов с их мужьями, и предпочитаю видеться с ними тайком. Эта тайна дает мне множество ра-

достей, непонятных другим отцам, которые могут видеть дочерей, когда хотят. Я же не могу этого, понимаете? В хорошую погоду я отправляюсь в Елисейские поля, расспросив раньше горничных, поедут ли мои дочки кататься. Я ожидаю их на пути; когда подъезжают экипажи, сердце бьется у меня сильнее, я любуюсь их туалетом, они мимоходом улыбаются мне, и эта улыбка позлащает природу, точно прекрасный солнечный луч. И я остаюсь на месте: они еще поедут назад. Я снова вижу их. Они разрумянились, посвежели от воздуха. Я слышу, как вокруг меня говорят: «Какая красавица!» Это мне радует сердце. Разве в них не моя кровь? Я люблю лошадей, которые везут их, я хотел бы быть собачкой, которую они держат на коленях. Я живу их радостями. Каждый любит по-своему; как бы то ни было, моя любовь никому не причиняет зла, почему же все обращают внимание на меня? Я счастлив по-своему. Разве есть что-нибудь противозаконное в том, что я хожу взглянуть на дочерей вечером, в тот момент, когда они выходят из дому, чтобы отправиться на бал? Какое горе для меня, если я опаздываю и мне говорят: «Барыня уже уехала». Раз я прождал всю ночь до трех часов утра, чтобы увидеть Нази, которую не видел перед этим два дня. Я чуть не

умер от радости. Прошу, говорите обо мне только для того, чтобы рассказать о доброте моих дочерей. Они хотят засыпать меня всевозможными подарками; я им препятствую, я говорю им: «Берегите ваши деньги! Что мне делать с подарками, по-вашему? Мне ничего не надо». В самом деле, дорогой господин Растиньяк, что я такое? Скверный труп, душа которого всюду, где мои дочери. Когда вы увидите госпожу де Нусинген, вы мне скажете, которая из них вам нравится больше, — сказал добряк после минутного молчания, видя, что Эжен собирается пойти прогуляться в Тюильри, прежде чем явиться к госпоже де Босеан.

Эта прогулка была для студента роковой. Некоторые женщины заметили его. Он был так красив, так молод, так изысканно изящен! Эжен, видя, что он является предметом почти восторженного внимания, не думал больше ни о своих обобранных сестрах, ни о тетке, ни о своем добродетельном отвращении. Он узрел пролетевшего над его головой демона, которого так легко принять за ангела, того сатану с разноцветными крыльями, который рассыпает рубины, мечет золотые стрелы во фронтон дворцов, одевает в пурпур женщин, облекает бессмысленным блеском троны, столь простые при возникновении

своем; он услышал бога трескучей суеты, мишура которой кажется нам символом могущества. Слова Вотрена, как ни были они циничны, запали в его сердце подобно тому, как в память девушки врезается гнусный профиль старухи-торговки поношенным платьем, сказавшей ей: «Золота и любви сколько угодно».

Пофланировав, Эжен около пяти часов явился к госпоже де Босеан и получил здесь один из тех ужасных ударов, против которых юные сердца безоружны. До сих пор обращение с ним виконтессы было исполнено той учтивой приветливости, той медоточивой любезности, которая дается аристократическим воспитанием и лишь тогда полноценна, когда исходит от чистого сердца.

Когда он вошел, госпожа де Босеан сухо кивнула ему и сказала отрывисто:

— Господин де Растиньяк, я не имею возможности вас принять, по крайней мере, сейчас. Я занята…

Для человека наблюдательного, а Растиньяк быстро сделался наблюдательным, в этих словах, в кивке, во взгляде, в интонации голоса открылась история нравов и обычаев касты. Он увидел под бархатной перчаткой железную

руку; под изысканными манерами — себялюбие, эгоизм; под лаком — дерево. Он услышал, наконец, пресловутое: «Я король», начинающееся под балдахином трона и кончающееся под шлемом последнего дворянина. Эжен слишком легко решился поверить в благородство женщины. Как все несчастные, он чистосердечно подписал сладостный договор, который связывает покровителя с облагодетельствованным и первым своим параграфом освещает полное равенство между людьми великодушными. Благодеяние, соединяющее воедино два существа, — это небесная страсть, столь же непонятная, столь же редкая, как истинная любовь. Как и любовь, это расточительность прекрасных душ. Растиньяк хотел попасть на бал герцогини де Карильяно и подавил поднявшуюся в нем бурю.

— Сударыня, — сказал он взволнованным голосом, — если бы не важное дело, я не стал бы вам докучать; будьте снисходительны и разрешите мне навестить вас позднее, я подожду.

— Прекрасно, приходите обедать, — ответила она, немного смущенная той резкостью, которую вложила в свои слова; эта женщина была столь же добра, сколь великодушна.

Хоть и задетый этим внезапным поворотом,

Эжен, уходя, сказал самому себе; «Пресмыкайся, сноси все. Каковы должны быть другие, если лучшая из женщин в одно мгновение сводит на нет обещания своей дружбы, выбрасывает тебя, как старый башмак? Так, значит, каждый за себя? Но, конечно, ее дом не лавка, и я не прав, когда прихожу сюда со своими нуждами. Следует, как говорит Вотрен, врезаться, подобно пушечному ядру».

Горькие размышления студента вскоре рассеялись от предвкушаемого обеда у виконтессы. Так роковым образом малейшие события нарочно толкали его на тот путь, где он, по словам грозного сфинкса Дома Воке, должен был, как на поле битвы, убивать, чтобы не быть убитым, обманывать, чтобы не быть обманутым; где он должен был сложить свою совесть, свое сердце, надеть маску, безжалостно играть людьми и, как в Лакедемоне, ловить, оставаясь незамеченным, удачу, чтобы заслужить венок. Когда он вернулся к виконтессе, он нашел ее исполненной той милой благосклонности, какую она постоянно к нему проявляла. Вдвоем они прошли в столовую, где виконт ожидал жену и где стол блистал роскошью убранства, доведенной во времена Реставрации, как каждому известно, до наивысшего предела.

Подобно многим пресыщенным людям, господин де Босеан уже не находил удовольствия ни в чем, кроме изысканной еды; в гурманстве он придерживался школы Луи Восемнадцатого и герцога д'Эскара. Стол его являл двойную роскошь — в том, что подается, и в том, как подается. Никогда еще подобное зрелище не поражало Эжена; впервые довелось ему обедать в одном из тех домов, где блеск общественного положения является наследственным. Мода недавно отменила ужины, которыми заканчивались балы во времена Империи, когда военным приходилось набираться сил, чтобы всегда быть готовым к бою, ожидавшему их повсюду — и за рубежом, и внутри страны. До сих пор Эжен бывал только на балах. Самоуверенность, которой он так отличался впоследствии и которую уже начал проявлять теперь, не позволила ему остолбенеть от изумления. Но при виде этого чеканного серебра и крайне изысканного, великолепного стола, при виде бесшумно прислуживающих лакеев, человеку, одаренному пылким воображением, трудно было не предпочесть эту неизменно изящную жизнь той полной лишений жизни, какой Растиньяк готов был отдаться утром. На мгновенье мысль перенесла его обратно в мещанские меблированные комнаты,

и они внушили ему такое глубокое отвращение, что он поклялся оставить их в январе как для того, чтобы поселиться в приличном доме, так и для того, чтоб избавиться от Вотрена, тяжелую руку которого он чувствовал на своем плече. Если подумать о тысяче обликов, какие принимает в Париже растление нравов, явное или сокрытое, перед человеком здравомыслящим встает вопрос: по какому недоразумению государство еще учреждает здесь школы, собирает в них молодых людей, как еще сохраняется здесь уважение к красивым женщинам, как выставленное у менял золото не исчезает, точно по волшебству, из их деревянных плошек? Но когда рассудишь, насколько все-таки редки преступления или даже проступки, совершаемые молодежью, невольно проникаешься уважением к этим терпеливым Танталам, которые ведут борьбу с самими собою и почти всегда выходят победителями! Если бы как следует изобразить его борьбу с Парижем, наш студент представил бы один из самых драматических сюжетов современной цивилизации. Госпожа де Босеан напрасно смотрела на Эжена, взглядом вызывая его на разговор, он не желал говорить в присутствии виконта.

— Вы проводите меня в Итальянскую оперу? —

спросила виконтесса мужа.

— Вам, несомненно, известно, с каким удовольствием я вам повиновался бы, — ответил тот с насмешливой учтивостью, обманувшей студента, — но у меня назначена встреча в Варьете.

«С любовницей», — подумала виконтесса.

— Разве вы не ждете сегодня д'Ахуда? — спросил супруг.

— Нет, — ответила она раздраженно.

— Что ж, если вам непременно нужен провожатый, пригласите господина де Растиньяка.

Виконтесса улыбнулась Эжену.

— Вас это сильно скомпрометирует, — промолвила она.

— Француз, как сказал Шатобриан, любит опасность, ибо в ней он обретает славу, — возразил с поклоном Растиньяк.

Через несколько минут он мчался в двухместной карете рядом с госпожою де Босеан к модному театру и сказкой показалось ему, когда он вошел в ложу прямо против сцены и увидел, что все лорнеты наставляются поочередно на него и виконтессу, туалет которой был прелестен. Одно очарование сменялось для него другим.

— Вы хотели поговорить со мною, — обратилась к нему госпожа де Босеан. — Ах, вон госпожа

де Нусинген в третьей ложе от нас. А по другую сторону ее сестра с господином де Трайлем.

Говоря так, виконтесса смотрела на ложу, где должна была сидеть мадемуазель, де Рошфид, и так как маркиза д'Ахуда там не было, лицо, виконтессы необычайно просияло.

— Она восхитительна, — сказал Эжен, отводя взгляд от госпожи де Нусинген.

— У нее белые ресницы.

— Да, но какой прелестный тонкий стан!

— У нее большие руки.

— Чудные глаза!

— У нее вытянутое лицо.

— Но продолговатый овал благороден.

— Счастье для нее, что хоть в этом у нее есть благородство. Смотрите, как она берет и опускает лорнет. В каждом ее движении сквозит Горио, — сказала виконтесса, к великому удивлению Растиньяка.

В самом деле, госпожа де Босеан лорнировала зал, не уделяя внимания госпоже де Нусинген, и, однако, ни один жест баронессы не ускользал от нее. Публика была избранная. Дельфине де Нусинген немало льстило исключительное внимание молодого; красивого, изящного кузена госпожи де Босеан, который глядел только на

нее.

— Если вы будете смотреть на нее, не сводя глаз, произойдет скандал, господин де Растиньяк. Вы ничего не добьетесь, если будете таким назойливым.

— Дорогая кузина, — сказал Эжен, — вы уже взяли меня под свое покровительство; если хотите завершить благодеяние, я попрошу вас только оказать мне услугу, которая вам не причинит больших хлопот, а меня осчастливит. Я влюблен.

— Уже?

— Да.

— В эту женщину?

— Другие разве стали бы слушать мои притязания? — промолвил он, кинув на кузину выразительный взгляд. — Герцогиня де Карильяно неразлучна с герцогиней Беррийской, — продолжал он, помолчав. — Вы с ней, наверно, увидитесь. Будьте добры, представьте меня ей и привезите меня к ней на бал в понедельник. Там я встречу госпожу де Нусинген и поведу первую атаку.

— Охотно, — ответила виконтесса. — Если она уже пришлась вам по вкусу, ваши сердечные дела идут отлично. Вы видите, де Марсэ в ложе у княгини Галатионской. Для госпожи де Нусинген

это пытка, она раздосадована. Лучшего момента не придумать для сближения с женщиной, в особенности с женой банкира. Все дамы с Шоссе д'Антен — обожают месть.

— А что сделали бы вы в подобном положении?

— Страдала бы молча.

В это мгновение в ложу госпожи де Босеан вошел маркиз д'Ахуда.

— Я пренебрег делами, чтобы увидеть вас, — сказал он, — и довожу это до вашего сведения не для того, чтобы это было принято за жертву.

Просветлевшее лицо виконтессы научило Эжена распознавать, как выражается истинная любовь, и не смешивать ее с личинами парижского кокетства. В восторге от своей кузины, он умолк и со вздохом уступил место маркизу д'Ахуда. «Каким благородным, каким высоким созданием должна быть женщина, которая любит так, — подумал он. — И этот человек готов предать ее ради какой-то куклы! Как можно предать ее?» Детская ярость вскипела в его сердце. Он готов был упасть к ногам госпожи де Босеан, он жаждал демонического могущества, чтобы умчать ее в своем сердце, как уносит орел из долины в нагорное гнездо белую козочку, еще

не отлученную от материнских сосцов. Эжен чувствовал себя униженным от того, что в этом великом Музее красоты у него нет собственной картины, нет любовницы. «Любовницы и царственное положение, — сказал он про себя, — вот атрибуты власти». И он посмотрел на госпожу де Нусинген, как оскорбленный смотрит на противника. Виконтесса обратила к нему лицо, посылая прищуренным взглядом тысячу благодарностей за его скромность. Первый акт кончился.

— Вы достаточно знакомы с госпожой де Нусинген, чтобы представить ей господина де Растиньяка? — спросила она маркиза д'Ахуда.

— Она будет чрезвычайно рада познакомиться с вами, сударь, — отвечал маркиз.

Прекрасный португалец поднялся, взял студента под руку, и тот в мгновенье ока очутился перед госпожой де Нусинген.

— Баронесса, — сказал маркиз, — имею честь представить вам кавалера Эжена де Растиньяка, кузена виконтессы де Босеан. Вы произвели на него столь живое впечатление, что мне захотелось довершить его счастье, приблизив его к кумиру.

Слова эти были сказаны с оттенком некоторой иронии, вложившей в них довольно грубую

мысль, которая, однако, в прикрытой форме никогда не вызовет в женщине неудовольствия. Госпожа де Нусинген улыбнулась и предложила Эжену кресло своего мужа, только что вышедшего из ложи.

— Я не смею предложить вам остаться у меня, сударь, — сказала она ему. — Кто имеет счастье находиться подле госпожи де Босеан, тот не уйдет от нее.

— Но мне сдается, сударыня, — промолвил вполголоса Эжен, — что, если я хочу сохранить расположение своей кузины, мне следует остаться с вами. До прихода маркиза мы говорили о вас, о вашей изысканности, — добавил он громко.

Господин д'Ахуда удалился.

— В самом деле, сударь, — спросила баронесса, — вы решили остаться со мною? Что же, познакомимся; госпожа де Ресто уже внушила мне живейшее желание вас увидеть.

— До чего она, однако, неискренна. Она отказала мне от дома.

— Как?

— Сударыня, мне совестно открывать вам причину; но я рассчитываю на вашу снисходительность, доверяя вам подобную тайну. Я — сосед вашего батюшки. Я не знал, что госпо-

жа де Ресто — его дочь. Я имел неосторожность совершенно безобидно заговорить о нем, и этим прогневил вашу сестру и ее супруга. Вы не можете себе представить, до чего неприличным нашли это дочернее отступничество герцогиня де Ланжэнмоя кузина. Я передал им всю сцену, и они смеялись, как сумасшедшие. Как раз по этому случаю, сопоставляя вас с сестрою, госпожа де Босеан заговорила о вас в очень благожелательных выражениях и рассказала мне, как вы добры к моему соседу, господину Горио. В самом деле, как вам не любить его? Он так страстно вас обожает, что я уже ревную. Мы с ним утром два часа разговаривали о вас. А, потом, переполненный тем, что ваш отец поведал мне, я вечером сказал кузине за обедом: «Неужели красота госпожи де Нусинген равняется доброте ее сердца?» И госпожа де Босеан, несомненно, сочувствуя столь пламенному поклонению, пригласила меня сюда; со своей обычной любезностью она сказала, что здесь я могу вас увидеть.

— Как, сударь, — сказала жена банкира, — я уже обязана вам признательностью? Еще немного, и мы станем старыми друзьями.

— Хоть я и уверен, что дружба с вами не может быть заурядной, я отнюдь не желаю сделаться

вашим другом.

Эти банальности в устах дебютанта всегда приятны женщинам и представляются жалкими, только когда их встречаешь в книге. Жест, голос, взгляд молодого человека придают им ценность неисчислимую. Госпожа де Нусинген нашла Растиньяка очаровательным. Но, как и всякая женщина, она не могла ответить на подобный вопрос, поставленный ребром, и перевела разговор на другое.

— Да, сестра вредит себе тем, что обходится так с бедным отцом, который воистину был для нас провидением. Господин де Нусинген положительно воспретил мне встречаться с отцом иначе, как по утрам, и мне пришлось уступить. Но я долго терзалась. Я плакала. Это насилие, пришедшее вслед за грубой реальностью брака, было одной из главных причин, смутивших мое семейное счастье. В глазах света я, несомненно, счастливейшая женщина в Париже, на деле я — самая несчастная. Вам безрассудным покажется, что я с вами так говорю. Но вы знаете моего отца и поэтому не можете быть для меня чужим.

— Никогда не встретите вы человека, — ответил Эжен, — который горел бы более живым желанием принадлежать вам. Чего все вы,

женщины, ищете? Счастья, — продолжал он проникновенным голосом. — Что же, если для женщины счастье в том, чтобы быть любимой, обожаемой, в том, чтобы иметь друга, которому она могла бы поверить свои стремления, свои прихоти, печали и радости; перед кем она могла бы обнажить свою душу со всеми ее милыми недостатками и прекрасными достоинствами, не опасаясь предательства; поверьте мне, такое преданное, неизменно пламенное сердце вы встретите только у человека молодого, полного иллюзий, который готов умереть по единому вашему знаку, который еще совсем не знает света и не хочет его знать, потому что вы для него — целый свет. Я прибыл — вы, пожалуй, станете смеяться над моей наивностью, — я прибыл из глухой провинции, я совсем новичок, знававший только прекрасные души; и я рассчитывал прожить без любви. Но мне довелось увидеть здесь свою кузину, которая позволила мне заглянуть в ее сердце; она дала мне угадать несметные сокровища страсти; и, подобно Керубино, я влюблен во всех женщин в ожидании часа, когда смогу посвятить себя одной из них. При виде вас, едва войдя сюда, я почувствовал, что меня словно подхватил и влечет к вам поток. Я столько уже о

вас думал! Но и в мечтах вы не рисовались мне такой прекрасной, какая вы в действительности. Госпожа де Босеан запретила мне глядеть на вас неотрывно. Она не знает, как завлекательно смотреть на ваши алые губы, на белизну ваших щек, на ваши нежные глаза. Ну, вот, я тоже говорю вам безрассудные слова, но позвольте мне их говорить. Ничто так не пленяет женщин, как эти сладкие излияния. Самая строгая святоша выслушивает их даже тогда, когда не имеет права на них отвечать. После такого начала Растиньяк повел дальше свою вкрадчивую речь кокетливо приглушенным голосом, а госпожа де Нусинген поощряла Эжена улыбками, поглядывая время от времени на де Марсэ, который не покидал ложи княгини Галатионской. Растиньяк оставался с госпожой де Нусинген, пока не вернулся ее супруг, чтобы отвезти ее домой.

— Сударыня, — обратился к ней Эжен, — я буду иметь удовольствие навестить вас до бала у герцогини де Карильяно.

— Рас моя шена прикляшает фас, — проговорил барон, толстый эльзасец, в круглом лице которого читалась опасная хитрость, — фи может пить уферен ф тобром прием.

«Дело мое на мази, раз она не слишком рас-

сердилась, когда я спросил: «Полюбите ли вы меня?» Конь взнуздан, теперь вспрыгнем в седло и натянем поводья», — размышлял Эжен, идя проститься с госпожой де Босеан, которая встала и собиралась уходить с маркизом д'Ахуда.

Бедный студент не знал, что баронесса слушала его рассеянно: она ждала от де Марсэ одного из тех решительных писем, которые раздирают душу. Счастливый своим мнимым успехом, Эжен проводил госпожу де Босеан до вестибюля, где все ждали своих карет.

— Ваш кузен сам на себя не похож, — со смехом сказал, виконтессе португалец, когда Эжен с ними расстался. — Он сорвет банк. Он изворотлив, как угорь, и я уверен, что пойдет далеко. Вы одна могли подобрать ему подходящую женщину, как раз в такую минуту, когда, ту надо утешить.

— Да, — отвечала госпожа де Босеан, — но следует убедиться, любит ли она еще того, кто ее покидает.

Из Итальянской оперы на улицу Нев-Сент-Женевьев студент вернулся пешком, строя самые сладостные планы. Он заметил, с каким вниманием госпожа, де Ресто следила за ним сперва в ложе виконтессы, затем в ложе госпожи де Нусинген, и предполагал, что дверь графини откроется ему.

Итак, четыре знатные дамы высшего парижского общества — ибо он заранее рассчитывал понравиться супруге маршала — уже завоеваны им. Еще не совсем уяснив себе, какими средствами надо действовать, он догадывался, что в сложной игре светских интересов ему надо уцепиться за какое-нибудь колесо, чтобы взобраться на верх машины, для управления которой он чувствовал в себе достаточную силу.

«Если госпожа де Нусинген заинтересуется мною, я научу ее верховодить мужем. К нему золото льется рекой, он может помочь мне разбогатеть». Эжен не говорил себе этого прямо, он еще не был достаточно искушенным политиком, чтобы выразить ситуацию в цифрах, оценить ее и рассчитать; эти помыслы легкими облаками витали на горизонте; хоть в грубости они и уступали идеям Вотрена, все же, если бы они были подвергнуты искусу совести, то оказались бы не особенно чистыми. Через цепь сделок подобного рода люди приходят к той разнузданной морали, какой придерживается нынешняя эпоха, где реже, чем когда-либо встречаются прямолинейные люди, люди сильной воли, которые никогда не сгибаются перед злом и которым малейшее уклонение от прямого пути представляется пре-

ступлением: величественные образы честности, подарившие нам два шедевра — мольеровского Альцеста и, в более близкое время, Дженни Динс и ее отца в романе Вальтера Скотта. Но, может быть, произведение обратного порядка, попытка изобразить те извилины, которыми светский честолюбец ведет свою совесть, пытаясь обойти зло, дабы достигнуть цели с соблюдением внешних приличий, — быть может, такое произведение явилось бы не менее прекрасным, не менее драматичным. Когда Растиньяк подходил к своему пансиону, он уже был влюблен в госпожу де Нусинген, она ему казалась стройной, тонкой, как ласточка. Опьяняющая сладость ее взгляда, холеная и нежная ткань ее кожи, сквозь которую, казалось, видно было, как течет кровь, ее чарующий голос, ее белокурые волосы — все запечатлелось в его памяти; может быть, ходьба, приводя в движение кровь, способствовала очарованию. Студент громко постучал в дверь к папаше Горио.

— Сосед, — сказал он, — я видел госпожу Дельфину.

— Где?

— В Итальянской опере.

— Весело ли ей было? Да войдите же.

Старик встал с постели в одной рубашке, открыл дверь и поспешно лег опять.

— Расскажите же мне о ней, — попросил он. Эжен, впервые очутившийся у папаши Горио, не мог скрыть своего изумления при виде конуры, в которой жил старик; ведь ему только что довелось любоваться туалетом дочери. На окне не было занавесок; обои на стенах во многих местах отстали под действием сырости и покорежились, обнажив пожелтевшую от дыма штукатурку. Старик лежал на убогой кровати, под жидким одеялом, ноги его были прикрыты лоскутным одеялом, сшитым из старых платьев госпожи Воке. Пол был сырой, на нем толстым слоем лежала пыль. Напротив окна виднелся один из тех старых пузатых комодов розового дерева, у которых витые медные ручки делаются в виде виноградной лозы, украшенной листьями или цветами; ветхий табурет с тазом, кувшином для воды и принадлежностями для бритья. В углу башмаки, у кровати ночной столик без дверцы и мраморной доски; у камина без малейших следов огня квадратный стол орехового дерева с перекладиной, о которую папаша Горио сплющивал золоченую чашку. Плохонькая конторка, на которой лежала шляпа старика, кресло с соломенным сиденьем и

два стула дополняли эту жалкую обстановку. На брусе для полога, привязанном к потолку тряпками, висел дрянной лоскут материи в красную и белую клетку. Какой-нибудь бедняк-рассыльный на своем чердаке был, наверно, обставлен не так убого, как папаша Горио у госпожи Воке. От вида этой комнаты холод пробегал по спине и сжималось сердце; она походила на самую унылую тюремную камеру. К счастью, Горио не заметил выражения, мелькнувшего на лице Растиньяка, когда тот поставил на ночной столик свою свечу. Старик повернулся к нему, покрывшись одеялом до подбородка.

— Ну, которая вам больше нравится — госпожа де Ресто или госпожа де Нусинген?

— Я предпочитаю госпожу Дельфину, — ответил студент, — потому что она больше любит вас.

На эти горячо сказанные слова Горио высунулся из-под одеяла и пожал Эжену руку.

— Благодарю, благодарю, — сказал растроганный старик.

— Что же она вам обо мне говорила?

Студент повторил в приукрашенном виде слова баронессы, и старик слушал его, как будто внимая слову божию.

— Дорогое дитя! Да, да, она меня любит. Но не верьте тому, что она наговорила про Анастази. Сестры, видите ли, ревнуют друг к другу. И это лишнее доказательство их нежности. Госпожа де Ресто тоже очень любит меня. Я это знаю. Отец знает своих детей не хуже, чем бог всех нас, он читает в глубине сердец и судит самые намерения. Они обе любят меня одинаково. Ах, будь у меня добрые зятья, я был бы чрезмерно счастлив. Полного счастья на земле, конечно, не бывает. Если бы я жил при них… Да, только бы слышать их голоса, знать, что они тут, видеть, как они приходят и уходят, точно в те времена, когда они жили еще у меня, — сердце мое прыгало бы от радости. Хорошо ли они были одеты?

— Да, — сказал Эжен. — Но, господин Горио, раз ваши дочери так прекрасно устроены, как можете вы жить в подобной норе?

— Право же, — ответил тот как будто с беспечным видом, — к чему мне лучшая обстановка? Мне трудно вам это объяснить; я не умею связать, как следует, двух слов. Все здесь, — добавил он, ударяя себя в грудь. — Жизнь моя в моих дочерях. Если им весело, если они счастливы, нарядно одеты, если они ходят по коврам, то не все ли равно, из какого сукна сшита моя одежда и где

мне приходится спать. Мне не холодно, если им тепло, мне никогда не бывает скучно, если они смеются. У меня нет иных кручин, кроме их горестей. Когда вы сделаетесь отцом, когда, слушая лепет своих детей, вы скажете себе: «Это моя плоть!», когда вы почувствуете, что эти созданьица связаны с вами каждой каплей крови, что они — ее нежнейший цвет, ибо так оно и есть, тогда вам станет казаться, что вы приросли к их коже, что их шаги приводят в движение вас самих. Их голоса откликаются мне отовсюду. При одном их взгляде, если он печален, во мне стынет кровь. Настанет день, и вы узнаете, что их счастьем бываешь несравненно счастливее, нежели своим собственным. Я не могу вам этого объяснить: тут какие-то внутренние ощущения, от которых на все исходит радость. Словом, я живу втройне. Сказать вам забавную вещь? Так вот, став отцом, я понял бога. Он вездесущ, потому что все творение вышло из него самого. Сударь, так и у меня с моими дочерьми. Только я люблю дочерей больше, чем бог любит мир, потому что мир не столь прекрасен, как бог, а мои дочери прекраснее меня. Я так связан с ними душой, что я предчувствовал: нынче вечером вы их увидите. Боже! Если бы нашелся человек, который дал бы моей дорогой

Дельфине счастье, какое испытывает женщина, когда она любима, да я бы чистил ему сапоги, служил бы у него на посылках. Я узнал от ее горничной, что этот де Марсэ — подлая собака. Меня не раз разбирало желание свернуть ему шею. Не любить эту жемчужину среди женщин, этот соловьиный голос, этот дивный стан! Куда она смотрела, когда выходила замуж за эту толстую эльзасскую колоду? Им обеим надо бы в мужья молодых людей, красивых и любезных. Но что же! Они следовали собственной прихоти.

Папаша Горио был прекрасен. Эжену еще не доводилось видеть его озаренным этой отцовской страстью. Замечательно, какою силой наития обладают чувства. Как бы ни был груб человек, если он проявляет подлинную и сильную любовь, от него исходит особый ток, который преображает его лицо, оживляет жесты, окрашивает голос. И часто последний тупица под действием страсти достигает самого высокого красноречия — если не в словах, то в мыслях — и как будто движется в лучезарной сфере. В эту минуту в голосе и движениях старика была та заражающая сила, которая отличает великих актеров. Но не являются ли наши высокие чувства поэзией воли?

— Ну, вас, наверное, не огорчит известие, — ска-

зал ему Эжен, — что она, наверно, вскоре порвет с де Марсэ. Этот фатишка бросил ее и увивается за княгиней Галатионской. А вот я нынче вечером влюбился в госпожу Дельфину.

— Вот как! — проговорил Горио.

— Да. И я тоже произвел на нее неплохое впечатление. Мы целый час разговаривали о любви, и послезавтра, в субботу, я пойду к ней с визитом.

— Ах! Как бы я полюбил вас, дорогой сосед, если бы вы ей пришлись по нраву. Вы добры, вы не стали бы мучить ее. Но если бы вы ей изменили, я бы тут же перерезал вам горло. Женщина, видите ли, не может любить двоих. Боже! Я говорю вздор, господин Эжен. Вам здесь холодно. Боже! Так вы беседовали с ней. Что она просила передать мне?

«Ничего», — мысленно проговорил Эжен.

— Она сказала мне, — отвечал он вслух, — что шлет вам крепкий дочерний поцелуй.

— До свидания, сосед. Спокойной ночи, сладких сновидений; для меня они обеспечены вашими словами. Господь да исполнит все ваши желания! Вы сегодня явились для меня добрым ангелом, вы приносите мне воздух, которым дышит моя дочь.

«Бедняга! — думал Эжен, укладываясь спать, — Тут дрогнуло бы и каменное сердце. Дочка думала

о нем не больше, чем о турецком султане».

После этого разговора папаша Горио стал видеть в соседе нежданного поверенного, друга. Между ними установился тот единственный род отношений, какой мог привязать старика к другому человеку. Страсть никогда не просчитывается. Горио предвкушал, что станет ближе своей дочери Дельфине, будет лучше принят у нее, если Эжен сделается дорог баронессе. Он, между прочим, поверил ему одну из своих печалей. Госпожа де Нусинген, которой он тысячу раз на день желал счастья, до сих пор не изведала сладостей любви. Несомненно, Эжен, выражаясь словами Горио, принадлежал к числу самых приятных молодых людей, каких он только знал, и отцу казалось, что Растиньяк доставит его дочери все те наслаждения, которых она была лишена, и вот добряк все более и более проникался к своему соседу дружбой, без которой невозможно было бы, конечно, узнать развязку этой истории.

На другое утро за завтраком столовники госпожи Воке были крайне изумлены нежностью, с какой глядел на Эжена папаша Горио, занявший место рядом с ним, словами старика, обращенными к студенту, и переменой в выражении его лица, обычно похожего на гипсовую маску.

Вотрен, впервые после их беседы увидевшись со студентом, казалось, пытался читать в его душе. Ночью, перед тем как уснуть, Эжен мысленным взором измерял открывшиеся ему широкие горизонты и теперь, вспоминая замысел этого человека, невольно подумал о приданом мадемуазель Тайфер и не мог удержаться, чтобы не смотреть на Викторину так, как самый добродетельный молодой человек смотрит на богатую наследницу. Их глаза случайно встретились. Бедная девушка нашла Эжена в его новом костюме очаровательным. Взгляд, которым они обменялись, был достаточно красноречив, и Растиньяк не сомневался, что стал для нее предметом смутных желаний, которые знакомы всем девушкам, готовым сосредоточить их на первом сколько-нибудь привлекательном существе, которое представится их взорам. Некий голос кричал ему: «Восемьсот тысяч франков!» Но вдруг опять его захватили воспоминания о вчерашнем вечере, и он подумал, что напускная страсть к госпоже де Нусинген послужит противоядием против невольных дурных помыслов.

— Вчера у итальянцев давали «Севильского цирюльника» Россини. Я в жизни не слышал такой восхитительной музыки, — сказал он. — Боже,

какое счастье иметь ложу в Итальянской опере.

Папаша Горио на лету подхватил эту фразу, как ловит собака движение своего хозяина.

— Вы, мужчины, катаетесь, как сыр в масле, — сказала госпожа Воке, — делаете все, что вам вздумается.

— Как вы добрались домой? — спросил Вотрен.

— Пешком, — ответил Эжен.

— А вот я, — продолжал искуситель, — не признаю удовольствия наполовину; поехать в театр, так уж в собственной карете, в собственную ложу и вернуться с полным комфортом. Все или ничего! — вот мой девиз.

— Хороший девиз, — подхватила госпожа Воке.

— Вы, может быть, навестите госпожу де Нусинген, — шепнул Эжен папаше Горио. — Она, несомненно, примет вас с распростертыми объятиями; ей захочется узнать от вас тысячу мелких подробностей обо мне. Мне известно, что она сделала бы все на свете, лишь бы быть принятой у моей кузины, виконтессы де Босеан. Не забудьте сказать ей, что я ее обожаю и позабочусь доставить ей это удовольствие.

Растиньяк поспешил в университет. Он хотел оставаться как можно меньше времени в этом постылом доме. Почти весь день прослонялся он

во власти умственной лихорадки, хорошо знакомой молодым людям, обуреваемым слишком пылкими надеждами. Вспоминая рассуждения Вотрена, он призадумался над жизнью общества, когда ему в Люксембургском саду повстречался его друг Бьяншон.

— С чего это у тебя такой озабоченный вид? — сказал ему медик, беря его под руку, чтобы вместе пройтись перед дворцом.

— Меня одолевают дурные мысли.

— В каком духе? От мыслей можно излечиться.

— Как?

— Надо им поддаться.

— Ты смеешься, сам не зная над чем. Читал ты Руссо?

— Читал.

— Помнишь то место, где он спрашивает читателя, как бы тот поступил, если бы мог разбогатеть, убив в Китае старого мандарина — одним лишь усилием воли, не двигаясь из Парижа?

— Помню.

— Ну и как?

— Чего там. Я приканчиваю уже тридцать третьего мандарина.

— Нет, кроме шуток. Предположим, доказано, что это вполне осуществимо и тебе достаточно

кивнуть головой, — как бы ты поступил?

— А очень стар твой мандарин? Впрочем, молод или стар, в параличе или в добром здравии, все равно, я бы его… Черт подери. Сказать по правде — нет.

— Молодец, Бьяншон. Но если бы ты любил женщину, если бы ты готов был ради нее продать душу дьяволу, а ей понадобились бы деньги, много денег на наряды, на карету, словом, на всяческие прихоти?

— Но ты меня лишаешь разума и хочешь, чтобы я рассуждал разумно.

— Так вот, Бьяншон, я сошел с ума, вылечи меня. У меня две сестры, ангелы красоты и чистоты, и я хочу, чтобы они были счастливы. Где взять в течение пяти лет двести тысяч франков на их приданое? Бывают, видишь ли, в жизни обстоятельства, когда надо идти на большую игру и не растрачивать счастье на грошовые выигрыши.

— Но ты ставишь вопрос, который возникает перед каждым при вступлении в жизнь, и хочешь рассечь гордиев узел мечом. Чтобы действовать так, мой дорогой, надо быть Александром, не то угодишь на каторгу. Сам я счастлив скромным существованием, которое создам себе в провинции, где попросту перейму практику отца. Человек

удовлетворяет свои чувства с одинаковой полнотою как в тесном кругу, так и в самом широком. Наполеон не съедал по два обеда и не мог иметь больше любовниц, чем какой-нибудь медик, интерн больницы капуцинов. Наше счастье, дорогой мой, всегда в пределах между подошвой и макушкой; и обходится ли оно в миллион в год или в сто луидоров — внутреннее ощущение остается одно и то же. Отсюда вывод — оставить китайцу жизнь.

— Благодарю, ты мне помог, Бьяншон! Мы будем всегда друзьями.

— Слушай, — продолжал медик, — я шел Ботаническим садом с лекции Кювье и видел Мишоно и Пуаре; они разговаривали, сидя на скамейке, с одним господином, которого я заприметил во время прошлогодних беспорядков; он вертелся тогда вокруг палаты депутатов и произвел на меня впечатление полицейского чиновника, переодетого почтенным рантье, Возьмем-ка эту парочку под наблюдение: я потом объясню тебе зачем. До свидания, спешу к четырем на перекличку.

Когда Эжен вернулся в пансион, папаша Горио уже поджидал его.

— Вот, — сказал старик, — вам от нее письмо. Смотрите, какой красивый почерк!

Эжен распечатал письмо и прочитал:

«Сударь, отец сказал мне, что вы любите итальянскую музыку. Я была бы счастлива, если вы согласитесь доставить мне удовольствие, приняв место в моей ложе. В субботу поют Фодор и Пеллегрини. Я уверена поэтому, что вы мне не откажете. Господин де Нусинген вместе со мною просит вас приехать к нам запросто к обеду. Если вы согласитесь, он будет очень рад избавиться от супружеской повинности сопровождать меня. Не отвечайте, приходите и примите мой привет.

Д. де Н.»

— Покажите мне, — сказал старик Эжену, когда тот прочел письмо. — Вы пойдете, правда? — добавил он, понюхав листок. — Приятно пахнет. Как-никак, она ведь касалась бумаги.

«Женщина не станет так вешаться на шею мужчине, — рассуждал про себя студент. — Она хочет воспользоваться мною, чтобы вернуть де Марсэ. К такому поведению может побудить только обида».

— Ну что? — сказал папаша Горио. — О чем же вы задумались?

Эжен не знал, какой лихорадкой тщеславия были в то время одержимы некоторые женщины, и не догадывался, что жена банкира способна на любые жертвы, лишь бы перед нею открылась дверь в Сен-Жерменском предместье. В ту пору мода уже начинала возносить на высоту всех тех женщин, которые имели доступ в Сен-Жерменское общество, иначе говоря, дам придворного круга, среди которых первое место занимали госпожа де Босеан, ее подруга герцогиня де Ланжэ и герцогиня де Мофриньез. Один лишь Растиньяк не подозревал, как бешено стремились проникнуть жительницы Шоссе д'Антен в высшие сферы, где блистали эти звезды. Но недоверие сослужило ему службу, оно сообщило ему холодность и дало печальную способность самому ставить условия, вместо того чтобы их принимать.

— Да, я пойду, — ответил он.

Таким образом, к госпоже де Нусинген его влекло любопытство, а если бы эта женщина им пренебрегла, его, быть может, повлекла бы к ней страсть. Все же не без нетерпения ждал он завтрашнего дня и урочного часа. Для молодого человека в первой интриге заключается, быть может, столько же очарования, сколько и в первой любви. Уверенность в успехе порождает

тысячу радостных чувств, в которых мужчина не признается, но которые составляют всю прелесть некоторых женщин. Трудностью победы желание порождается не меньше, чем ее легкостью. Мужская страсть, несомненно, вызывается или поддерживается одною из этих двух причин, разделяющих надвое царство любви. Может быть, это деление вытекает из великой проблемы темпераментов, которая, что бы там ни говорили, властвует над обществом. Если для меланхоликов как возбудитель требуется известная доза кокетства, то неврастеники или сангвиники, может быть, оставляют поле битвы, когда сопротивление слишком затягивается. Иными словами, элегии столь же свойственна лимфатичность, как дифирамбу — раздражительность. Совершая свой туалет, Эжен наслаждался теми маленькими радостями, о которых молодые люди не смеют говорить из опасения, что их задразнят, но которые щекочут самолюбие. Причесываясь, он думал о том, как взор красивой женщины будет скользить по его черным кудрям. Он позволял себе перед зеркалом ребяческие ужимки, подобно девушке, одевающейся на бал. Расправляя фрак, Эжен любовался своей тонкой талией. «Спору нет, — подумал он, — не каждый так сложен».

Он спустился, когда все жильцы уже сидели за столом, и весело встретил залп всевозможных шуточек, вызванных его изящным нарядом. Мещанским пансионам свойственна бытовая черточка, так что тщательный туалет повергает здесь всех в изумление. Если кто-нибудь наденет новый фрак, каждый непременно скажет словечко по этому поводу.

— Кт, кт, кт, кт, — защелкал языком Бьяншон, как будто погоняя лошадь.

— Прямо герцог и пэр! — сказала госпожа Воке.

— Господин Растиньяк отправляется покорять сердца, — заметила девица Мишоно.

— Ку-ка-ре-ку! — пропел художник.

— Привет вашей любезной супруге, — сказал музейный служащий.

— Господин Растиньяк обзавелся супругой? — спросил Пуаре.

— Супруга разборная, в воде не тонет, краска с ручательством, цена от двадцати пяти до сорока, рисунок в клетку по последней моде, отлично носится, великолепно моется, полушерсть, полубумага, полупряжа, превосходное средство от зубной боли и прочих недугов, одобренных Королевской Медицинской Академией! Особенно рекомендуется детям. А еще лучше — против

головной боли, несварения и других болезней пищевода, глаз и носоглотки! — прокричал Вотрен с потешной велеречивостью и ужимками гаера. — «А что стоит это чудо? — спросите вы меня, господа. — Два су?» Нет. Совершенно бесплатно. Остаток от поставки для великого Могола, все европейские монархи, вплоть до эррц-герррцога Баденского наперебой стремились ее посмотреть! Вход перед вами — загляните в кассу. Музыка, начинай! Брум-ля-ля! Трин-ля-ля! Бум, бум, бум! Э, кларнет, не фальшивить, — вдруг прохрипел он, — а то хлопну по рукам.

— Боже, какой приятный мужчина! — сказала госпожа Воке госпоже Кутюр. — С ним я никогда бы не соскучилась.

Среди смеха и шуток, как по сигналу посыпавшихся после этой комической речи, Эжену удалось уловить беглый взгляд девицы Тайфер, которая, склонившись к госпоже Кутюр, шептала ей что-то на ухо.

— Кабриолет подан, — доложила Сильвия.

— Где ж это он обедает? — спросил Бьяншон.

— У баронессы де Нусинген.

— У дочери господина Горио, — отозвался студент. При этом имени все взоры перенеслись на бывшего макаронщика, который смотрел на

Эжена с какою-то завистью.

На улице Сен-Лазар Растиньяк подъехал к одной из тех легких построек с тоненькими колонками, с жалким портиком, которые считаются в Париже красивыми, — к настоящему дому банкира, полному дорогих затей, лепных украшений, с выложенными мраморной мозаикой площадками лестниц. Он застал госпожу де Нусинген в маленькой гостиной, расписанной в итальянском вкусе и разукрашенной, как кафе. Баронесса была грустна. Ее старания скрыть свое горе тем более заинтересовали Эжена, что в ней не было ни тени притворства. Он думал обрадовать эту женщину своим присутствием, а застал ее в отчаянии. Это уязвило его самолюбие.

— Я не имею права на ваше доверие, сударыня, — сказал он, подшучивая над ее озабоченным видом. — Но если я вам помешал, то надеюсь на ваше чистосердечие, вы скажете мне это откровенно.

— Оставайтесь, — промолвила она, — если вы уйдете, я буду в полном одиночестве. Нусинген обедает в городе, и мне не хотелось бы быть одной, мне надо рассеяться.

— Но что с вами?

— Я скажу это кому угодно, только не вам! —

воскликнула она.

— Я хочу знать. Значит, ваш секрет имеет какое-то отношение ко мне.

— Может быть! Впрочем, нет, — продолжала она, — это семейные дрязги, которые должны быть погребены в тайниках сердца. Разве я не говорила вам этого третьего дня? Я несчастна. Золотые цепи — самые тяжелые.

Когда женщина говорит молодому человеку, что она несчастна, а этот молодой человек умен, хорошо одет и в кармане у него легко доставшиеся полторы тысячи франков, он неизбежно подумает то же, что подумал Эжен, и сделается фатом.

— Чего же вам еще желать? — ответил он. — Вы красивы, молоды, любимы, богаты.

— Не будем говорить обо мне, — сказала она, уныло покачав головой. — Мы пообедаем вместе, а потом поедем слушать восхитительнейшую музыку. Нравлюсь ли я вам? — продолжала она, вставая и показывая свое белое кашемировое платье с персидским узором, чрезвычайно богатое и изящное.

— Я хотел бы, чтобы вы были всецело моей, — сказал Эжен. — Вы очаровательны.

— Это было бы незавидным приобретением, —

промолвила она, горько усмехаясь. — Ничто здесь не возвещает несчастья, а между тем, несмотря на эту видимость, я в отчаянье. Горести лишают меня сна, я стану безобразна.

— О! Это невозможно, — сказал студент. — Но мне хотелось бы знать, что огорчает вас; разве преданная любовь не может избавить от любого горя?

— Ах! Если бы я посвятила вас в это, вы ушли бы от меня. Ваша любовь пока просто ухаживание, обычное у мужчин; но, если бы вы любили меня по-настоящему, вы пришли бы в страшное отчаяние. Вы видите, я должна молчать. Ради бога, давайте говорить о другом. Пойдемте! Я покажу, вам свои комнаты.

— Нет, останемся здесь, — ответил Эжен, садясь на кушетку перед камином подле госпожи де Нусинген и уверенно беря ее за руку.

Она не противилась и даже сама оперлась на руку юноши, порывистым движением, выдававшим сильное волнение.

— Послушайте, — сказал Растиньяк, — если у вас горе, вы должны, открыть мне его. Я хочу доказать вам, что люблю вас ради вас самих. Или вы будете говорить со мною, откровенно и поведаете мне о своих невзгодах, чтобы я мор рассеять их,

хотя бы для этого пришлось убить полдюжины людей, или же я уйду от вас и никогда больше не вернусь.

— Ну, хорошо! — воскликнула она в порыве отчаяния, ударяя себя по лбу. — Сейчас же подвергну вас испытанию. «Да, — подумала она, — другого средства нет».

Она позвонила.

— Карета барона заложена? — спросила она лакея.

— Да, сударыня.

— Я поеду в ней. Барону подадите мою карету и моих лошадей. Обед, будет не раньше семи.

— Ну, идемте, — сказала она Эжену, который не поверил своим глазам, очутившись в карете господина де Нусингена рядом с этой женщиной.

— В Пале-Рояль, — сказала она кучеру, — к Французскому театру.

Дорогой она казалась возбужденной и не отвечала на бесчисленные вопросы Эжена, не знавшего, что думать, об этом немом, непреодолимом, упорном сопротивлении.

«Еще мгновение — и она от меня ускользнет», — мелькнуло у него.

Когда карета остановилась, баронесса взглянула на студента так, что тот сразу прервал свои

бурные излияния, ибо перехватил через край.

— Вы меня очень любите? — спросила она.

— Да, — ответил он, скрывая внезапно охватившую его тревогу.

— Вы не подумаете обо мне ничего дурного, о чем бы я вас ни попросила?

— Нет.

— Вы готовы мне повиноваться?

— Слепо.

— Посещали вы когда-нибудь игорный дом? — спросила она дрожащим голосом.

— Никогда.

— Ах! У меня отлегло от сердца. Вам повезет. Вот мой кошелек. Возьмите же его! В нем сто франков — все, что имеет столь счастливая с виду женщина. Пойдите в игорный дом. Я не знаю, где эти дома, знаю только, что в Пале-Рояле. Рискните ста франками в игре, которая называется рулеткой, и либо проиграйте все, либо принесите мне шесть тысяч франков. Свои горести я вам открою, когда вы вернетесь.

— Черт меня подери, если я понимаю что-нибудь в том, что мне предстоит делать, но я повинуюсь вам, — сказал он радостно. У него мелькнула мысль: «Она компрометирует себя со мной, ей нельзя будет ни в чем мне отказать».

Эжен берет красивый кошелек и бежит к дому номер девять, осведомившись предварительно у торговца готовым платьем, где находится ближайший игорный дом. Он подымается по лестнице, отдает шляпу, входит и спрашивает, где рулетка. К удивлению завсегдатаев, лакей подводит его к длинному столу. Эжен, сопутствуемый толпой зрителей, спрашивает, отбросив стыд, куда ставить.

— Если вы поставите луидор на один из этих тридцати шести номеров, — говорит ему какой-то почтенный седовласый старик, — и если этот номер выйдет, вы получите тридцать шесть луидоров.

Эжен бросает сто франков на цифру 21 — число его лет. Прежде чем он успевает опомниться, раздается крик изумления. Он выиграл, сам того не ведая.

— Берите же свои деньги, — говорит ему старик, — при этой системе два раза подряд не выигрывают.

Эжен берет лопаточку, протянутую стариком, придвигает к себе три тысячи шестьсот франков и, по-прежнему ничего не понимая в игре, ставит их на красное. Галерка, видя, что он продолжает игру, смотрит на него с завистью. Колесо повора-

чивается, он выигрывает снова, и крупье бросает ему еще три тысячи шестьсот франков.

— У вас семь тысяч двести франков, — шепчет ему на ухо старик. — Мой вам совет, уходите отсюда, красное выходило уже восемь раз. Если вы сострадательны, то в благодарность за добрый совет облегчите нужду человека, бывшего при Наполеоне префектом и впавшего в крайнюю нищету.

Ошеломленный Растиньяк позволяет седовласому старцу взять десять луидоров и спускается с семью тысячами франков, все еще ничего не понимая в игре, но пораженный своим счастьем.

— Вот! Куда же вы меня теперь повезете? — сказал он, захлопнув дверцу и показывая госпоже де Нусинген семь тысяч франков.

Дельфина сжала его в безумном объятии и поцеловала порывисто, но без страсти.

— Вы спасли меня!

Слезы радости струились по ее щекам.

— Я сейчас расскажу вам все, друг мой. Вы будете моим другом, не так ли? Вы считаете меня состоятельной, богатой, вам кажется, что я не испытываю недостатка ни в чем. Так знайте же, господин де Нусинген не дает мне распорядиться ни единым су: он оплачивает все расходы по дому,

мой выезд, ложи в театрах, он назначает мне на туалеты незначительную сумму, он умышленно обрекает меня на такую нужду. Я слишком горда, чтобы выпрашивать у него деньги. Я была бы последней тварью, если бы покупала его золото той ценой, какою он хочет продавать мне его. Но как же я, имея состояние в семьсот тысяч франков, позволила обобрать себя? Из гордости, из негодования. Мы так молоды, так наивны, когда начинаем супружескую жизнь! У меня язык не повернулся бы попросить денег у мужа; я никогда не решалась обратиться к нему: я тратила свои сбережения и то, что мне давал отец; потом я завязла в долгах. Замужество для меня — самое ужасное разочарование; я не могу сказать всего; достаточно вам знать, что я выбросилась бы из окна, если бы надо было жить с Нусингеном не так, как теперь, когда у каждого из нас отдельное помещение. Когда пришлось объявить ему о моих долгах, долгах молодой женщины, на покупку драгоценностей, на удовлетворение прихотей (отец приучил нас не отказывать себе ни в чем), я страшно мучилась, но, наконец, отважилась сказать. Разве я не имела своего собственного состояния? Нусинген взбесился, заявил, что я его разоряю, наговорил ужасных вещей! Мне

хотелось провалиться на сто футов под землю. Он заплатил, так как присвоил мое приданое, но с тех пор назначил на мои личные расходы определенную сумму, с чем я примирилась во избежание ссор. Потом я согласилась удовлетворить самолюбие одного известного вам человека. Хотя он меня обманул, я была бы не права, если бы не отдала должное благородству его характера. Но под конец он совершил низость, покинув меня. Никогда не следует покидать женщину, бросив ей в трудную минуту кучу золота! Нужно любить ее вечно! Вам двадцать один год, вы юны и чисты, у вас прекрасная душа, и вы спросите меня, каким образом женщина может брать деньги у мужчины? Боже мой! Вполне естественно делить все с существом, которому мы обязаны счастьем. Когда тебе отдают все, разве можно беспокоиться по поводу какой-то частицы этого всего? Деньги обретают значение лишь с той минуты, когда исчезает чувство. Разве связь устанавливается не на всю жизнь? Кто из нас предвидит разрыв, когда кажется, что тебя так любят? Вы клянетесь нам в вечной любви — разве может быть речь о каких-то обособленных интересах? Вы не знаете, сколько я перестрадала сегодня, когда Нусинген наотрез отказался дать мне шесть тысяч франков,

тогда как он дает их ежемесячно своей любовнице, артистке из оперы! Я хотела покончить с собою. У меня бродили самые безумные мысли. Минутами я завидовала служанке, своей горничной. Просить о помощи отца — безумие! Мы с Анастази дочиста обобрали его: бедный отец! Он согласился бы продать себя, если бы за него дали шесть тысяч франков. Я понапрасну довела бы его до отчаяния. Вы спасли меня от позора, от смерти, я сошла с ума от горя. Ах, сударь, я обязана была объяснить вам все, сударь: я вела себя с вами так безрассудно, так безумно. Когда вы ушли от меня и скрылись из виду, я хотела бежать пешком… сама не знаю куда. Вот жизнь половины парижанок: снаружи роскошь, а в душе мучительные заботы. Я знаю бедняжек, которые еще несчастней меня. Есть женщины, вынужденные просить своих поставщиков подавать ложные счета. Другие поставлены в необходимость обкрадывать своих мужей: одни мужья думают, что кашемир в сто луидоров стоит лишь пятьсот франков, другие, что кашемир в пятьсот франков стоит сто луидоров. Встречаются несчастные, которые морят голодом детей и дрожат над каждым грошом, чтобы скопить на платье. Я все-таки не замарала еще себя такими гнусными обманами.

Наконец, последний источник моих мучений. Если некоторые женщины продаются своим мужьям, чтобы командовать ими, то я, по крайней мере, свободна! Я могла бы заставить Нусингена озолотить меня, но я предпочитаю плакать, прильнув к груди человека, которого я могу уважать. О! Сегодня вечером господин де Марсэ не будет иметь права смотреть на меня, как на женщину, которой он заплатил.

Она закрыла лицо руками, чтобы Эжен не видел ее слез, но тот отвел руки, не спуская с нее глаз; в это мгновенье она была прекрасна.

— Примешивать деньги к чувствам! Что может быть отвратительнее? Вы не полюбите меня, — сказала она.

Эта смесь благородных чувств, столь возвеличивающих женщину, и падений, к которым принуждает ее современное общественное устройство, перевернула душу Эжена, и он говорил ласковые слова утешения, любуясь этой красавицей, столь наивно неосторожной в своей прорвавшейся скорби.

— Это не послужит для вас оружием против меня, обещайте мне.

— О, сударыня, я не способен на это, — ответил он. Она взяла его руку и положила на сердце

движением, исполненным признательности и грации.

— Благодаря вам я снова стала свободной и веселой. Я жила под гнетом железной руки. Я хочу жить теперь просто, без всяких трат. Я и так буду вам нравиться, друг мой, не правда ли? Оставьте это себе, — сказала она, беря только шесть ассигнаций. — По совести говоря, я должна вам тысячу экю, так как считаю, что участвовала в игре в половинной доле.

Эжен стал отнекиваться, словно девушка. Но когда баронесса сказала:

— Я буду считать вас врагом, если вы не станете моим сообщником, — он принял деньги со словами:

— Это будет резервным фондом на случай несчастья.

— Вот этого-то я и боялась! — воскликнула она, бледнея. — Если вы хотите, чтобы я была чем-то для вас, поклянитесь мне никогда больше не играть. Боже мой! Мне развращать вас! Да я умерла бы с горя!

Они подъехали к дому. Контраст между ее нищетой и этим великолепием ошеломил студента, в ушах которого звучали зловещие слова Вотрена.

— Садитесь здесь, — сказала баронесса, входя в свою комнату и указывая на кушетку у камина, — мне надо написать очень трудное письмо! Вы мне поможете советом.

— Не пишите вовсе, — ответил Эжен, — вложите деньги в конверт, надпишите адрес и пошлите с горничной.

— Но вы же прелесть! — воскликнула Дельфина. — Ах! Вот что значит, сударь, получить хорошее воспитание! Это в чисто босеановском духе, — добавила она с улыбкой.

«Она обворожительна!» — подумал Эжен, влюбляясь все больше и больше.

Он обвел взглядом комнату, где все дышало томным изяществом богатой куртизанки.

— Вам тут нравится? — спросила она и позвонила горничной. — Тереза, снесите это господину де Марса и передайте ему лично. Если не застанете, принесите письмо обратно.

Прежде чем выйти, Тереза кинула на Эжена лукавый взгляд. Подали обед. Растиньяк предложил госпоже де Нусинген руку, и та повела его в прелестную столовую, где он снова нашел ту же роскошь сервировки, какой любовался у кузины.

— В дни абонемента, — обратилась к нему баронесса, — приходите ко мне обедать; вы будете

сопровождать меня к итальянцам.

— Я охотно привык бы к такой сладостной жизни, если бы она могла длиться долго; но я — бедный студент, который должен еще делать карьеру.

— Она сделается сама собою! — рассмеялась баронесса. — Видите, все налаживается; и я не ожидала, что буду так счастлива.

В природе женщин доказывать невозможное при помощи возможного и опровергать факты предчувствиями. Когда госпожа де Нусинген вошла с Растиньяком в свою ложу в театре Буфф, лицо ее дышало довольством, и это так ее красило, что каждый позволил себе легкую клевету, против коей женщина беззащитна; благодаря такой клевете досужие вымыслы о безнравственном поведении часто кажутся правдоподобными. Кто знает Париж, тот не верит ничему, что здесь говорится, и никогда не говорит о том, что тут делается. Эжен взял баронессу за руку, и они повели разговор путем более или менее горячих пожатий, делясь переживаниями, которые вызывала в них музыка. Для них этот вечер был упоителен. Они вышли вместе, и госпожа де Нусинген пожелала подвезти Эжена до Нового моста, всю дорогу отказывая ему в поцелуях, какими так

жарко дарила его в Пале-Рояле. Эжен упрекнул ее в непоследовательности.

— Тогда, — ответила она, — это было признательностью за неожиданную преданность, теперь это было бы обещанием.

— А вы не хотите мне ничего обещать, неблагодарная!

Он рассердился. Одним из тех нетерпеливых жестов, что так пленяют любовников, она протянула ему для поцелуя руку, которую он принял с неловкостью, восхитившей баронессу.

— В понедельник, на балу! — сказала она.

Идя пешком при ярком свете месяца, Эжен погрузился в серьезные размышления. Он был одновременно и счастлив и недоволен; счастлив приключением, вероятная развязка которого сулит ему обладание предметом его желаний, одной из красивейших и элегантнейших женщин Парижа; недоволен тем, что рушатся его расчеты разбогатеть. И вот тут-то он и ощутил реальность смутных помыслов, которым предавался два дня назад. Неудача всегда раскрывает нам всю силу наших притязаний. Чем больше Эжен познавал сладость парижской жизни, тем меньше он желал оставаться безвестным и бедным. Он комкал в кармане тысячефранковый

билет и выставлял тысячу искушающих доводов за то, чтоб его присвоить. Наконец, он пришел на улицу Нев-Сент-Женевьев и, поднявшись по лестнице, увидел свет. Папаша Горио оставил дверь своей комнаты открытой и не гасил свечи, чтобы студент не забыл, как он говорил, рассказать ему про дочку. Эжен ничего от него не скрыл.

— Но как же так! — воскликнул папаша Горио в порыве отчаянья и ревности. — Они меня считают разоренным! У меня еще есть тысяча триста ливров ренты! Господи, бедная девочка, что ж она не пришла сюда? Я продал бы свои бумаги, мы взяли бы часть капитала, а остального мне хватило бы дожить век. Почему, любезный сосед, вы не поведали мне о ее затруднениях? Как у вас хватило жестокости рисковать в игре ее несчастной сотней франков? Это раздирает мне душу. Вот что значит зятья! О! Попадись они мне, я задушил бы их собственными руками! Боже! Довести ее до слез! Она плакала?

— Плакала, уткнувшись мне в жилет, — сказал Эжен.

— О, дайте мне этот жилет, — подхватил Горио. — Как! На нем слезы моей дочери, моей дорогой Дельфины, которая никогда не плакала даже маленькой! О! Я куплю вам новый, не но-

сите его больше, оставьте его мне. По брачному контракту она должна свободно располагать своим имуществом. Ах! Я разыщу Дервиля, поверенного, завтра же разыщу. Я потребую отчет в помещении ее капитала. Законы мне хорошо известны, я старый волк, у меня еще целы зубы.

— Вот вам, папаша, тысячу франков, она дала мне их из нашего выигрыша. Сохраните их для нее с жилетом вместе.

— Горио посмотрел на Эжена, протянул ему руку для пожатия и уронил на его руку слезу.

— Вас ждет в жизни успех, — сказал старик. — Бог, видите ли, справедлив. Я знаю, что такое честность, и могу вас уверить, не много найдется людей, похожих на вас! Так вы хотите быть мне сыном? Ступайте, ложитесь спать. Вам можно спать, вы еще не отец. Она плакала, мне об этом сообщают, а я сидел тут и ел спокойно, как болван, в то время когда она страдала! Я, я, который продал бы отца и сына и святого духа, чтобы избавить их обеих от малейших слез!

«Право, — думал Эжен, ложась в кровать, — я, кажется, буду честным всю жизнь. Приятно следовать внушениям совести».

Может быть, верующие в бога способны тайно творить добро, а Эжен был верующим.

На другой день, перед балом, Растиньяк отправился к госпоже де Босеан, которая повезла его представить герцогине де Карильяно. Супруга маршала оказала ему самый любезный прием; в ее гостиной он встретил госпожу де Нусинген. Дельфина нарядилась с расчетом понравиться всем, чтобы тем вернее понравиться Эжену, и ждала с нетерпением его взора, полагая, что не выдает своего нетерпения. Для того, кто умеет разгадывать движение женского сердца, эха минута полна очарования. Кто не тешился удовольствием заставить ждать своего одобрения, скрывать из кокетства свою радость, читать признание в беспокойстве, которое причиняешь, наслаждаться опасениями, которые затем рассеешь одной улыбкой? На этом балу студент сразу оценил преимущества своего положения и понял, что, являясь признанным кузеном госпожи де Босеан, он тем самым получает определенное место в свете. Уже поговаривали о его победе над баронессой де Нусинген, и это так его выдвинуло, что все молодые люди кидали на него завистливые взгляды, подметив которые он вкусил первую сладость тщеславия. Блуждая из зала в зал, проходя около групп гостей, он слышал, как превозносят его счастье. Женщины единодушно предсказывали ему

успех. Дельфина, опасаясь его потерять, обещала наградить его сегодня поцелуем, в котором так упорно отказывала позавчера. На балу Растиньяк получал несколько приглашений. Кузина представила его нескольким женщинам из тех, что притязают на изысканность и чьи дома слывут особенно приятными; он понял, что его ввели в самый высокий и знатный круг парижского света. Таким образом, этот вечер получил в его глазах очарование блистательного дебюта, и ему предстояло вспоминать о нем до конца своих дней, как девушка вспоминает бал, ознаменовавшийся победами. На другой день, когда он за завтраком в присутствии пансионеров рассказал папаше Горио о своих успехах, на лице Вотрена появилась дьявольская улыбка.

— И вы полагаете, — вскричал этот жестокий логик, — что светский молодой человек может квартировать на улице Нев-Сент-Женевьев, в пансионе госпожи Воке, бесспорно, весьма во всех отношениях почтенном, но отнюдь не фешенебельном? Он богат, он великолепен своим изобилием и гордится тем, что сделался временной резиденцией такого человека, как Растиньяк; но все-таки он на улице Нев-Сент-Женевьев, и ему неведома роскошь, потому что он чистейшая

патриархалорама. Юный друг мой, — продолжал Вотрен насмешливым отеческим тоном, — если вы хотите быть в Париже на виду, вам нужно иметь трех лошадей, утром тюльбири, вечером карету; итого добрых девять тысяч франков на одни только выезды. Вы будете недостойны вашей участи, если вы не сможете оставлять трех тысяч франков у портного, шестисот франков у парфюмера, ста экю у сапожника, ста экю у шляпочника. Ну а прачка — та вам будет стоить тысячу. Светским молодым людям приходится очень следить за бельем: ведь на эту статью у них чаще всего обращают внимание, Любовь и церковь требуют прекрасных покровов на свои алтари. Итак, мы насчитали четырнадцать тысяч. Я не говорю уже о тратах на игру, на пари, на подарки; на карманные расходы — меньше, чем двумя тысячами никак не обойтись. Я вел такую жизнь и знаю, какими издержками это пахнет! Прибавьте к этим расходам первой необходимости триста луидоров на кормежку, тысячу франков на логово. Так-то, дитя мое, подавай нам двадцать пять тысчонок в год, или нас смешают с грязью, мы станем посмешищем, и прощай наше будущее, успехи, любовницы! Да, я забыл лакея и грума! Не Кристофу же носить ваши любовные

записки! И не писать же их на той бумаге, какой вы пользуетесь теперь! Это было бы равносильно самоубийству. Поверьте старику, умудренному опытом! — добавил он, постепенно усиливая свой басистый голос. — Или залезайте на добродетельный чердак и там сочетайтесь законным браком с честным трудом, или избирайте иную дорогу.

И Вотрен, прищурив глаза, покосился на мадемуазель Тайфер, как бы припоминая и подытоживая этим взглядом те соблазнительные рассуждения, какие он посеял в сердце студента, чтобы совратить его.

Прошло несколько дней, в течение которых Растиньяк вел самую рассеянную жизнь. Чуть ли не ежедневно он обедал у госпожи де Нусинген, а затем сопровождал ее в свет. Возвращался он в три-четыре часа утра, вставал в двенадцать, совершал свой туалет и в хорошую погоду отправлялся с Дельфиной в Булонский лес, расточая, таким образом, свое время, которое не умел ценить, и вдыхая все соблазны роскоши с тем пылом, какой охватывает на финиковой пальме чашечку женского цветка, когда она в нетерпении ждет оплодотворяющей пыльцы гименея. Он вел крупную игру, помногу проигрывал и выигрывал и в конце концов привык к излишествам

парижской молодежи. Из первых выигрышей он отослал матери и сестрам полторы тысячи франков, прибавив к деньгам прелестные подарки. Хоть он и объявил о намерении расстаться с пансионом Воке, в последних числах января он все еще жил там и не знал, как оттуда выбраться. Почти все молодые люди подчинены закону, на вид необъяснимому, но основанному на самой их молодости и яростной погоне за удовольствиями. Богаты они или бедны, у них никогда не бывает денег на необходимое, тогда как на прихоти деньги у них всегда найдутся. Расточительные там, где допускается кредит, они скупы во всем, что требует безотлагательной оплаты, и как бы в отместку за то, чего не имеют, расточают то, что могут иметь. Так, скажем в пояснение, студент гораздо больше бережет шляпу, нежели фрак. Крупная сумма, получаемая портным, заставляет его работать преимущественно в кредит, тогда как мелкая выручка шляпника делает его самым несговорчивым из тех, с кем приходится вести переговоры. Если молодой человек, сидя в театре на балконе, подставляет под лорнет красивых женщин умопомрачительные жилеты, то сомнительно, есть ли на нем носки: чулочник тоже относится к саранче, опустошающей его кошелек.

Так было и с Растиньяком. Его кошелек, всегда пустой для госпожи Воке и полный для требований тщеславия, был подвержен капризным приступам упадка или подъема, несогласованным со сроками самых естественных платежей. Чтобы выехать из гнусного, зловонного пансиона, то и дело оскорблявшего его притязания, разве не нужно было уплатить за месяц хозяйке и купить обстановку для квартиры, достойной денди? А это постоянно представлялось невозможным. Чтобы раздобыть необходимые для игры деньги, Растиньяк ухитрялся покупать у своего ювелира золотые часы и цепочки; он дорого платил за них из выигрышей, а потом относил в ломбард — этот мрачный и молчаливый друг молодежи, — но изобретательность и смелость тотчас покидали его, когда дело шло об уплате за стол и квартиру или о покупке орудий, необходимых для извлечений выгод из светской жизни. Грубая будничная необходимость, долги для удовлетворения нужд не вдохновляли его. Как большинство людей, знакомых с этой безалаберной жизнью, он оттягивал до последней минуты уплату по обязательствам, священным в глазах буржуа, — как то делал Мирабо, плативший за хлеб только тогда, когда он являлся перед ним в грозном образе векселя.

Настало время, когда Растиньяк проигрался и залез в долги. Он начинал понимать, что подобную жизнь невозможно вести дальше без твердых источников дохода. Но как ни стонал Эжен в этом ненадежном положении от постоянных уколов, он чувствовал себя неспособным отказаться от наслаждений и излишеств этой жизни и стремился продолжать ее во что бы то ни стало. Случайности, на которых он строил свои расчеты на обогащение, становились призрачными, реальные же препятствия возрастали. Проникая в тайны семейной жизни де Нусингенов, он убедился, что, кто хочет обратить любовь в орудие обогащения, тот должен испить до дна чашу позора и отступиться от благородных идей, которыми искупаются ошибки юности. Он повенчался с этой, блистательной внешне, но источенной всеми червями раскаяния, жизнью, где мимолетные радости достаются дорогой ценой постоянного внутреннего разлада; он погряз в ней, устроив свое ложе, как «Рассеянный» Ля-Брюйера, в тине канавы; но, подобно «Рассеянному», он пока еще испачкал только свою одежду.

— Итак, мы убили мандарина? — сказал ему однажды Бьяншон, вставая из-за стола.

— Нет еще, — ответил Эжен, — но он уже хри-

пит. Медик принял эти слова за шутку, но они не были шуткой. Эжен, впервые после долгого промежутка обедавший в пансионе, был за едою задумчив. Вместо того чтобы уйти после десерта, он остался в столовой и подсел к мадемуазель Тайфер, на которую время от времени бросал выразительные взгляды. Некоторые из пансионеров еще не вышли из-за стола и щелкали орехи, другие прохаживались, продолжая начатый спор. В то время как почти всегда по вечерам, каждый уходил, когда вздумается, в зависимости от степени своего интереса к разговору или от большей или меньшей тяжести пищеварения. Зимой столовая редко пустела раньше восьми часов — времени, когда четыре женщины оставались одни и вознаграждали себя за молчание, которое их пол предписывал им в мужском обществе. Вотрен, пораженный озабоченным видом Эжена, тоже остался в столовой, — хотя сперва, по-видимому, торопился уйти, — и держался все время в стороне от Эжена, который полагал, что он ушел. Потом, вместо того чтобы присоединиться к пансионерам, уходившим последними, Вотрен притаился в гостиной. Он читал в душе студента и предугадывал перелом.

Растиньяк действительно находился в за-

труднительном положении, хорошо знакомом большинству молодых людей. Любила ли его госпожа де Нусинген или только кокетничала, но она пустила в ход все средства женской дипломатии, принятой в Париже, и заставила Растиньяка пройти через все тревоги истинной страсти. Скомпрометировав себя в глазах общества ради того, чтобы удержать кузена госпожи де Босеан, она колебалась дать ему на деле права, которыми он, казалось, уже пользовался. В течение месяца она так искусно возбуждала чувственность Эжена, что в конце концов задела его сердце. Если на первых порах их близости студент считал себя господином положения, то потом верх одержала госпожа де Нусинген при помощи тех приемов, какими она пробуждала у Эжена все добрые и все дурные чувства, принадлежащие тем двум или трем разным людям, которые уживаются в одном молодом парижанине. Руководилась ли она расчетом? Нет, женщины всегда искренни, даже во время наивысшего криводушия, потому что они поддаются тому или иному естественному чувству. Может быть, Дельфина, позволившая молодому человеку сразу взять такую власть над собою и выказавшая к нему чрезмерную нежность, повиновалась теперь голосу собственного досто-

инства, который заставлял ее или отступиться от своих обещаний, или же тешиться, откладывая их выполнение. Для парижанки так естественно, даже в порыве страсти, колебаться перед своим падением, испытывая сердце того, кому она готова отдать свое будущее. В первой любви все надежды госпожи де Нусинген были обмануты, и верность ее молодому эгоисту не была оценена. У нее были все основания стать недоверчивой. Может быть, в манерах Эжена, которого быстрый успех сделал фатом, она разглядела некоторую непочтительность, вызванную необычностью их положения. Она, несомненно, желала казаться столь юному поклоннику недоступною и выпрямиться перед ним во весь рост — после того как долго унижалась перед тем, кто ее покинул. Она не хотела, чтобы Эжен считал победу над ней легкою, не хотела именно потому, что он знал о ее связи с де Марсэ. Наконец, после того как Дельфина унижала себя, услаждая чувственность подлинного чудовища, молодого развратника, она испытывала такую отраду от этих прогулок в цветущих долинах любви, что с наслаждением любовалась открывавшимися перспективами, подолгу прислушиваясь к внутреннему трепету, и подставляла лицо ласке целомудренного

ветерка. Истинная любовь расплачивалась за фальшивую. Эта аномалия будет, к сожалению, часто встречаться, пока мужчины не поймут, сколько цветов косят в сердце молодой женщины первые взмахи обмана. Каковы бы ни были ее побуждения, Дельфина играла Растиньяком, и игра эта ей нравилась, потому, несомненно, что она сознавала себя любимой и была уверена, что может положить конец страданиям возлюбленного по царственному женскому капризу. А Эжен из самолюбия не хотел допустить, чтобы его первая битва закончилась поражением, и упорствовал в своем преследовании, подобно тому, как человек, в день св. Губерта впервые выехавший на охоту, непременно желает подстрелить куропатку. Тревоги, оскорбленное самолюбие, отчаяние, ложные или истинные, все больше и больше привязывали его к этой женщине. Весь Париж отдавал ему госпожу де Нусинген, а он у нее преуспел не больше, чем в первый день их знакомства. Еще не зная, что кокетство женщины дает иногда больше благ, чем ее любовь наслаждений, он впадал в глупое бешенство. Если пора, в течение которой женщина противится любви, приносила Эжену дань первых плодов, то они ему стоили столь же дорого, сколь были зелены,

кисловаты и все же восхитительны на вкус. Иногда, видя себя без единого гроша, без будущего, он думал, вопреки голосу совести, о возможности обогащения путем брака с мадемуазель Тайфер, выгоды которого разъяснил ему Вотрен. И вот как раз теперь его нужда заговорила так громко, что он почти невольно попался в сети страшного сфинкса, чей взгляд нередко его околдовывал.

В ту минуту, когда Пуаре и мадемуазель Мишоно ушли к себе, Растиньяк, воображая, что, кроме госпожи Воке и госпожи Кутюр, в полудремоте вязавшей у печки шерстяные нарукавники, никого нет, с такой нежностью поглядел на мадемуазель Тайфер, что та потупила глаза.

— У вас какие-нибудь огорчения, господин Эжен? — спросила Викторина после минутного молчания.

— Кто же не знает огорчений? — отвечал Растиньяк. — Если бы мы, молодые люди, могли быть уверены, что мы любимы преданной любовью, которая вознаградила бы нас за жертвы, приносимые нами всегда с такой готовностью, тогда, быть может, мы не ведали бы огорчений.

Вместо ответа мадемуазель Тайфер бросила на него недвусмысленный взгляд.

— Вот вы, сударыня, вы сегодня будто бы

уверены в собственном сердце, но можете ли поручиться, что никогда не изменитесь?

На губах бедной девушки заиграла улыбка, как луч, исходящий из души, и так озарила ее лицо, что Эжену сделалось страшно перед вызванным им столь сильным взрывом чувства.

— Как! Если бы завтра вы проснулись богатой и счастливой, если бы вам свалилось с неба несметное богатство, неужели вы продолжали бы любить бедного молодого человека, который нравился вам в дни ваших бедствий?

Она мило кивнула головой.

— Очень несчастного молодого человека? Опять милый кивок.

— Что за глупости вы тут говорите? — воскликнула госпожа Воке.

— Оставьте нас, — ответил Эжен, — мы понимаем друг друга.

— Так, значит, кавалер Эжен де Растиньяк и мадемуазель Викторина Тайфер обещают друг другу сочетаться браком? — пробасил Вотрен, вдруг показавшись в дверях столовой.

— Ах! Вы меня напугали, — сказали в один голос госпожа Кутюр и госпожа Воке.

— Я как будто сделал недурный выбор, — отозвался, смеясь, Эжен, в котором голос Вотрена

вызвал самое жестокое волнение, какое ему когда-либо довелось испытывать.

— Без глупых шуток, господа! — проговорила госпожа Кутюр. — Дочь моя, пойдем наверх!

Госпожа Воке пошла вслед за жилицами, чтобы, проведя у них вечер, сэкономить свечу и топливо. Эжен остался с глазу на глаз с Вотреном.

— Я прекрасно знал, что вы кончите этим! — сказал Вотрен, сохраняя невозмутимое хладнокровие. — Но слушайте! У меня щепетильности не меньше, чем у всякого другого. Не торопитесь принимать решение, — сейчас вы выбиты из колеи. У вас долги. Я хочу, чтобы не страсть, не отчаяние привели вас ко мне, а разум. Может быть, вам нужна тысчонка экю? Вот она, хотите?

И этот демон достал из кармана бумажник, вынул три кредитки и помахал ими перед глазами студента. Эжен находился в самом жестоком положении. Он был должен маркизу д'Ахуда и графу де Трайлю сто луидоров, проигранных на слово. Не имея этих денег, он не смел показаться на вечере у госпожи де Ресто, где его ждали. Это был один из тех интимных вечеров, где подают только чай с пирожными, но где можно проиграть шесть тысяч франков в вист.

— Сударь, — отвечал Эжен, с трудом скрывая

охватившую его дрожь, — после того, что вы мне открыли, я не могу, понимаете, не могу одолжаться у вас.

— Чудесно! Вы меня огорчили бы, если б заговорили иначе! — подхватил искуситель. — Вы прекрасный молодой человек, деликатный, гордый, как лев, и нежный, как девушка. Вы были бы прекрасной добычей для дьявола. Я люблю в молодых людях это качество. Поразмыслите еще немного о высшей политике, и вы увидите мир таким, каков он есть. Разыгрывая здесь кое-какие сценки добродетели, человек высшего порядка удовлетворяет все свои прихоти под шумные рукоплескания глупцов в партере. Через короткое время и вы будете нашим. Ах, если бы вы согласились стать моим учеником, вы бы достигли с моей помощью всего. Каждое ваше желание, едва возникнув, мгновенно исполнялось бы, чего бы вы ни пожелали: почета, богатства, женщин. Вся цивилизация превратилась бы для вас в амброзию. Вы были бы нашим баловнем, нашим Вениамином, все мы с радостью пошли бы за вас в огонь и в воду. С вашего пути устранялось бы всякое препятствие. Если вас все еще тревожит совесть, значит, вы считаете меня негодяем? Знайте же, что человек, не менее честный, чем вы, — а вы

еще верите в собственную честность, — господин де Тюрен не считал унизительным вступать в сделки с разбойниками. Вы не хотите быть мне обязанным? Ну, это мы уладим! — продолжал Вотрен, и по лицу его скользнула улыбка. — Возьмите эти бумажки и подпишите вот здесь, — он достал гербовый лист, — прямо по марке: получено три тысячи пятьсот франков, подлежащие уплате через год. И проставьте дату! Процент настолько высок, что ваша совесть может быть спокойна; вы можете назвать меня ростовщиком и считать, что вы со мною квиты. Сегодня я еще позволяю вам презирать меня, так как уверен, что впоследствии вы меня полюбите; Вы найдете во мне те неизмеримые бездны, те огромные скрытые чувства, которые глупцы именуют пороками; но вы никогда не заметите во мне ни подлости, ни неблагодарности. Словом, я не пешка и не слон, а ладья, мой мальчик.

— Что вы за человек? — вскричал Эжен, — Вы созданы, чтобы меня терзать.

— Вовсе нет, я добрый человек, готовый испачкаться, чтобы вы до конца своих дней были ограждены от грязи. Вы недоумеваете, откуда такая преданность? Хорошо, я когда-нибудь вам это скажу шепотком, на ушко. Я сперва огорошил вас,

показав куранты общественного строя и разъяснив их механизм. Ничего! Ваш первый испуг пройдет, как проходит страх новобранца на поле сражения, и вы привыкнете к мысли, что надо смотреть на людей как на солдат, обреченных погибнуть на службе у тех, кто сам себя возвел в короли. Времена меняются. Когда-то говорили удальцу: «Вот тебе сотня экю, убей господина такого-то», и затем спокойно ужинали, отправив человека к праотцам ни за что ни про что. Сегодня же я предлагаю предоставить вам прекрасное состояние — вам стоит лишь кивнуть головой, что не набросит на вас ни малейшей тени, — а вы колеблетесь. Мягкотелый век!

Эжен подписал вексель и обменял его на кредитные билеты.

— Ну вот, — продолжал Вотрен, — поговорим серьезно. Я через несколько месяцев хочу уехать в Америку, чтобы завести табачные плантации. Буду вам по дружбе посылать сигары. Если разбогатею, стану вам помогать. Если у меня не будет детей (что вполне вероятно, я не стремлюсь к воспроизведению потомства), я оставлю вам наследство. Это ли не дружба? Но я ведь люблю вас! У меня страсть жертвовать собою ради другого. Я уже это делал. Видите ли, мой

мальчик, я живу в более возвышенной сфере, чем другие люди. Я смотрю на действия как на средства и вижу только цель. Что для меня человек? Вот что! — проговорил он, щелкнув ногтем большого пальца по зубу. — Человек — все или ничто. Он меньше, чем ничто, если его зовут Пуаре: его можно раздавить, как клопа; он такой же плоский и вонючий. Но человек — бог, если он подобен вам: это уже не обтянутая кожей машина, это — театр, где волнуются прекраснейшие чувства, а я только чувствами и живу. Чувство — не целый ли это мир в единой мысли? Посмотрите на папашу Горио: дочери для него — вселенная, путеводная нить в мироздании. Так вот, для меня, знающего жизнь вдоль и поперек, для меня существует лишь одно подлинное чувство — дружба между двумя мужчинами. Пьер и Жофье — вот моя страсть. «Спасенную Венецию» я знаю наизусть. Много ли видали вы людей, настолько смелых, что, когда товарищ скажет: «Пойдем унесем труп!», они пойдут, не говоря ни слова и не докучая ему моралью? А вот я — я это делал! Не со всяким стал бы я так разговаривать. Но вы, вы человек высшего порядка, вам можно все сказать, вы все поймете. Вы не долго будете барахтаться в болоте, где живут козявки, вроде

тех, что окружают нас здесь. Ну, ладно! Сказано — сделано! Вы женитесь. Ружья наперевес! Мой штык стальной — и никогда не гнется… хе-хе!

Вотрен ушел, предпочитая не слышать отрицательного ответа студента, чтобы дать ему собраться с духом. Он, видимо, знал тайну того слабого сопротивления, той борьбы, которой люди рисуются перед самим собой, находя в ней оправдание своим предосудительным поступкам.

«Пусть делает, что хочет, — я ни за что не женюсь на мадемуазель Тайфер!» — подумал Эжен.

Изнемогая от душевной лихорадки, причиненной мыслью о договоре с этим человеком, который внушал ему ужас, он вырастал в его глазах благодаря самому цинизму своих идей и смелости, с какой он клеймил общество, Растиньяк оделся, нанял карету и отправился к госпоже де Ресто. Последние дни эта женщина удвоила свое внимание к молодому человеку, каждый шаг которого был новым успехом в высшем свете и чье влияние, казалось, должно было со временем сделаться опасным. Он расплатился с господами де Трайлем и д'Ахуда, провел полночи за игрой в вист и вернул проигрыш. Суеверный, подобно большинству людей, которым предстоит пробить

себе дорогу и которые всегда в той или иной степени фаталисты, он усмотрел в своей удаче посланную небом награду за решимость оставаться на стезе добродетели. Утром он поспешил спросить Вотрена, сохранил ли тот его вексель. Получив утвердительный ответ, Растиньяк вернул ему три тысячи франков, не скрывая вполне естественного удовольствия.

— Дело на мази, — сказал Вотрен.

— Но я вам не сообщник, — проговорил Эжен.

— Знаю, знаю, — перебил Вотрен. — Вы еще ребячитесь. Из-за глупых предрассудков не решаетесь переступить порог.

Два дня спустя Пуаре и мадемуазель Мишоно сидели на скамейке, на солнышке, в уединенной аллее Ботанического сада и разговаривали с господином, который не без основания показался медику подозрительным.

— Мадемуазель, — говорил господин Гондюро, — мне непонятно, чем порождены ваши сомнения. Его превосходительство, господин министр королевской полиции…

— А! Его превосходительство господин министр королевской полиции… — повторил Пуаре.

— Да, его превосходительство заинтересовался этим делом, — сказал Гондюро.

Кому не покажется невероятным, что Пуаре, чиновник в отставке, человек несомненных буржуазных добродетелей, хоть и лишенный собственных мыслей, продолжал слушать мнимого рантье с улицы Бюффона после того, как тот произнес слово «полиция» и таким образом обнаружил под маской порядочного человека физиономию агента с Иерусалимской улицы? Однако это было в порядке вещей. Каждому станет понятно, к какой разновидности обширного семейства глупцов принадлежал Пуаре, если напомнить замечание, сделанное некоторыми наблюдателями, но до сих пор не получившее широкой огласки. Существует порода пернатых, распространенная в границах между первым градусом бюджетной широты, где оклад составляет тысячу двести франков в год, — своего рода административная Гренландия, — и третьим градусом, где начинаются оклады потеплее, от трех до шести тысяч франков, — умеренный пояс, где наградные привились и процветают, несмотря на трудности их выращивания. Одной из характерных черт, лучше всего обличающих убогую ограниченность этого подначального люда, является какое-то невольное почтение, неосознанное, инстинктивное, к далай-ламе

любого министерства, известному чиновникам по неразборчивой подписи и по титулу его превосходительство господин министр, — четырем словам, равнозначным Бондо Кани из «Багдадского Калифа» и представляющим в глазах этих приниженных людишек священную, несокрушимую власть. Как папа для христианина, так господин министр в административном отношении непогрешим в глазах чиновника; блеск, излучаемый им, передается его поступкам, его словам и словам, сказанным от его имени; он все осеняет своим золотым мундиром и узаконяет действия, совершаемые по его приказу; титул его превосходительство, свидетельствующий о чистоте его намерений и святости желаний, служит паспортом для самых невероятных замыслов. Чего эти бедняги не сделали бы ради личной выгоды. Они спешат исполнить, как только произнесены слова — его превосходительство. В канцеляриях, как в армии, существует особая система пассивного повиновения, система, заглушающая совесть, сводящая человека к нулю и со временем превращающая его в какой-то винт или гайку правительственной машины. И господин Гондюро, по-видимому, разбиравшийся в людях, быстро распознал в Пуаре одного из

таких бюрократических глупцов и выдвинул свое Deux ex machina[10], слово-талисман — его превосходительство, в то самое мгновение, когда и следовало, сняв маскировку с батарей, ослепить Пуаре, казавшегося ему самцом Мишоно, как Мишоно казалась самкой Пуаре.

— Коль скоро его превосходительство самолично… его, превосходительство господин мин… Ах! Это совсем другое дело, — сказал Пуаре.

— Вы слышите, что говорит господин, суждениям которого вы как будто доверяете, — подхватил мнимый рантье, обращаясь к мадемуазель Мишоно. — Так вот, его превосходительство в настоящее время вполне уверен в том, что так называемый Вотрен, проживающий в пансионе Воке, не кто иной, как преступник, бежавший из тулонской каторжной тюрьмы, где он известен под кличкой Надуй Смерть.

— А! Надуй Смерть, — повторил Пуаре. — Значит, везло человеку, коли он заслужил такое имечко.

— Еще бы! — продолжал агент. — Прозвищем этим он обязан тому, что, несмотря на крайнюю дерзость своих предприятий, всегда оставался

---

[10] Примечания: 10

Буквально: бог из машины — латинская поговорка, означающая неожиданно появившийся выход из сложных, запутанных обстоятельств.

жив. Понимаете, этот человек опасен! У него есть качества, делающие его незаурядным. Даже самое его осуждение доставило ему безграничный почет среди тюремной братии.

— Стало быть, Надуй Смерть — почтенный человек? — спросил Пуаре.

— По-своему да. Он согласился взять на себя чужое преступление, подлог, совершенный одним молодым красавчиком, которого он очень любил, итальянцем, заядлым игроком; тот поступил потом на военную службу, где, впрочем, отличается сейчас отменным поведением.

— Но если его превосходительство господин министр полиции уверен, что господин Вотрен — это Надуй Смерть, зачем я ему нужна? — спросила Мишоно.

— Да-да, — повторил Пуаре, — в самом деле, если министр, как мы имели честь сейчас слышать, уверен в том…

— Уверен? Нет, есть только подозрения. Вы сейчас поймете, в чем дело. Жак Колен, по прозвищу Надуй Смерть, пользуется неограниченным доверием трех каторжных тюрем, избравших его своим агентом и банкиром. Он много зарабатывает, занимаясь делами такого рода; для таких дел необходим человек заметный.

— А! Так, так! Понимаете каламбур, мадемуазель? — затараторил Пуаре. — Господин называет его заметным человеком, потому что у него есть отметина.

— Мнимый Вотрен, — продолжал агент, — получает капиталы господ каторжан, помещает, хранит и передает потом тем, кому удается бежать, или их семьям, если состояние отказано по завещанию, или же их любовницам, когда каторжники выдают им переводный вексель на Вотрена.

— Любовницам! Вы хотите сказать, женам? — вставил Пуаре.

— Нет, сударь. Каторжники обычно имеют только незаконных жен, которых мы именуем сожительницами.

— Стало быть, все они живут в незаконном сожительстве?

— Выходит, так.

— Ну, такое безобразие его превосходительству не следовало бы терпеть. Раз вы имеете честь встречаться с господином министром и, как мне кажется, настроены человеколюбиво, вам бы надлежало обратить внимание его превосходительства на безнравственное поведение этих людей, подающих весьма дурной пример осталь-

ному обществу.

— Но, сударь, правительство сажает их в тюрьму не для того, чтобы выставить образцом всех добродетелей.

— Это так. Однако, сударь, позвольте…

— Но, голубчик мой, дайте же господину досказать! — вмешалась мадемуазель Мишоно.

— Вы понимаете, мадемуазель, — продолжал Гондюро, — правительство весьма заинтересовано в том, чтобы захватить эту незаконную кассу, которая достигает, говорят, довольно внушительной суммы. Надуй Смерть держит у себя значительные ценности, укрывая не только деньги, принадлежащие некоторым его товарищам, но и поступления от Общества десяти тысяч…

— Десяти тысяч воров! — воскликнул перепуганный Пуаре.

— Нет, Общество десяти тысяч — это ассоциация воров высшего полета, людей большого размаха, которые берутся только за дела, где можно сорвать куш не менее тысячи франков. Это общество состоит из самых выдающихся молодцов, которым прямая дорожка на скамью подсудимых. Они знают уголовный кодекс и если попадаются, то всегда умеют избежать смертной казни. Колен — их поверенный, их со-

ветчик. Располагая громадными средствами, этот человек сумел создать собственную полицию, обзавестись обширнейшими связями, которые он держал в полной тайне. Вот уже год, как мы окружили его шпионами, и все-таки не можем накрыть. Таким образом, касса и таланты Колена неизменно помогают оплачивать порок, питать преступления и держать в готовности армию негодяев, пребывающих в постоянной войне с обществом. Захватить Надуй Смерть и завладеть его банком означало бы в корне пресечь зло. Так что эта операция стала делом государственной важности, высокой политики; она послужит к чести тех, кто будет содействовать ее успеху. Вы, сударь, могли бы снова получить должность, стать секретарем какого-нибудь комиссара полиции; служба эта нисколько не помешала бы вам получать пенсию.

— Но почему же, — спросила Мишоно, — Надуй Смерть не удерет со всей кассой?

— О! — проговорил агент. — Если бы Колен обокрал каторжников, то куда бы он ни бежал, за ним последовал бы по пятам человек, уполномоченный его укокошить. Кроме того, кассу похитить не так легко, как дочку почтенных родителей. К тому же такой молодец, как Колен,

не способен на подобную проделку: он счел бы себя обесчещенным.

— Вы правы, сударь, — сказал Пуаре, — он был бы вконец обесчещен.

— А все-таки непонятно, почему вы просто-напросто не арестуете его? — заметила Мишоно.

— Хорошо, мадемуазель, я вам отвечу... Но, — шепнул он ей на ухо, — не давайте вашему кавалеру перебивать меня, а то этому конца не будет. Старичку надо шибко разбогатеть, чтобы его стали слушать... Надуй Смерть по прибытии сюда надел на себя личину порядочного человека, принял вид почтенного парижского буржуа, поселился в скромном пансионе; он хитер, его не так-то просто взять. Как-никак, господин Вотрен — человек значительный, он делает значительные дела.

— Разумеется, — пробурчал Пуаре.

— Если по ошибке арестовать настоящего Вотрена, министр восстановит против себя весь коммерческий мир Парижа и общественное мнение. Господину префекту полиции приходится действовать очень осмотрительно, у него есть враги. Допусти он оплошность — те, кто метит на его место, воспользуются тявканьем и визгом либералишек, чтобы спихнуть его. Здесь надо

действовать, как в деле Куаньяра, самозваного графа Сент-Элена. Окажись он в самом деле графом Сент-Эленом, нам задали бы перцу. Стало быть, нужна проверка!

— Да, но для этого вам нужна хорошенькая женщина, — с живостью отозвалась Мишоно.

— Надуй Смерть женщиной не возьмешь, — сказал агент. — Женщин он не любит, вот в чем секрет.

— Но тогда мне не ясно, чем я могу быть полезна для такой проверки, если даже допустить, что я соглашусь на нее за две тысячи франков.

— Нет ничего легче, — сказал незнакомец. — Ядам вам пузырек с жидкостью, которая вызывает удар, не представляющий ни малейшей опасности, но сходный с апоплексией. Это снадобье можно подлить в вино или в кофей, безразлично. Вы тотчас же перенесете Вотрена на кровать и разденете его, чтобы удостовериться, не умирает ли он. Как только вы останетесь с ним наедине, вы ударите его по плечу — хлоп! — и посмотрите, не проступит ли клеймо.

— Да это плевое дело! — сказал Пуаре.

— Ну как, согласны? — спросил Гондюро старую деву.

— Да, милостивый государь, — ответила Ми-

шоно, — но в случае, если никакого клейма не окажется, я получу две тысячи франков?

— Нет.

— А какое же будет вознаграждение?

— Пятьсот франков.

— Проделать подобную вещь за такие гроши! Совесть пострадает не меньше, а мне ведь придется успокаивать свою совесть, сударь.

— Могу заверить, — сказал Пуаре, — что мадемуазель Мишоно очень совестлива, помимо того, что она особа весьма приятная и рассудительная.

— Так вот, — продолжала Мишоно, — заплатите мне три тысячи франков, если это Надуй Смерть, и не платите ничего, если это обыкновенный буржуа.

— Идет! — сказал Гондюро. — Но при условии, что дело будет выполнено завтра же.

— Нет, милостивый государь, мне надо еще посоветоваться с духовником.

— Хитрюга! — промолвил агент, вставая. — Значит, до завтра! А если я вам понадоблюсь раньше, приходите на улицу Сент-Ан, в самый конец церковного двора. Вход под аркой. Спросите господина Гокдюро.

Бьяншон, возвращавшийся с лекции Кювье,

был поражен довольно оригинальной кличкой «Надуй Смерть», и расслышал возглас знаменитого начальника сыскной полиции: «Идет!»

— Почему вы не покончили дельце? Это дало бы вам триста франков пожизненной ренты, — сказал Пуаре мадемуазель Мишоно.

— Почему? — отозвалась та. — Да надо еще поразмыслить. Если господин Вотрен в самом деле Надуй Смерть, может быть, выгодней будет поладить с ним. Однако попросить у него денег — значило бы предупредить его, и он, пожалуй, улизнет, не заплатив ни гроша. Получилось бы гнусное надувательство.

— А если даже он и был бы предупрежден? — подхватил Пуаре. — Разве этот господин не сказал нам, что за Вотреном установлена слежка? А вот вы потеряли бы все.

— К тому же, — размышляла вслух Мишоно, — я не люблю этого человека! Он говорит мне одни неприятности.

— Ну, чего же лучше, — продолжал Пуаре. — Как сказал этот господин, — а он кажется мне очень дельным, помимо того, что и одет он вполне прилично, — избавить общество от преступника, как бы ни был тот доблестен, значит, оказать повиновение законам. Питух пить не

перестанет. А что, если ему придет фантазия всех нас прикончить? Черт возьми! Мы оказались бы виновниками этих убийств, не говоря уже о том, что сами стали бы первыми жертвами.

Поглощенная своими заботами, Мишоно не слушала фраз, одна за другой срывавшихся с уст Пуаре, как просачиваются в фонтане капли воды сквозь плохо завернутый кран. Когда старик начинал нанизывать фразы и Мишоно его не останавливала, он говорил не умолкая, наподобие заведенного механизма. Затронув какой-нибудь предмет, он растекался мыслью и перескакивал на противоположную тему, не приходя ни к какому выводу. Шествуя к Дому Воке, Пуаре разматывал клубок отступлений и попутных ссылок, пока не пришел, наконец, к рассказу о своих показаниях в деле господина Рагуло и госпожи Морен, где он выступал свидетелем защиты. Когда они вошли в пансион, от спутницы его не ускользнуло, что Эжен де Растиньяк увлечен задушевной беседой с мадемуазель Тайфер и что беседа настолько была полна захватывающего интереса для них обоих, что парочка не обратила внимания на двух старых жильцов, проходивших через столовую.

— Этим должно было кончиться, — обратилась

Мишоно к Пуаре. — Вот уже неделя, как они напропалую строят друг другу глазки.

— Да, — отозвался тот. — И вот ее осудили.

— Кого?

— Госпожу Морен.

— Я вам о мадемуазель Викторине, — сказала Мишоно, нечаянно входя в комнату Пуаре, — а вы мне про госпожу Морен. Кто она такая, эта женщина?

— А в чем же виновна мадемуазель Виктори-на? — спросил Пуаре.

— Виновна в том, что влюбилась в господина Эжена де Растиньяка и летит вслепую на огонь, невинная душа!

Эжен в это утро был доведен до отчаяния госпожой де Нусинген. В глубине души он всецело предался Вотрену, не желая раздумывать ни о причинах дружбы, проявленной к нему этим необыкновенным человеком, ни о будущем подобного союза. Только чудо могло извлечь его из бездны, над которой он час тому назад уже занес ногу, обмениваясь нежнейшими обещаниями с мадемуазель Тайфер. Викторине чудилось, что она слышит голос ангела, что небо разверзается. Дом Воке оделся сказочными красками, какими декораторы расцвечивают театральные дворцы:

она любит, она любима или, по крайней мере, верит этому! Да и какая женщина не поверила бы, подобно ей, если бы видела Растиньяка, если бы слушала его в течение часа, похищенного у всех аргусов дома? Борясь со своей совестью, зная, что поступает дурно и поступая так намеренно, говоря себе, что искупит этот грешок счастьем, которое подарит женщине, Эжен похорошел от отчаянья и озарился адским пламенем, пылавшим в его сердце. К счастью для него, чудо свершилось: в комнату весело вошел Вотрен и прочел, что происходит в душе юной четы, которую соединяли ухищрения его дьявольского гения, но радость которой он внезапно смутил, насмешливо запев басом:

Мила моя Фаншета
Невинной простотой…

Викторина убежала, унося с собой столько же счастья, сколько доселе было в ее жизни горя. Бедная девушка! Пожатие руки, прикосновение волос Растиньяка к ее щеке, словечко, сказанное на ушко так близко, что она почувствовала теплоту губ студента, трепетная рука, на миг обвившая ее стаи, поцелуй в шею — все это было для нее помолвкой, которую соседство толстухи Сильвии,

грозившей войти в сиявшую лучезарным светом столовую, делало пламеннее, живее, пленительнее прекраснейших признаний, описанных в самых знаменитых повествованиях о любви. Эта «легкая дань внимания», по изящному выражению наших предков, казалась молодой девушке, ходившей на исповедь каждые две недели, преступлением. За этот час она расточила больше душевных сокровищ, чем могла бы растратить впоследствии, когда, богатая и счастливая, отдавалась бы вся безраздельно.

— Дело слажено! — сказал Эжену Вотрен. — Наши денди сцепились. Все приличия соблюдены. Спор из-за убеждений. Наш голубок оскорбил моего сокола. Встреча завтра, на Клиньяпкурском редуте. В половине девятого мадемуазель Тайфер унаследует любовь и состояние своего отца, в то самое время когда тот будет спокойно макать в кофе ломтики хлеба, поджаренные в масле. Забавно, не правда ли? Молодой Тайфер превосходно владеет шпагой и самонадеян так, точно у него на руках одни козыри; но ему пустят кровь изобретенным мною ударом, надо только приподнять шпагу и колоть в лоб. Я покажу вам этот выпад, он чертовски полезен.

Растиньяк тупо слушал и не знал, что ответить.

В эту минуту вошли папаша Горио, Бьяншон и еще кое-кто из столовников.

— Таким вот я желал вас видеть, — промолвил Вотрен. — Вы знаете, что делаете. Отлично, мой орленок! Вы будете властвовать над людьми; вы сильны, тверды, отважны; я уважаю вас.

Он протянул Эжену руку. Растиньяк быстро отдернул свою и, побледнев, упал на стул; ему почудилось, что он видит лужу крови.

— А! Мы все еще не можем расстаться с пеленками, замаранными добродетелью, — продолжал, понизив голос, Вотрен. — У папаши Долибана три миллиона; мне известен его капитал. Приданое сделает вас белоснежным, как подвенечное платье, даже в ваших собственных глазах.

Растиньяк более не колебался. Он решил пойти вечером предупредить обоих Тайферов. Едва Вотрен отошел от него, как палаша Горио шепнул Эжену на ухо:

— Вы печальны, дитя мое! Я вас развеселю. Идемте.

Старый макаронщик зажег витую свечку об огонь лампы. Эжен, волнуемый любопытством, последовал за ним.

— Зайдемте к вам, — сказал старик, позаботившийся взять у Сильвии ключ студента. — Сегодня

утром вы подумали, что она вас не любит, да? — продолжал он. — Она вас выпроводила, и вы ушли, рассерженный, в отчаянье. Глупыш! Она поджидала меня. Понимаете? Мы должны были пойти закончить устройство чудесной квартирки, куда вы переедете через три дня. Не выдавайте меня. Она хочет сделать вам сюрприз, но я не в силах больше скрывать от вас секрет. Вы поселитесь на улице д'Артуа, в двух шагах от улицы Сен-Лазар. Вы заживете там принцем. Мы обставили вас, словно новобрачную. Мы провозились с этим целый месяц, не говоря вам ни слова. Мой поверенный начал дело, дочка будет получать тридцать шесть тысяч франков в год, проценты с приданого, и я потребую, чтобы ее восемьсот тысяч были помещены надежнейшим образом, чтобы каждый франк был на виду.

Эжен молчал и, скрестив руки, шагал из угла в угол по своей убогой, неприбранной комнате. Папаша Горио улучил мгновенье, когда студент повернулся к нему спиной, и поставил на камин красную сафьяновую шкатулочку, на которой был вытиснен золотой герб Растиньяка.

— Дорогое дитя, — говорил бедняга, — я тут постарался немало. Но, видите ли, мною руководили эгоистические побуждения, я заинтересован в

вашем переезде. Ведь вы не откажете мне, не правда ли, если я попрошу вас кое о чем?

— Чего вы хотите?

— Вот что?! Над вашей квартирой, в пятом этаже, есть комнатка, которая сдается вместе с ней, я поселюсь там, ладно? Я становлюсь стар, дочки от меня слишком далеко. Я вас не стесню. Мне бы только быть там. Вы станете рассказывать мне о ней каждый вечер. Вам это не помешает, скажите? Когда вы будете возвращаться, я, лежа в постели, услышу ваши шаги и подумаю: «Он только что видел мою Дельфиночку. Он сопровождал ее на бал, благодаря ему она счастлива». Если я заболею, будет бальзамом для моего сердца слышать, как вы возвращаетесь домой, как хлопочете, ходите. Вы так будете напоминать о моей дочке! Оттуда два шага до Елисейских полей, где они обе проезжают ежедневно, я всегда смогу видеть их, тогда как теперь я иногда опаздываю. А кроме того, она, может быть, и сама придет к вам! Я услышу ее голос, увижу ее в утренней кофте, она застучит каблучками, пройдет грациозно, точно кошечка. За этот месяц Дельфина снова стала тем, чем была: молодой девушкой, веселой, нарядной. Она выздоравливает душой, и своим счастьем она обязана вам. О! Я сделал бы для вас

невозможное. Только что, по дороге домой, она говорила мне: «Я очень счастлива, папа!» Когда они церемонно говорят мне «отец», меня обдает холодом, а когда они называют меня «папой», мне кажется, что я опять вижу их маленькими, они воскрешают во мне все воспоминания. Тогда я больше чувствую себя их отцом. Мне кажется, что они еще не принадлежат никому!

Старик вытер глаза, он плакал.

— Давно не слышал я этих слов, она давно не брала меня под руку. О, да! Вот уже десять лет, как я не хожу рядом ни с одной из своих дочерей. Какая радость касаться ее платья, идти с ней в ногу, чувствовать ее теплоту! Наконец-то сегодня утром я сопровождал Дельфину повсюду. Заходил с нею в магазины. Проводил ее домой. О! Оставьте меня подле себя! Когда вам понадобится какая-нибудь услуга, я буду тут как тут. О! Если бы эта толстая эльзасская колода издохла, если бы его подагра догадалась перекинуться на желудок, как счастлива была бы моя бедная девочка! Вы стали бы тогда моим зятем, открыто сделались бы ее мужем. Ах! Она не изведала никаких радостей этого мира, она так несчастна, что я оправдываю ее во всем. Господь бог должен быть на стороне любящих отцов! Он помолчал, потом

проговорил, покачав головой: — Она вас любит безмерно. Дорогой она все твердила мне о вас: «Не правда ли, отец, он хороший? У него доброе сердце! Он обо мне говорит?» Ах, она повторяла это от улицы д'Артуа до пассажа Панорам — без конца! Наконец-то она излила передо мной свое сердце. В это чудное утро я помолодел, стал легче перышка. Я сказал ей, что вы вернули мне ее тысячефранковый билет. Милая! Это взволновало ее до слез. Что это у вас на камине? — спросил, наконец, папаша Горио; он сгорал от нетерпения, видя, что Растиньяк не двигается с места.

Эжен в полном замешательстве тупо смотрел на соседа. Завтрашняя дуэль, возвещенная Вотреном, столь резко противоречила осуществлению самых дорогих его надежд, что он переживал муки кошмара, Он повернулся к камину, увидел там квадратную шкатулку, открыл ее и нашел в ней под бумажкой часы работы Брегета. На бумаге написаны были следующие слова:

«Я хочу, чтобы вы думали обо мне ежечасно, потому что…

Дельфина».

Последнее слово письма, несомненно, заключало намек на какой-то эпизод, касавшийся их

обоих. Эжен был растроган. Внутри шкатулки красовался его герб, выведенной эмалью на золоте. Эта вещица, о которой он так давно мечтал, цепочка, ключик, форма, рисунок — все отвечало его желаниям. Папаша Горио сиял. Старик, несомненно, обещал дочери передать во всех подробностях, какое впечатление произведет на Растиньяка ее неожиданный подарок; он являлся соучастником этих юных волнений и был не менее счастлив. Он уже любил Эжена и за дочь, и за него самого.

— Идите к ней сегодня, она вас ждет. Эльзасская колода ужинает у своей балерины. Ах! Какой у него был дурацкий вид, когда мой поверенный изложил ему дело. Разве он не уверяет, что любит мою дочь до обожания? Пусть только тронет ее, я его убью! При мысли, что моя Дельфина во власти… (он вздохнул) я готов совершить преступление; но человекоубийства тут не было бы, ведь эта телячья голова на свиной туше! Вы возьмете меня к себе, не правда ли?

— Да, дорогой мой папаша Горио, вы прекрасно знаете, что я вас люблю…

— Я это вижу, вы-то не стыдитесь меня! Дайте же мне вас обнять!

И он сжал студента в объятиях.

— Вы сделаете ее очень счастливой. Обещайте мне это. Вы пойдете к ней сегодня, да?

— Да, да! Я должен пойти по неотложному делу.

— Может быть я пригожусь вам?

— Пожалуй, что — да! Я пойду к госпоже де Нусинген, а вы тем временем ступайте к Тайферу-отцу и скажите ему, что я прошу принять меня сегодня вечером по крайне важному делу.

— Неужели это правда, молодой человек? — воскликнул, меняясь в лице, папаша Горио. — Неужели вы ухаживаете за его дочкой, как болтают наши дураки? Громы небесные! Значит, вы не знаете, что такое тумак старика Горио. Если вы нас обманываете, то познакомитесь с моими кулаками!.. Но нет, быть этого не может!

— Клянусь вам, я люблю только одну женщину в мире, — сказал студент, — и я понял это лишь сейчас.

— О! Какое счастье! — вырвалось у папаши Горио.

— Но сын Тайфера, — продолжал студент, — завтра дерется на дуэли, и я слышал, что его собираются убить.

— А вам-то что до этого? — спросил Горио.

— Надо предупредить старика, — вскричал

Эжен, — чтобы он помешал сыну отправиться на...

В этот миг его перебил раздавшийся в дверях голос Вотрена, который пел:

Ричард, владыка мой!
Отвергнут ты вселенной...
Брум! брум! брум! брум!

Свет исходил я спозаранку,
И всюду видели...
Тра-ла-ла-ла-ла!

— Господа, — крикнул Кристоф, — суп простынет, все уже за столом.

— Вот что, — сказал Вотрен, — принеси-ка бутылочку моего бордо.

— Не правда ли, красивый брегет? — спросил папаша Горио. — У нее хороший вкус!

Вотрен, папаша Горио и Растиньяк спустились вниз одновременно. Они опоздали и очутились за столом рядом. В продолжение обеда Эжен выказывал Вотрену крайнюю холодность, хотя этот человек, столь — обаятельный в глазах госпожи Воке, никогда еще не блистал таким остроумием. Он сыпал остротами и сумел развеселить всех сотрапезников. Его самоуверенность, его хладно-

кровие изумляли Эжена.

— Вы нынче в ударе! — обратилась к Вотрену госпожа Воке. — Вы веселы, как зяблик.

— Я всегда весел, когда обделаю выгодное дельце.

— Дельце? — повторил Эжен.

— Ну, да. Я поставил партию товара, за которую получу хорошие комиссионные. Мадемуазель Мишоно, — сказал он, видя, что старая дева не сводит с него глаз, — вы так уставились на меня, точно вам в моей физиономии что-то не нравится. Скажите только, и я изменю ее, чтобы вам угодить. Пуаре, мы ведь с вами не поссоримся из-за этого, а? — добавил он, подмигивая старому чинуше.

— Черт возьми! Вы были бы хорошей моделью для балаганного Геркулеса, — сказал Вотрену молодой художник.

— Что ж, идет! Если мадемуазель Мишоно согласится позировать в качестве Венеры с кладбища Пер-Лашез, — отвечал Вотрен.

— А Пуаре? — спросил Бьяншон.

— О, Пуаре должен позировать как Пуаре. Он будет богом садов! — воскликнул Вотрен. — Он

происходит от груши[11]....

— От груши с гнильцой! — подхватил Бьяншон. — Итак, вы очутитесь в веселеньком положении между грушей и сыром[12].

— Все это глупости, — сказала госпожа Воке. — Вы лучше бы угостили нас вашим бордо; вот, я вижу, выглядывает горлышко бутылки. Это поддержит наше веселье, да и для желудка пользительно.

— Милостивые государи, — начал Вотрен, — председательница призывает нас к порядку. Госпожа Кутюр и мадемуазель Викторина не обидятся на наши легкомысленные речи; но пощадите невинность папаши Горио. Предлагаю вам бутылораму бордо, которому имя Лафита придает сугубую славу, в чем прошу не усматривать политического намека. Эй ты, чудило, — воскликнул он, глядя на Кристофа, который не двигался с места. — Сюда, Кристоф! Не понимаешь, что ли, что тебя зовут? Волоки, чудило, выпивку.

— Извольте, сударь, — сказал Кристоф, подавая

---

[11] Примечания: 11

Игра слов: «la poire» — груша, в просторечии означает также «простофиля».

[12] Примечания: 12

Непереводимая игра слов. Французское выражение «между грушей и сыром» означает конец обеда или ужина, время десерта, когда веселье подвыпивших гостей достигает высшей точки.

ему бутылку.

Наполнив стакан Эжену и папаше Горио, Вотрен не спеша налил себе несколько капель для пробы, в то время как оба его соседа уже пили, и вдруг брезгливо поморщился:

— Черт подери! Отдает пробкой. Возьми это себе, Кристоф, а нам добудь другого; справа, знаешь? Нас шестнадцать душ, тащи восемь бутылок.

— Коли вы так расщедрились, — сказал художник, — я ставлю сотню каштанов.

— Ого!..

— П-уфф!..

— Пррр!..

Раздались восклицания, посыпавшиеся как ракеты.

— Ну, мамаша Воке, две бутылочки шампанского! — провозгласил Вотрен.

— Ишь чего захотели! Почему не попросить тогда целый дом? Две бутылки шампанского! Да ведь они двенадцать франков стоят! Таких денег у меня нет и в помине! Но, коли господин Эжен соблаговолит заплатить за шампанское, я угощу смородинной.

— Н-да, от ее смородинной слабит, как от ревеня, — пробурчал медик.

— Замолчи, Бьяншон, — вскричал Растиньяк, —

когда при мне говорят о ревене, меня воротит... Да, согласен, плачу за шампанское, — добавил студент.

— Сильвия, — сказала госпожа Воке, — подай бисквитики и печенье.

— Ваши бисквитики успели уже вырасти и состариться, — заметил Вотрен, — они обросли бородой[13]. А вот печенье — валяйте!

Минута — и бордо пошло вкруговую, сотрапезники оживились, веселье удвоилось. Все хохотали, как сумасшедшие; передразнивали различных животных. Служащий музея вздумал воспроизвести парижский уличный крик, напоминавший мяуканье мартовского кота, и тотчас восемь голосов заорали разом:

— Точу ножи, ножницы!

— Семя канареечное!

— Дамская отрада! Полный выбор!

— Посуду починяю!

— Вот лодка! Кому лодку!

— Колотушка для фрака и для жены!

— Старье продаем — платье, шляпы, позумент!

— Вишня, вишня сладкая!

Пальма первенства досталась Бьяншону, про-

---

[13] Примечания: 13

Непереводимый каламбур, основанный на том, что «la barbe» означает и «борода» и «плесень».

гнусавившему:

— Зонтики продаем! Зонтики!

В несколько мгновений поднялся оглушительный гам; несли всякий вздор и паясничали; Вотрен управлял этой шутовской оперой, как дирижер, наблюдая все время за Эженом и папашей Горио, которые, казалось, уже опьянели. Откинувшись на спинки стульев, оба они со степенным видом созерцали этот непривычный кутеж, но пили мало; оба были озабочены тем, что им предстояло сделать в этот вечер, и не имели сил подняться. Вотрен искоса поглядывал на них, следя за менявшимся выражением их лиц; улучив минуту, когда глаза у того и другого стали слипаться, он наклонился к Растиньяку и сказал ему на ухо:

— Мой милый мальчик, вам не перехитрить дядюшки Вотрена, и он вас слишком любит, чтобы позволить вам делать глупости. Когда я на что-нибудь решусь, один лишь боженька может преградить мне дорогу. Ага! Вы хотели предупредить старика Тайфера, хотели наглупить, как школьник! Печь истоплена, опара подошла, хлеб на лопате; завтра мы будем его уплетать за обе щеки; неужели вы хотели помешать посадить его в печь? Нет, нет! Хлеб будет испечен, а коли

вас немножко беспокоит совесть, то желудок переварит все. Пока вы будете почивать, полковник граф Франкессини острием своей шпаги откроет вам путь к наследству Мишеля Тайфера. После брата Викторине достанется пятнадцать тысчонок ренты. Я уже навел справки и знаю, что материнское наследство превышает триста тысяч франков…

Эжен слышал эти слова, но не в состоянии был ответить. Язык его словно прилип к гортани, и непреодолимая дрема овладевала им; стол и лица сотрапезников мелькали перед ним, будто в лучезарном тумане. Вскоре шум затих. Столовники один за другим разошлись. Потом, когда в комнате остались госпожа Воке, госпожа Кутюр, мадемуазель Викторина, Вотрен и только папаша Горио, Растиньяк заметил, точно во сне, как госпожа Воке стала собирать бутылки и сливать остатки вина в одну.

— Эх! Молодо-зелено! — приговаривала вдова.

То была последняя фраза, которую мог разобрать Эжен.

— Один только господин Вотрен способен так чудить! — заметила Сильвия. — Смотрите, Кристоф гудит, как кубарь.

— Прощайте, мамаша, — сказал Вотрен. — Я

пойду на бульвар, посмотрю господина Марти в «Дикой горе» — это большая пьеса, переделка «Отшельника»… Если угодно, я провожу туда вас вместе с прочими дамами?

— Нет, спасибо, — отозвалась госпожа Кутюр.

— Соседка! — воскликнула госпожа Воке. — Вы отказываетесь посмотреть переделку «Отшельника», произведения, написанного в подражание «Атала» Шатобриана? Мы с таким увлечением читали его, оно так красиво, что этим летом мы плакали под липами, как Магдалины Элодийские; не говорю уже о том, что это произведение нравственное и может быть назидательным для вашей барышни.

— Ходить в театр нам не пристало, — ответила Викторина.

— Смотрите, эти уже готовы, — сказал Вотрен, смешно поворачивая головы папаши Горио и Эжена.

Положив голову студента на стул, так, чтобы тому удобно было спать, он горячо поцеловал его в лоб и пропел:

Спи, о любовь моя,
тебя храню бессменно я.

— Боюсь, не заболел ли он, — сказала Виктори-

на. — В таком случае оставайтесь поухаживать за ним, — подхватил Вотрен. — Вот долг покорной жены, — шепнул он ей на ухо, — этот юноша обожает вас, и вы станете его женушкой, предсказываю вам. В конце концов, — добавил он громогласно, — они пользовались уважением всей округи, жили счастливо и оставили многочисленное потомство. Так кончаются все романы. Идемте, мамаша, — обратился он к госпоже Воке, обнимая ее, — наденьте шляпу, выходное платье с цветами, шарф графини. Я схожу за извозчиком… сам схожу.

И он удалился, напевая:

О, солнце, солнце! Божество,
Чьей силой тыквы дивно зреют!

— О, боже, с таким человеком рай и в шалаше! Не правда ли, госпожа Кутюр? Смотрите, — добавила она, поворачиваясь к макаронщику, — наш папаша Горио наклюкался. Этому старому скряге ни разу не пришло в голову свести меня куда-нибудь. Господи, он сейчас свалится на пол. Неприлично человеку его лет терять рассудок! Вы, впрочем, скажете мне, что нельзя потерять то, чего нет. Сильвия, отведи Горио в его комнату.

Сильвия взяла старика под руку, подтолкнула

его и бросила, не раздевая, поперек кровати, как куль.

— Бедный юноша, — говорила госпожа Кутюр, поправляя волосы Эжена, падавшие ему на глаза, — он точно девушка, ему неведомы излишества.

— Да, смею сказать, за тридцать один год, что я держу пансион, — вставила госпожа Воке, — множество молодых людей прошло, как говорится, через мои руки, но я никогда не встречала такого милого, такого благовоспитанного, как господин Эжен. Как хорош он, когда спит! Положите его голову к себе на плечо, госпожа Кутюр! Ах! Он клонится на плечико мадемуазель Викторины. Бог младенцев хранит. Еще немного, и он разбил бы себе голову о шишечку стула. Они составили бы прелестную пару.

— Замолчите же, соседка! — воскликнула госпожа Кутюр. — Можно ли говорить такие вещи…

— Не беда! — возразила госпожа Воке. — Он, не слышит. Ну, Сильвия, помоги мне одеться. Я надену высокий корсет.

— Что вы, барыня! Высокий корсет? Это после обеда-то! — воскликнула Сильвия. — Нет, поищите кого-нибудь другого зашнуровывать вас, а я не согласна быть вашей убийцей. Вы себя не

бережете, так и помереть недолго.

— Все равно! Надо не ударить лицом в грязь перед господином Вотреном.

— Вы, видно, очень любите своих наследников?

— Ладно, Сильвия, без рассуждений! — оборвала, удаляясь, вдова.

— В ее-то годы, — ворчала кухарка, указывая Викторине на хозяйку.

Госпожа Кутюр и ее воспитанница, на плече которой спал Эжен, остались в столовой одни. Громкий храп Кристофа оглашал затихший дом, составляя контраст с тихим сном Эжена, спавшего мило, как дитя. Викторина радовалась тому, что могла позволить себе одно из тех добрых дел, в которых изливаются все чувства женщины, и, не совершая греха, ощущать биение сердца юноши около своего сердца; лицо ее приняло выражение какого-то материнского покровительства и гордости. Множество мыслей бродило в ее голове, и сквозь них пробивалось мятежное чувство сладострастия, возбужденное юной и чистой теплотой их тел.

— Милая девушка! Бедняжка! — сказала госпожа Кутюр, пожимая ей руку.

Старая дама любовалась простодушным и

страдальческим личиком, которое озарял ореол счастья. Викторина напоминала одну из тех наивных средневековых картин, где художник, оставляя в небрежении аксессуары, приберег волшебство спокойной и благородной кисти для лица, желтоватого по тону, но словно освещенного золотыми отблесками неба.

— А ведь он выпил не больше двух стаканов, матушка, — сказала Викторина, поглаживая волосы Эжена.

— Будь он кутилой, деточка, он хмелел бы от вина не больше других. Опьянение говорит в его пользу.

На улице раздался грохот подъезжающего экипажа.

— Матушка, — сказала девушка. — Это господин Вотрен. Поддержите господина Эжена. Мне не хотелось бы, чтобы этот человек увидел меня в такой позе; слова его грязнят душу, а взгляды смущают женщину, точно с нее снимают платье.

— Нет, — ответила госпожа Кутюр, — ты ошибаешься! Господин Вотрен — славный человек, он немного похож на покойного Кутюра; резкий, но отзывчивый, добродушный ворчун.

В эту минуту в комнату незаметно вошел Вотрен и окинул взглядом двух детей, представ-

лявших живописную группу, которую ласкал свет лампы.

— Так! — сказал он, скрестив руки. — Вот сценка из тех, что могли бы вдохновить достопочтенного Бернардена-де-Сен-Пьера, автора «Поля и Виргинии». Хорошая штука молодость, госпожа Кутюр! Спи, бедное дитя, — добавил он, глядя на Эжена, — счастье нередко приходит во сне. Сударыня, — обратился он к вдове, — знаете, что меня привязывает к этому юноше, что меня в нем волнует? Сознание, что красота его души соответствует красоте его лица. Смотрите, разве это не херувим, склонившийся на плечо ангела? Он достоин любви! Будь я женщина, я хотел бы умереть (нет, это глупо!)... — жить для него. Любуясь ими сейчас, сударыня, — шепнул он вдове на ухо, — я невольно думаю, что бог создал их друг для друга. Пути провидения неисповедимы, оно испытывает сердца и чресла наши, — воскликнул он. — Видя вас соединенными, дети мои, соединенными вашей чистотой и всеми человеческими чувствами, я думаю про себя: вы будете неразлучны; иначе быть не может. Бог справедлив! Но мне сдается, — обратился он к девушке, — я видел у вас линии преуспеяния. Дайте мне вашу руку, мадемуазель Виктори-

на; я знаю толк в хиромантии и несколько раз предсказывал судьбу. Да не бойтесь же! О! Что я вижу? Клянусь честью, в недалеком будущем вы станете одной из самых богатых наследниц Парижа. Вы осчастливите того, кто вас любит. Отец ваш призывает вас к себе. Вы выходите замуж за человека титулованного, молодого, красивого, обожающего вас.

В эту минуту тяжелые шаги спускавшейся по лестнице старой кокетки прервали пророчество Вотрена.

— Вот и мамаша Воккер, преккрасивая, как звезда, и затянутая в ррюмочку!.. Только как бы не задохнуться нам ненароком? — добавил он, дотрагиваясь до кончика планшетки. — Слишком туго стянуто под ложечкой, мамаша! Ежели мы расплачемся, то лопнем. Но я соберу обломки с тщательностью антиквара.

— Ах, он умеет быть любезен, как истый француз! — проговорила вдова на ухо госпоже Кутюр.

— Прощайте, детки! — продолжал Вотрен, обращаясь к Эжену и Викторине. — Благословляю вас, — сказал он, возлагая руки на их головы. — Поверьте, барышня, пожелания порядочного человека кое-чего значат, они не могут не принести счастья, бог внемлет им.

— Прощайте, дружок, — сказала госпожа Воке своей жилице, — Как вы думаете, — добавила она шепотом, — серьезные ли у господина Вотрена намерения относительно меня?

— Гм, гм!..

— Ах, дорогая матушка! — вздохнула, разглядывая ладони, Викторина, оставшись наедине с госпожой Кутюр. — Если бы слова доброго господина Вотрена оправдались!

— Но для этого нужно только, — ответила старая дама, — чтобы твой изверг брат свалился с лошади.

— Ах, матушка!

— Господи, может быть, это и грех — желать зла своему врагу, — продолжала вдова. — Ну, что ж, я покаюсь! Право, я охотно возложу цветы на его могилу. Бессердечный! У него не хватает мужества заступиться за свою мать, наследство которой он прикарманил в ущерб тебе путем каких-то махинаций; у кузины было хорошее состояние. На твое несчастье, ее личное имущество не было оговорено в брачном контракте.

— Если бы счастье досталось мне ценою чьей-нибудь жизни, оно постоянно тяготило бы меня, — молвила Викторина. — И если бы для моего благополучия потребовалась смерть брата,

я предпочла бы остаться здесь навсегда.

— Господи боже мой! Добрейший господин Вотрен, — продолжала госпожа Кутюр, — говорит, а он, как ты видишь, человек набожный; я рада, что он не безбожник, как другие, которые бога чтут не больше, чем черта… Так вот, господин Вотрен говорит: пути провидения неисповедимы.

С помощью Сильвии Викторина и госпожа Кутюр перенесли, наконец, Эжена в его комнату и положили на кровать, а кухарка расстегнула его, чтобы ему было удобнее. Как только покровительница ее отвернулась, Викторина перед тем, как уйти, запечатлела на лбу Эжена поцелуй, и эта запретная ласка наполнила ее безграничным счастьем. Она вернулась к себе, слила, так сказать, в единую мысль множество радостных переживаний этого дня, создала из них картину, долго любовалась ею и заснула как самое счастливое существо во всем Париже. Пирушка, которою воспользовался Вотрен, чтобы напоить Эжена и папашу Горио вином с примесью снотворного зелья, привела к его собственной гибели. Бьяншон под хмельком позабыл спросить у Мишоно о Надуй Смерть. Если бы он произнес эту кличку, то, конечно, пробудил бы бдительность Вотрена или — назовем его настоящим именем — Колена,

каторжной знаменитости. А затем в ту самую минуту, когда Мишоно вычисляла, не выгоднее ли, полагаясь на щедрость Колена, предупредить его и помочь ему скрыться ночью, — прозвище «Венера с кладбища Пер-Лашез» привело ее к решению выдать каторжника. Она вышла в сопровождении Пуаре и направилась к знаменитому начальнику сыскной полиции на улицу Сент-Ан, все еще думая, что имеет дело с крупным чиновником по фамилии Гондюро. Начальник сыскной полиции принял ее любезно. После того как они договорились обо всем, Мишоно попросила дать ей снадобье, с помощью которого ей предстояло проверить наличие клейма. Удовлетворение, написанное на лице великого человека с улицы Сент-Ан, в то время как он доставал пузырек из ящика письменного стола, помогло Мишоно сообразить, что арест этот представляет нечто поважнее поимки простого каторжника. Пораскинув умом, она заподозрила, что полиция надеется на основании какого-нибудь доноса каторжан-предателей вовремя захватить значительные ценности. Когда Мишоно высказала свои догадки полицейской лисе, тот улыбнулся и постарался рассеять подозрения старой девы.

— Вы ошибаетесь, — сказал он. — Колеи — самая

опасная «Сорбонна», какая только встречалась когда-либо среди воров. Вот и все. Мошенники отлично знают это; он — их знамя, их опора, словом, их Бонапарт; все они его любят. Этот шельмец никогда не оставит нам своего чурбана на Гревской площади.

Мишоно не поняла, и Гондюро объяснил ей, что значат два слова, заимствованные им из блатного языка. Сорбонна и чурбан — два энергических выражения на языке воров, — первых, кто почувствовал необходимость рассматривать человеческую голову с двух точек зрения. Сорбонна — голова живого человека, его советчица, его мысль. Чурбан — презрительное название, долженствующее выразить, как мало стоит голова, когда она отрублена.

— Колен издевается над нами, — продолжал Гондюро. — Имея дело с людьми, подобными стальному клинку английского закала, мы при малейшем сопротивлении во время ареста убиваем их. Мы рассчитываем, что завтра утром Колен станет сопротивляться, и мы убьем его. Таким образом, удастся избежать процесса, расходов на содержание под стражей, на питание; а общество избавится от обузы. Судебное разбирательство, вызов свидетелей, вознаграждение, выдаваемое

им, казнь — словом, все необходимое для устранения подобных мерзавцев законным порядком, все это обходится побольше тысячи экю, которые вам причитаются. Мы выгадываем время. Хорошенько пырнув Надуй Смерть штыком в брюхо, мы предотвратим сотню преступлений и избавим от соблазна с полсотни негодяев, которые благоразумно станут держаться в должном отдалении от исправительного суда. Вот что такое хорошо организованная полиция. С точки зрения истинной филантропии поступать так, значит, предупреждать преступления.

— Больше того — это значит служить своему отечеству! — добавил Пуаре.

— Именно, — подхватил начальник. — Сегодня вы рассуждаете здраво. Да, конечно, мы служим отечеству. Общественное мнение относится к нам крайне несправедливо! Мы оказываем обществу великие, но непризнанные услуги. Словом, человек незаурядный должен стать выше предрассудков, а христианин должен безропотно переносить несчастья, которые влечет за собой доброе дело, когда оно идет вразрез с прописной моралью. Париж, видите ли, всегда остается Парижем. Это объясняет всю мою жизнь. Мое почтение, мадемуазель. Я буду завтра со своими

людьми в Королевском саду. Пришлите Кристофа на улицу Бюффон, к господину Гондюро, в тот дом, где мы виделись с вами. Ваш покорный слуга, сударь. Если вас когда-нибудь обокрадут, я всегда к вашим услугам.

— Ну, вот, — обратился Пуаре к Мишоно, — есть же такие дураки, что рвут и мечут при одном слове «полиция». Этот господин очень любезен, а что может быть проще его просьбы?

Следующему дню суждено было стать одним из самых необычных в истории Дома Воке. Доселе наиболее выдающимся событием в мирной жизни пансиона было появление промелькнувшей, как метеор, самозваной графини д'Амбермениль. Но всему суждено было померкнуть перед перипетиями этого великого дня, к которому впоследствии госпожа Воке вечно возвращалась, о чем бы ни заходила речь. Начать с того, что Горио и Эжен де Растиньяк проспали до одиннадцати. Госпожа Воке, вернувшись из театра «Гэте» в полночь, встала лишь в половине одиннадцатого. Уборка дома запоздала из-за долгого сна Кристофа, допившего бутылку вина, которым угостил его Вотрен. Пуаре и мадемуазель Мишоно не сетовали на то, что завтрак поспел позднее обыкновенного. Викторина и госпожа

Кутюр тоже заспались. Вотрен в восьмом часу вышел из дому и вернулся как раз к завтраку. Таким образом, никто не жаловался, когда Сильвия с Кристофом четверть двенадцатого начали стучать во все двери, говоря, что завтрак подан. Пока слуга и кухарка отсутствовали, мадемуазель Мишоно, спустившись первою, вылила снадобье в серебряный молочник Вотрена со сливками для кофея, поставленными в горячую воду так же, как и сливки остальных пансионеров. Для выполнения своего замысла старая дева рассчитывала на этот обычай пансиона. Наконец, кое-как семеро жильцов сошлись к столу. Когда Эжен, потягиваясь, последним спускался по лестнице, посыльный вручил ему письмо от госпожи де Нусинген. Письмо гласило:

«Я не гневаюсь на вас, друг мой, во мне не говорит ложное самолюбие. Я прождала вас до двух часов ночи. Ждать любимое существо! Кому знакома эта мука, тот никого на нее не обречет! Вижу, что вы любите впервые. Что же случилось? Меня терзает беспокойство. Если бы я не боялась выдать тайны своего сердца, то примчалась бы узнать, какое счастье

или горе постигло вас. Но отлучиться в эту пору из дому, пешком ли, в карете ли, разве не значило бы погубить себя? Я почувствовала, какое несчастье быть женщиной. Успокойте же меня, объясните, почему вы не пришли, хотя мой отец и предупредил вас. Я посержусь, но прощу вас. Не больны ли вы? Почему вы живете так далеко? Хотя бы одно словечко, пожалуйста. До скорого свиданья, не правда ли? Если вам некогда, то для меня достаточно одного вашего словечка. Скажите: «Спешу к вам» или «Я болен». Но если вы захворали, отец пришел бы сказать мне об этом! Что же случилось?..».

— Да, что случилось? — воскликнул Эжен и бросился в столовую, комкая недочитанное письмо. — Который час?

— Половина двенадцатого, — сказал Вотрен, накладывая сахару в кофей.

Беглый каторжник бросил на Эжена холодный, завораживающий взгляд. Некоторые люди, наделенные исключительной силой магнетизма, обладают способностью бросать такие взгляды, укрощающие, как говорят, буйнопомешанных в

сумасшедших домах. Эжен затрепетал. С улицы донесся стук кареты, и ливрейный лакей господина Тайфера, тотчас же узнанный госпожою Кутюр, ворвался в комнату; лицо его выражало ужас.

— Барышня, — вскричал он, — вас требует ваш батюшка… Случилось большое несчастье. Господин Фредерик дрался на дуэли, он ранен шпагой в лоб, врачи не надеются его спасти. Вы едва успеете с ним проститься, он без сознания.

— Несчастный юноша! — провозгласил Вотрен. — К чему лезть в драку, когда имеешь добрых тридцать тысяч ливров ренты? Положительно, молодежь не умеет себя вести.

— Милостивый государь! — крикнул Эжен.

— Ну что, взрослый ребенок! — молвил Вотрен, спокойно допивая кофей, причем мадемуазель Мишоно так внимательно следила за этой процедурой, что необычайное событие, поразившее всех, не взволновало ее. — Разве не дерутся в Париже каждое утро?

— Я поеду с вами, Викторина, — сказала госпожа Кутюр.

И обе помчались, без шляп, без шалей. Перед уходом Викторина сквозь слезы бросила на Эжена взгляд, говоривший: «Не думала я, что нашему

счастью суждено стать причиной моих слез».

— Да вы пророк, господин Вотрен? — сказала госпожа Воке.

— Я все, что угодно, — отозвался Жак Колен.

— Ну, не странно ли? — продолжала госпожа Воке, нанизывая фразы одна пустее другой по поводу этого события. — Смерть уносит нас, не спросясь. Часто молодой помирает раньше старого. Нам, женщинам, хорошо, мы на дуэли не деремся; зато у нас другие недуги, которых не знают мужчины. Мы рожаем детей, и матери приходится долго страдать! Повезло же Викторине! Отец вынужден признать ее.

— Вот видите! — сказал Вотрен, глядя на Эжена. — Вчера она была без гроша, а нынче у нее миллионы.

— Да, что и говорить, господин Растиньяк, — подхватила госпожа Воке. — Вы малый не промах.

При этом возгласе папаша Горио взглянул на студента и увидел в его руке скомканное письмо.

— Вы не дочитали! Что это значит? Неужели вы такой же, как другие? — спросил он.

— Сударыня, — произнес Эжен, обращаясь к госпоже Воке, и в голосе его зазвучали ужас и омерзение, изумившие присутствующих, — я

никогда не женюсь на мадемуазель Викторине.

Папаша Горио схватил руку студента и крепко пожал ее. Он готов был поцеловать ее.

— О-о! — протянул Вотрен. — У итальянцев есть хорошая поговорка: col tempo[14].

— Я жду ответа, — напомнил Растиньяку посыльный госпожи де Нусинген.

— Скажите, что я приду.

Тот ушел. Эжен был так раздражен, что забыл о всякой осторожности.

— Что делать? — проговорил он, раздумывая вслух. — Никаких доказательств!

Вотрен улыбался. К этому времени выпитое снадобье, дойдя до желудка, начало действовать. Однако каторжник был настолько крепок, что встал, поглядел на Растиньяка и произнес глухим голосом:

— Молодой человек, счастье приходит к нам, когда мы спим.

И повалился замертво.

— Значит, есть все же небесное правосудие! — сказал Эжен.

— Ах, да что ж это с нашим дорогим господином Вотреном?

---

[14] Примечания: 14

Буквально: «Со временем». Употребляется в смысле: «Придет время, не то заговоришь».

— Апоплексический удар! — воскликнула мадемуазель Мишоно.

— Сильвия, доченька, скорей зови доктора, — сказала вдова. — А вы, господин Растиньяк, бегите за господином Бьяншоном, ведь Сильвия может не застать дома нашего врача Гремпреля.

Растиньяк, обрадовавшись предлогу уйти из этого ужасного вертепа, бросился со всех нот.

— Кристоф, живо сбегай в аптеку, попроси чего-нибудь от апоплексии.

Кристоф ушел.

— Папаша Горио, помогите же нам перенести господина Вотрена наверх, в его комнату.

Вотрена подняли, втащили по лестнице и положили на кровать.

— Я не нужен вам больше, пойду навестить дочь, — сказал Горио.

— Старый эгоист! — воскликнула госпожа Воке. — Иди, иди! Желаю тебе издохнуть, как собаке!

— Подите-ка посмотрите, нет ли у вас эфиру, — сказала госпоже Воке мадемуазель Мишоно, которая с помощью Пуаре уже расстегнула платье Вотрена.

Госпожа Воке спустилась к себе, оставив Мишоно госпожою на поле брани.

— Ну, снимите же с него рубашку и поверните его. Живей! — обратилась мадемуазель Мишоно к Пуаре. — Хоть та от вас польза будет, что вы избавите меня от необходимости смотреть на голое тело. А то стоите, как истукан.

Когда Пуаре повернул Вотрена, мадемуазель Мишоно сильно хлопнула больного по плечу, и на покрасневшем месте забелели две роковые буквы.

— Смотрите! Однако легко же вам достались эти три тысячи франков! — воскликнул Пуаре, приподнимая Вотрена, пока Мишоно натягивала на того рубашку. — Ух, и тяжелый же он! — добавил Пуаре, снова укладывая его.

— Молчите! Нет ли тут денежного ящика? — с живостью сказала старая дева. Казалось, ее глаза пронизывали стены, с такой жадностью разглядывала она в комнате каждую мелочь. — Нельзя ли под каким-нибудь предлогом открыть этот секретер? — добавила она.

— Это, пожалуй, не годится, — ответил Пуаре.

— Вздор! Краденые деньги раньше принадлежали всем, значит, они теперь ничьи. Но мы не успеем. Я слышу шаги Воке.

— Вот вам эфир, — сказала госпожа Воке. — Что ни говори, сегодня у нас день приключений. Гос-

поди боже! Не может быть, чтобы этот человек захворал; он беленький, как цыпленок.

— Как цыпленок? — повторил Пуаре.

— Сердце бьется у него ровно, — промолвила вдова, приложив руку Вотрену на грудь.

— Ровно? — удивился Пуаре.

— Он совершенно здоров.

— Вы находите? — спросил Пуаре.

— Конечно! Он точно спит. Сильвия пошла за врачом. Смотрите, мадемуазель Мишоно, он вдыхает эфир. Э, да это просто спазмы. Пульс у него хороший. Он крепок, как турок. Поглядите, мадемуазель, какая у него шерсть на животе, он проживет сто лет! И шевелюра у него тоже еще держится. Э! Да она накладная! Он носит фальшивые волосы, потому что свои у него рыжие. Говорят, рыжий или прекрасный человек, или последний негодяй! Значит, он очень хороший, как, по-вашему?

— Хороший! На виселицу просится! — сказал Пуаре.

— Вы хотите сказать, на шею хорошенькой женщины, — подхватила Мишоно. — Ступайте, господин Пуаре. Это наше, женское дело, ухаживать за вами, когда вы хвораете. К тому же пользы от вас никакой, так что идите лучше, по-

гуляйте, — добавила она. — Мы с госпожой Воке отлично выходим дорогого господина Вотрена.

Пуаре удалился тихо и безропотно, как собака, которой хозяин дал пинка. Растиньяк вышел пройтись, подышать свежим воздухом; он задыхался. Он вчера хотел воспрепятствовать этому преступлению, и все же оно совершилось в назначенный час. Что случилось? И что ему делать теперь? Он содрогался при мысли, что является сообщником. Хладнокровие Вотрена по-прежнему ужасало его.

— А что, если бы Вотрен умер, не сказав ни слова? — спрашивал себя Растиньяк.

Эжен метался по аллеям Люксембургского сада, как будто за ним по пятам гналась свора псов, — и ему чудился ее лай.

— Стой, — крикнул Растиньяку Бьяншон, — читал ты «Лоцмана»?

«Лоцман» — радикальная газета, выходившая под редакцией Тисо; через несколько часов по выходе утренних газет она выпускала особое издание с последними новостями, попадавшими таким образом в провинцию на сутки раньше других газет.

— Замечательное происшествие, — сказал интерн больницы Кошена. — Сын Тайфера дрался

на дуэли с графом Франкессини, офицером старой гвардии, и тот всадил ему на два дюйма в лоб шпагу. Викторина теперь одна из самых богатых невест в Париже. Эх! Кабы знать это раньше! Смерть — та же азартная игра! А правда, что Викторина заглядывается на тебя?

— Молчи, Бьяншон, я никогда не женюсь на ней. Я люблю прелестную женщину, любим ею и…

— Ты говоришь так, словно тщетно борешься с искушением изменить. Укажи-ка мне женщину, ради которой стоило бы пожертвовать состоянием достопочтенного Тайфера.

— Значит, все демоны преследуют меня? — вскричал Растиньяк.

— Что с тобой? Ты с ума сошел? Дай-ка мне пощупать пульс. Э, да тебя лихорадит.

— Иди скорей к мамаше Воке, — сказал Эжен, — злодей Вотрен грохнулся сейчас, точно мертвый.

— А! — воскликнул Бьяншон, уходя от Растиньяка. — Ты подтверждаешь мои подозрения; пойду их проверить.

Долгая прогулка нашего юриста явилась торжественным испытанием. Он произвел в некотором роде проверку своей совести. Хотя Эжен колебался, копаясь в своей душе, не зная, как поступить,

по все же его честность вышла из этой жестокой и страшной борьбы закаленной, как железный брус, выдержавший все пробы. Студент вспомнил то, что папаша Горио по секрету рассказал ему накануне, вспомнил о квартире, выбранной для него неподалеку от Дельфины, на улице д'Артуа, достал письмо, перечел и поцеловал его.

«Подобная любовь — для меня якорь спасения, — подумал он. — Сколько перестрадал этот несчастный старец. Он ничего не рассказывает о своих горестях, но как не догадаться о них. Я буду заботиться о нем, как об отце, буду всячески его баловать. Ежели она меня любит, то будет часто приходить ко мне провести день подле него. Сиятельная графиня де Ресто — презренная женщина; она готова превратить своего отца в привратника. Дорогая Дельфина! Она лучше обращается со стариком, она достойна любви. Как счастлив буду и сегодня вечером!»

Растиньяк достал часы, полюбовался ими.

«Мне во всем удача. Когда любовь соединяет навеки, то взаимная помощь вполне допустима. Почему не принять этот подарок? К тому же я, конечно, преуспею на жизненном поприще и возвращу все сторицей. В этой связи нет ничего преступного, ничего оскорбительного для самой

строгой добродетели. Сколько честных людей заключают подобные союзы! Мы никого не обманываем, а только ложь унижает человека. Лгать — не значит ли отрекаться от самого себя? Она давно не живет с мужем. И я скажу этому эльзасцу напрямик, что он обязан уступить мне свою жену, раз не может дать ей счастья».

Внутренняя борьба Растиньяка продолжалась долго. Хотя юношеские добродетели и одержали победу, однако непреодолимое любопытство привело его в половине пятого, в сумерках, к Дому Воке, который он поклялся покинуть навсегда. Ему хотелось узнать, жив ли Вотрен. Догадавшись прописать ему рвотное, Бьяншон велел отнести в свою больницу извергнутое Вотреном, чтобы сделать химический анализ рвотины. Подозрения медика укрепились, когда Мишоно вознамерилась во что бы то ни стало выбросить ее вон. К тому же Вотрен оправился так скоро, что Бьяншон заподозрил какой-то заговор против этого балагура и забавника пансиона. Когда вернулся Растиньяк, Вотрен уже стоял в столовой у печки. Известие о дуэли Тайфера-сына собрало столовников раньше обыкновенного. Их разбирало любопытство узнать подробности события и выяснить, как отразилось оно на судьбе Вик-

торины. Не хватало только папаши Горио. Когда Эжен вошел, глаза его встретили взор невозмутимого Вотрена, так глубоко проникший в сердце студента и так сильно задевший в нем дурные струны, что он вздрогнул.

— Ну-с, дорогое дитя, — сказал ему беглый каторжник. — Курносой еще долго меня не поймать. Дамы говорят, что я выдержал удар, от которого и вол окочурился бы.

— Скажите лучше — и бык! — воскликнула вдова Воке.

— Вы как будто недовольны, что я остался жив? — шепнул Вотрен Растиньяку, полагая, что разгадал его мысли. — Если так, то это доказывает, что у вас чертовская смекалка.

— Что правда, то правда, — сказал Бьяншон. — мадемуазель Мишоно говорила третьего дня об одном господине, прозванном Надуй Смерть; это прозвище очень вам подходит.

Слова эти подействовали на Вотрена, как удар молнии: он побледнел и пошатнулся; магнетический взгляд его, подобно солнечному лучу, упал на Мишоно; у той ноги подкосились от этого излучения воли. Старая дева опустилась на стул. Пуаре поспешил стать между нею и Вотреном, сообразив, что ей грозит опасность: такое сви-

репое выражение приняло лицо каторжника, сбросившего маску добродушия, под которой скрывался его подлинный характер. Столовники остолбенели, ничего еще не понимая в разыгравшейся драме. В это мгновение послышались шаги нескольких человек и стук ружей, звякнувших о мостовую. Пока Колен машинально искал лазейки, оглядывая окна и стены, на пороге гостиной показались четыре человека. Первый из них — начальник сыскной полиции, остальные — полицейские надзиратели.

— Именем закона и короля! — произнес один из них: гул изумления покрыл его голос.

Вслед за тем в столовой воцарилось молчание; столовники расступились, чтобы пропустить трех агентов, державших в боковых карманах руки с заряженными пистолетами. Два жандарма, сопровождавшие их, стали у двери в гостиную, а двое других появились в дверях, выходящих на лестницу. Шаги солдат и стук ружей раздавались на мощеной дорожке вдоль фасада. Приходилось оставить всякую надежду на бегство; все впились глазами в Надуй Смерть. Начальник направился прямо к нему и первым делом нанес Колену такой сильный удар по голове, что с нее соскочил парик и она предстала во всем своем отталкива-

ющем безобразии. Короткие кирпично-красные волосы придавали этой голове и лицу, гармонировавшим с его широкой грудью и освещенным так выразительно, словно их озаряло адское пламя, ужасающее выражение силы, смешанной с хитростью. Каждый постиг всего Вотрена, его прошлое, настоящее и будущее, беспощадность его воззрений, культ произвола, безграничную власть, проистекавшую от цинизма мыслей и поступков, мощь его организма, способного все превозмочь. Кровь бросилась ему в лицо, и глаза засверкали, как у дикой кошки. Колен рванулся, и в этом движении была такая свирепая энергия, он так зарычал, что исторг крики ужаса у всех пансионеров. При этом львином порыве, подстрекаемые всеобщим воплем, агенты схватились за пистолеты. Увидя блеснувшие курки, Колен понял опасность и вдруг обнаружил величайшее самообладание. Страшное и величественное зрелище! Лицо его являло чудо природы, которое можно сравнить лишь с котлом, полным клубящегося пара, который способен поднять горы, но во мгновение ока теряет упругость от капли холодной воды. Каплей воды, охладившей ярость Колена, была одна мысль, быстрая, как молния. Он улыбнулся и посмотрел на свой парик.

— Сегодня ты не очень-то вежлив, — сказал он начальнику сыскной полиции и протянул руки жандармам, подозвав их кивком головы. — Господа жандармы, наденьте мне наручники или цепочку на пальцы. Призываю присутствующих в свидетели, что я не оказывал сопротивления.

По столовой пронесся гул удивления, вызванного быстротой, с какой лава и огонь изверглись и снова исчезли в этом человеческом вулкане.

— Что, не выгорело, остался с носом, господин хороший, — продолжал каторжник, глядя на знаменитого начальника сыскной полиции.

— А ну, раздеться, — с величайшим презрением сказал человек с улицы Сент-Ан.

— Зачем? — возразил Колен. — Здесь дамы. Я не запираюсь ни в чем и сдаюсь.

Он помолчал и оглядел собрание, как оратор, собирающийся поразить слушателей.

— Пишите, дядюшка Лапапель, — начал он, обращаясь к седому старичку, который, присев к столу, вынул из портфеля бумагу для протокола. — Признаюсь в том, что я — Жак Колен, по прозвищу Надуй Смерть, приговоренный к двадцати годам каторги. И я сейчас доказал, что недаром ношу эту кличку. Стоило мне поднять руку, и эти ищейки выпустили бы из меня все

потроха на паркет мамаши Воке. Эти шельмецы стараются расставлять западни.

При этих словах госпоже Воке сделалось дурно.

— О, боже, от этого можно расхвораться! А я-то была с ним вчера в театре! — простонала она, обращаясь к Сильвии.

— Побольше философии, мамаша, — заметил Колен. — Что за беда, что вы сидели вчера в Тэте в моей ложе! — воскликнул он. — Разве вы лучше нас? Наше клеймо на плече менее позорно, чем та мерзость, что кроется в вашем сердце, гнилые члены общества, пораженного гангреной! Лучший из вас не устоял против меня!

Колен остановил свой взор на Растиньяке, и его ласковая улыбка составляла странный контраст с суровым выражением его лица.

— Наша сделочка остается в силе, ангел мой! Разумеется, если предложение будет принято! Понимаете?

И он запел:

Мила моя Фаншета
Невинной простотой…

— Не беспокойтесь, — продолжал Колеи, — я свое возьму. Меня слишком боятся и не посмеют спровадить на тот свет!

Каторга с ее нравами и языком, с внезапными переходами от шутовского к ужасному, с ее грозным величием, с ее непосредственностью и низостью вдруг предстала вся в этих словах, воплотилась в этом человеке, который был уже не просто человек, а типичный представитель целого выродившегося народа, племени дикого и логичного, зверского и изворотливого. В этот миг Колен олицетворял адскую поэму, рисующую все человеческие чувства, за исключением одного — раскаяния. Взор его был взором падшего ангела, который все еще не сложил оружия. Растиньяк потупил глаза: панибратство преступника он принимал как кару за свои дурные помыслы.

— Кто меня предал? — спросил Колен, страшным взглядом обводя окружающих. И, остановив его на мадемуазель Мишоно, сказал: — Это ты, старая карга. Ты вызвала у меня мнимый апоплексический удар. Достаточно мне сказать два слова, и тебе через неделю перепилят глотку. Я тебя прощаю. По-христиански. Да и не ты предала меня. Но кто же?.. А! Вы шарите наверху! — воскликнул он, услышав, что полицейские открывают шкафы в его комнате и забирают пожитки. — Птички выпорхнули из гнезда, вчера еще улетели! И вы ничего не узнаете. Моя бух-

галтерия вот здесь, — сказал он, хлопнув себя по лбу. — Теперь знаю, кто меня продал. Мерзавец Шелковинка — больше некому! Неправда ли, дядюшка хват? — обратился он к начальнику полиции. — Недаром все наши банковские билеты обретались наверху. Ни сантима не осталось, разлюбезные господа сыщики! Не пройдет и двух недель, как Шелковинку закопают в землю, хотя бы его охраняла вся ваша жандармерия. Сколько же вы дали этой Мишонетке? — обратился он к полицейским. — Какую-нибудь тысячу экю? Я стою дороже, гнилая Нинон! Мадам Помпадур в лохмотьях! Кладбищенская Венера! Если бы ты предупредила меня, то получила бы шесть тысяч франков. А! Не догадалась, старая торговка человечьим мясом, а то небось предпочла бы иметь дело со мной. Да, я заплатил бы тебе эти деньги, чтобы избежать путешествия, которое мне по нутру обойдется не дешево, — продолжал он, в то время как ему надевали ручные кандалы. — Уж они доставят себе удовольствие — помытарят меня по тюрьмам. Если бы меня сейчас же сослали на каторгу, я вскоре вернулся бы к своим обычным занятиям, несмотря на ваших разинь с Орфеврской набережной, Каторжане все полезут к черту в пекло, лишь бы дать улизнуть своему

генералу, славному Надуй Смерть! Найдется ли среди вас хоть один, за которого десять тысяч братьев готовы были бы в огонь и в воду. Тут есть кое-что хорошее, — и он ударил себя в грудь. — Я никогда никого не предавал! Посмотри на них, карга, — обратился он к старой деве. — На меня они глядят с ужасом, а ты возбуждаешь в них отвращение. Получай по заслугам.

Он помолчал, обводя взором столовников.

— Вот дураки! Ну, что рты разинули? Никогда не видали каторжника, что ли? Каторжник такого закала, как Колен, стоящий здесь перед вами, менее подл, чем другие, он протестует против глубоких извращений общественного договора, как сказал Жан-Жак Руссо; я горжусь тем, что являюсь его учеником. Ведь я в одиночку борюсь против правительства со всеми его судами, жандармами, бюджетами и надуваю их.

— Черт возьми! — вырвалось у художника. — Он так и просится на картину.

— Скажи, наперсник монсиньора палача, управитель Вдовушки (это прозвище, исполненное жуткой поэзии, дали каторжники гильотине), — прибавил Колен, оборачиваясь к начальнику сыскной полиции, — сделай милость, скажи, ведь меня продал Шелковинка?! Я не хочу, чтобы

он расплачивался за другого, это было бы несправедливо.

В это мгновение агенты, все у Колена вскрывшие и описавшие, вернулись и стали перешептываться с руководителем облавы. Протокол был закончен.

— Господа, — сказал Колен, обращаясь к столовникам, — меня сейчас уведут. Все вы были очень любезны со мной во время моего пребывания здесь, буду помнить об этом с благодарностью. Прощайте. С вашего разрешения пришлю вам фиг из Прованса. — Он пошел было, потом остановился и взглянул на Растиньяка. — Прощай, Эжен, — проговорил он мягким и печальным голосом, составлявшим странный контраст с резким тоном его речей. — Если у тебя в кармане будет пусто, не забывай, что я оставил тебе преданного друга. Несмотря на кандалы, Колен стал в позицию, скомандовал, как учитель фехтования: «Раз, два!» — и сделал шаг вперед.

— Если стрясется беда, обращайся по этому адресу. И сам он, и его кошелек в полном твоем распоряжении.

Необыкновенный персонаж этот так паясничал, произнеся последние слова, что смысл их остался темен для всех, кроме него самого и Расти-

ньяка. Когда жандармы, солдаты и полицейские агенты ушли, Сильвия, натиравшая уксусом виски своей хозяйке, поглядела на изумленных жильцов и сказала:

— А все-таки хороший он был человек!

Эта фраза разрушила оцепенение, которым сковал всех наплыв разнородных чувств, вызванных этой сценой. Тогда столовники, переглянувшись друг с другом, разом устремили взоры на мадемуазель Мишоно, тощую, иссохшую и холодную, как мумия; она прислонилась к печке, съежившись и потупив глаза, как будто боялась, что тень от козырька не скроет выражения ее взгляда. Вдруг стало ясно, что представляет собой эта особа, давно уже всем неприятная. Раздался глухой единодушный ропот, выражавший общее омерзение. Мишоно услыхала его, но не двинулась с места. Бьяншон первый нагнулся к соседу и сказал вполголоса:

— Я сбегу, если эта девица будет по-прежнему обедать с нами.

Вмиг все, кроме Пуаре, присоединились к требованию медика, а он, ободренный всеобщим согласием, подошел к старому жильцу.

— Вы близки с мадемуазель Мишоно, — сказал он Пуаре, — переговорите с ней, разъясните ей,

что она должна убраться сию же минуту.

— Сию же минуту? — повторил Пуаре, опешив. Потом он подошел к старухе и шепнул ей что-то.

— Но я заплатила вперед, я живу здесь за свои денежки, как и все прочие, — сказала она, окидывая столовников ехидным взглядом.

— Ваши деньги не пропадут! Мы сложимся и вернем вам их, — промолвил Растиньяк.

— Господин Растиньяк заодно с Коленом, — ответила Мишоно, бросая на студента ядовито-вопросительный взгляд, — нетрудно догадаться почему.

При этих словах Эжен подскочил, словно собираясь ринуться на старую деву и задушить ее. Взгляд Мишоно, коварство которого он постиг, пролил ужасающий свет в его душу.

— Не связывайтесь с ней! — вскричали пансионеры.

Растиньяк скрестил руки и ничего не ответил.

— Покончим с мадемуазель Иудой, — сказал художник, обращаясь к госпоже Воке. — Сударыня, ежели вы не выставите Мишоно, мы все уйдем из вашей лачуги и разблаговестим везде, что здесь живут одни шпионы и каторжники. В противном случае все мы будем молчать; в конце концов, это может случиться и в самом лучшем обществе,

пока не станут клеймить каторжникам лоб и не запретят им прикидываться парижскими буржуа и корчить из себя безобидных шутников.

Услышав это, госпожа Воке очнулась, точно по мановению волшебного жезла, встала, скрестила руки на груди, открыла свои светлые глаза, в которых не было и следа слез.

— Помилуйте, дорогой мой, значит, вы хотите меня разорить? Вот и господин Вотрен… О, господи! — перебила она себя. — Все забываю, что у этого каторжника другое имя! Так вот, — продолжала она, — одна комната пустует, а вы хотите, чтобы мне пришлось сдавать еще две в такую пору, когда у всех уже есть угол.

— Господа, берите шляпы и пойдемте обедать в «Фликото», на Сорбоннскую площадь, — сказал Бьяншон.

Госпожа Воке вмиг подсчитала, что ей выгоднее, и кинулась к мадемуазель Мишоно.

— Дорогая моя, ненаглядная, ведь вы же не хотите, чтобы мое заведение пошло прахом, нет? Вы же видите, эти господа приперли меня к стене; так уйдите в свою комнату на этот вечер.

— Совсем, совсем пусть убирается, — закричали столовники, — мы хотим, чтоб она выехала сию же минуту.

— Но ведь бедная барышня не обедала, — жалобно протянул Пуаре.

— Пусть обедает где хочет! — воскликнуло несколько голосов разом.

— Вон, шпионка!

— Вон, шпионы!

— Господа, — вскричал Пуаре, вдруг возвышаясь до храбрости, которую любовь придает даже баранам, — уважайте особу слабого пола.

— У шпионов нет пола, — изрек художник.

— Пресловутый полорама!

— Вон!

— Господа! Это неприлично. Даже выпроваживая людей, надо соблюдать благопристойность. Мы заплатили, мы не уйдем, — сказал Пуаре, надевая фуражку и садясь на стул подле Мишоно, которую урезонивала госпожа Воке.

— Злодей, — произнес художник с комическим пафосом, — вот злодей!

— Ну, коли вы не уходите, уйдем мы, — промолвил Бьяншон.

И столовники гурьбой двинулись к гостиной.

— Чего же вы хотите еще, мадемуазель? — завопила госпожа Воке. — Я разорена. Вам нельзя оставаться, они силой выпроводят вас.

Мишоно поднялась с места.

— Уйдет!

— Не уйдет!

— Уйдет!

— Не уйдет!

Эти чередовавшиеся восклицания и прорывавшаяся в речах пансионеров враждебность принудили Мишоно уйти, после того как она тихо переговорила с хозяйкой об условиях.

— Я переезжаю к госпоже Бюно, — объявила она угрожающе.

— Куда вам будет угодно, мадемуазель, — ответила госпожа Воке, жестоко оскорбленная тем, что Мишоно выбрала пансион, ненавистный вдове потому, что был ей конкурентом. — Переезжайте к Бюно, она будет поить вас кислым вином и кормить отбросами.

Пансионеры в глубочайшем молчании выстроились в две шеренги.

Пуаре так нежно поглядывал на Мишоно, проявлял такую наивную нерешительность, не зная, последовать ли за нею или остаться, что пансионеры, обрадованные предстоящим уходом Мишоно, переглянувшись, расхохотались.

— Кис, кис, кис, Пуаре! — крикнул художник. — Шагом марш! Гоп-ля! Гоп-ля!

Музейный служащий запел со смешными ин-

тонациями начало, известного романса:

Как в Сирию поехал

Красив и юн Дюнуа…

— Идите же, идите, — ведь вам до смерти хочется: trahit sua quemque voluptas[15], — сказал Бьяншон.

— Каждый следует за своей любезной — вольный перевод из Вергилия, — вставил репетитор.

Мишоно взглянула на Пуаре и сделала движение, как бы желая взять его под руку. Он не смог устоять против этого призыва и предложил руку старой деве. Раздались аплодисменты, все смеялись до упаду.

— Браво, Пуаре!

— Старикашка Пуаре!

— Аполлон Пуаре!

— Марс Пуаре!

— Храбрец Пуаре!

В это мгновение вошел посыльный и подал госпоже Воке письмо. Прочтя его, она в изнеможении упала на стул.

— Мне остается только сжечь свой дом, гром его порази! В три часа сын Тайфера умер! Я наказана

---

[15] Примечания: 15

Страсть каждого выдает (лат.).

поделом за то, что пожелала этим дамам счастья в ущерб бедному человеку. Они требуют свои вещи и остаются жить у отца Викторины. Господин Тайфер разрешил дочери оставить у себя вдову Кутюр в качестве компаньонки. Четыре пустых комнаты, пятью пансионерами меньше!

Госпожа Воке чуть не плакала.

— Горе постигло меня! — воскликнула она.

На улице вдруг загремел экипаж и остановился у подъезда.

— Еще какая-нибудь напасть! — сказала Сильвия.

Внезапно появился Горио с преображенной, сиявшей счастьем физиономией; можно было подумать, что он переродился.

— Горио в фиакре? — говорили пансионеры. — Не иначе как светопреставление начинается!

Старик направился прямо к Эжену, который задумчиво стоял в углу, и взял его под руку.

— Едем! — сказал он радостно.

— Разве вы не знаете, что случилось? — спросил Эжен. — Вотрен оказался каторжником; его сейчас арестовали, а сын Тайфера умер.

— А нам что до этого? — ответил папаша Горио. — Я обедаю с дочерью, понимаете? Она вас ждет, едем! Горио потащил Растиньяка под ру-

ку с такой силой, что тот волей-неволей пошел вслед за ним; старик похищал его, словно возлюбленную.

— Обедать! — крикнул художник.

Тут все придвинули стулья и сели за стол.

— Этого еще недоставало, — возгласила толстуха Сильвия. — Сегодня такой уже несчастный день: сделала к баранине гарнир из бобов, а они подгорели. Ну что ж! Кушайте подгорелые, ничего не поделаешь!

Госпожа Воке молчала, как убитая, видя за столом лишь десять человек вместо восемнадцати; но каждый старался утешить и развеселить ее. Столовники сначала беседовали о Вотрене и событиях дня, а вскоре, следуя прихотливому течению разговора, перешли на дуэли, каторгу, суды, плохие законы, тюрьмы. Потом они очутились за тысячу лье от Жака Колена, Викторины и ее брата. Хотя их было только десять человек, они кричали за двадцать, и общество казалось многолюднее обычного; к этому сводилась вся разница между сегодняшним обедом и вчерашним. Обычная беззаботность эгоистического мирка, который завтра, несомненно, обретет в повседневной парижской жизни новую жертву, взяла верх, и даже госпожа Воке несколько успо-

коилась, ободренная толстухой Сильвией.

Этот день до самого вечера был какой-то сплошной фантасмагорией. Несмотря на силу характера и ясность ума, очутившись в фиакре подле папаши Горио, Эжен чувствовал, что мысли его путаются; речи старика выдавали необычайную радость и после стольких волнений звучали в ушах студента, словно сквозь сон.

— С сегодняшнего утра — конец мучениям! Мы обедаем втроем, все вместе, вместе! Понимаете? Вот уже четыре года, как я не обедал с Дельфиной, с моей Дельфиночкой! Весь вечер она будет моей. Нынче мы с самого утра в вашей квартире. Я работал, как поденщик, засучив рукава. Помогал таскать мебель. О! Вы не знаете, как мила она за столом; она будет ухаживать за мной: «Скушайте вот этот кусочек, папочка; очень вкусно!» Когда она говорит так, я не в состоянии есть. О; Как мне с ней спокойно сейчас!

— Сегодня весь свет перевернулся! — сказал Эжен.

— Перевернулся? — спросил папаша Горио. — По-моему, никогда еще не было так хорошо на свете. На улицах я вижу только веселые лица, людей, которые пожимают друг другу руки и обнимаются, счастливых людей, как будто все

они идут обедать к моей дочери, отведать у нее недурненький обед, который она при мне заказала метрдотелю Английского кафе. Впрочем, когда находишься около нее, и полынь покажется слаще меда.

«Я словно возвращаюсь к жизни», — подумал Эжен.

— Ну, пошевеливайтесь же, извозчик! — крикнул папаша Горио, приоткрывая переднее оконце. — Поезжайте скорее! Я дам вам пять франков на чай, если вы доставите нас на место в десять минут.

После такого посула извозчик понесся с быстротой молнии.

— Этот извозчик еле тащится, — повторял папаша Горио.

— Но куда же вы меня везете? — спросил Эжен.

— К вам, — ответил папаша Горио.

Экипаж остановился на улице д'Артуа. Горио соскочил первый и бросил извозчику десять франков с расточительностью вдовца, в порыве увлечения не жалеющего ничего.

— Идемте наверх, — сказал он Растиньяку, проведя его через двор к дверям квартиры, расположенной в четвертом этаже, с заднего фасада прекрасного нового дома.

Папаше Горио не пришлось звонить; Тереза, горничная госпожи де Нусинген, отворила им дверь. Эжен очутился в прелестной холостяцкой квартире, состоявшей из передней, маленькой гостиной, спальни и кабинета, выходившего окнами в сад, В гостиной, обстановка и убранство которой выдержали бы сравнение со всем самым красивым и изящным, Растиньяк увидел при свете свечей Дельфину; она поднялась с диванчика, стоявшего у камина, поставила на камин экран и сказала голосом, выражавшим глубокую нежность:

— Значит, за вами пришлось послать, недогадливый!

Тереза вышла. Эжен горячо сжал Дельфину в объятиях и заплакал от радости. Контраст между тем, что он только что видел, и тем, что видит теперь, завершил длинный ряд переживаний этого дня, измучивших его сердце и ум, и, в конце концов, Растиньяк разнервничался.

— Я знал, что он тебя любит! — шепнул дочери папаша Горио, в то время как Эжен в полном изнеможении неподвижно лежал на диванчике, не будучи в состоянии произнести ни слова и не ощущая этого последнего удара волшебного жезла.

— Но пойдемте посмотрим, — сказала госпожа де Нусинген, беря студента за руку и вводя его в комнату, где ковры, мебель, мельчайшие детали обстановки напомнили ему комнату Дельфины уменьшенных размеров.

— Недостает кровати, — сказал Растиньяк.

— Да, сударь, — промолвила она, краснея и пожимая ему руку.

Эжен посмотрел на нее и понял, сколько неподдельной стыдливости таится в душе любящей женщины.

— Вы одно из тех созданий, которых нельзя не обожать всю жизнь, — шепнул он ей. — Да, я решаюсь сказать вам это, так как мы прекрасно понимаем друг друга: чем горячее и искреннее любовь, тем дальше от посторонних взоров, тем сокровеннее должна быть она. Мы никому не откроем нашей тайны.

— А я в счет не иду! — проворчал папаша Горио.

— Вы прекрасно знаете, что вы и мы — одно и то же…

— Вот этого только я и желал. Вы не будете обращать на меня внимания, не правда ли? Я буду уходить и появляться, как добрый вездесущий дух, о котором знают, что он тут, но не видят его.

Ну, что ж, Дельфиночка, Финочка, Деделечка! Не прав ли я был, говоря тебе: «На улице д'Артуа есть хорошенькая квартирка; обставим ее для него!» Ты упрямилась. О! Не кто иной, как я, виновник твоей радости, так же, как я виновник дней твоих. Отцы должны всегда дарить, чтобы быть счастливыми. Всегда дарить — это и значит быть отцом.

— Что вы имеете в виду? — спросил Эжен.

— Да она не хотела, она боялась, что начнут болтать всякие глупости, как будто счастье не дороже мнения света! Однако все женщины мечтают о том же.

Папаша Горио говорил сам с собой; госпожа де Нусинген увела Растиньяка в кабинет, откуда донесся чуть слышный звук поцелуя. Комната эта по изяществу вся равнялась остальной квартире, в которой не была упущена ни одна мелочь.

— Ну, что ж, угадали мы ваши желания? — спросила она, возвращаясь в гостиную и садясь за стол.

— Да, — сказал он, — даже слишком. Увы! Я живо чувствую полноту этой роскоши, осуществление прекраснейших мечтаний, всю поэзию молодой, изящной жизни; я высоко ценю их и постараюсь их заслужить. Но я не могу принять

это от вас, а в то же время я еще слишком беден, чтобы…

— А-а! Вы уже перечите мне, — сказала она шутливым и властным тоном с милой гримаской, какую делают женщины, когда подтрунивают над чьим-либо сомнением, чтобы тем легче его рассеять.

Эжен подверг себя в течение этого дня такому торжественному допросу перед судилищем своей совести, и арест Вотрена, обнаруживший, в какую глубокую пропасть он чуть было не скатился, настолько укрепил в юноше чувство чести и щепетильность, что он не поддался этому ласковому опровержению его благородных мыслей. Глубокая грусть охватила его.

— Как! — воскликнула госпожа де Нусинген. — Вы отказываетесь? Знаете ли вы, что означает подобный отказ? Вы сомневаетесь в будущем, вы не осмеливаетесь связать себя со мной. Значит, вы боитесь мне изменить? Если вы любите меня, если я… вас люблю, почему отказываетесь вы принять столь ничтожное одолжение? Если бы вы знали, с каким удовольствием занималась я устройством всей этой холостяцкой обстановки, то не колебались бы и попросили бы у меня прощения. У меня были ваши деньги, я нашла

им хорошее употребление, вот и все. Вы думаете, что проявляете благородство чувств, а между тем это мелочность. Вы требуете гораздо большего… (Ах! — сказала она, уловив страстный взгляд Эжена), а сами церемонитесь из-за пустяков. Вот если вы меня не любите, тогда — да, откажитесь. Моя судьба зависит от одного вашего слова. Говорите!

Она помолчала, а затем прибавила, обращаясь к отцу:

— Батюшка! Образумьте же его. Неужели он думает, что я менее его щепетильна в вопросах чести?

На лице папаши Горио застыла блаженная улыбка, в то время как он смотрел и слушал эту милую ссору. — Дитя! Вы находитесь на пороге жизни, — продолжала ока, хватая руку Эжена, — перед вами преграда, непреодолимая для многих; рука женщины устраняет ее, а вы пятитесь назад! Но вы преуспеете в жизни, вы вознесетесь на вершины богатства, успех начертан на вашем прекрасном челе. Разве вы не сможете вернуть мне тогда то, что я вам даго теперь в долг? Разве в старину дамы не дарили своим рыцарям доспехи, мечи, шлемы, кольчуги, коней, чтобы те могли сражаться на турнирах в их честь? Так слушайте

же, Эжен; то, что я предлагаю вам, это оружие нашего времени, оно необходимо тому, кто не хочет быть ничтожеством. Хорош, должно быть, ваш чердак, если он похож на комнату папеньки! Но почему же мы не обедаем? Вы хотите огорчить меня? Отвечайте же! — сказала она, тряся его руку. — Боже мой! Папа, уломай же его, или я уйду, и он никогда меня больше не увидит!

— Я сейчас вас уговорю, — сказал папаша Горио, выходя из состояния экстаза. — Дорогой господин Эжен, вы ведь занимаете деньги у евреев, да?

— Приходится, — отвечал студент.

— Хорошо! Вот вы и попались, — продолжал добряк, вытаскивая прескверный, потрепанный кожаный бумажник. — Я превратился в еврея и уплатил по всем счетам, вот они. Вы не должны ни сантима за все то, что находится здесь. Это стоило не так уж дорого, самое большее — пять тысяч франков. Я даю вам их взаймы! У меня-то вы не откажетесь взять, я не женщина. Вы дадите мне расписочку на клочке бумаги и со временем вернете мне деньги.

Эжен и Дельфина переглянулись в изумлении; у обоих из глаз покатились слезы. Растиньяк протянул руку старику и крепко пожал ее.

— Что же тут особенного? Разве вы мне не де-

ти? — сказал Горио.

— Но как же вы это устроили, милый папочка? — спросила госпожа де Нусинген.

— А вот слушайте, — ответил он. — Когда я убедил тебя поселить его поближе и увидел, что ты покупаешь всякую всячину, словно для новобрачной, то подумал: «Ей придется туго!» Поверенный утверждает, что процесс с бароном о возврате твоего состояния продлится более полугода. Вот я и продал свою вечную ренту в тысячу триста пятьдесят ливров; пятнадцать тысяч франков превратил в тысячу двести франков обеспеченной залогом пожизненной ренты, а остатком капитала расплатился за ваши покупки, детки мои. Я нанимаю этажом выше комнату за пятьдесят экю в год, могу жить принцем на сорок су в день, и у меня останется еще кое-что. Я почти не нуждаюсь в одежде: она у меня не изнашивается. Вот уже две недели, как я улыбаюсь втихомолку, думая: «А они будут счастливы!» Ну, что ж, разве вы не счастливы?

— О, папочка! Папочка! — проговорила госпожа де Нусинген, бросаясь к отцу; тот усадил ее к себе на колени.

Она осыпала его поцелуями, ее золотистые локоны ласкали его щеки, ее слезы оросили рас-

цветшее, сияющее лицо старика.

— Дорогой папочка, вы настоящий отец! Другого такого нет во всем мире. Эжен и без того очень любил вас, что же будет теперь?

— Довольно, детка, — сказал папаша Горио, уже десять лет не ощущавший биения сердца дочери у своей груди, — довольно, Дельфиночка, а то я умру от радости! Сердце мое не выдержит. Ну, господин Эжен, мы с вами уже квиты!

И старик с таким диким неистовством сжал дочь в объятиях, что у той вырвалось:

— Ах! Мне больно!

— Я причинил тебе боль! — сказал он, бледнея.

Горио смотрел на дочь с выражением нечеловеческого страдания. Чтобы верно изобразить лицо этого Христа отцовской любви, пришлось бы искать сравнений в образах, созданных величайшими мастерами палитры для изображения мук, которые претерпел для блага мира спаситель человечества. Папаша Горио, едва касаясь губами, поцеловал дочь в талию, которую его пальцы сжали слишком сильно.

— Ну, нет, я не сделал тебе больно? — продолжал он, вопрошая дочь с улыбкой. — Ты сама причинила мне боль своим криком. Обстановка стоит дороже, — шепнул он дочери, осторожно

целуя ее, — но надо его надуть, а то он рассердится.

Эжен застыл от изумления при виде неиссякаемой самоотверженности этого человека и наблюдал за ним с выражением наивного восторга, граничащего в юном возрасте с верой.

— Я буду достоин всего этого! — воскликнул он.

— Как прекрасны ваши слова, о, мой Эжен!

И госпожа де Нусинген поцеловала студента в лоб.

— Ради тебя он отказался от мадемуазель Тайфер и ее миллионов, — сказал папаша Горио. — Да, эта девочка любит вас; а после смерти брата она стала богата, как Крез.

— Ах, к чему говорить об этом? — вскричал Растиньяк.

— Эжен, — шепнула Дельфина, — это омрачает мне сегодняшний вечер. О, я буду горячо любить вас, буду любить всегда.

— Вот самый счастливый для меня день со времени замужества дочерей! — воскликнул папаша Горио. — Пусть господь бог ниспошлет мне какие угодно страдания, только бы не вы были причиной их, и я буду думать: «В феврале этого года в течение одного мгновения я испытал

больше счастья, чем его выпадает на долю других людей в продолжение всей их жизни». Посмотри на меня, Фифиночка, — сказал он дочери. — Ну, не красавица ли она? Скажите, много ли вы встречали женщин с таким прекрасным цветом лица и с такими ямочками на щеках? Немного, не правда ли? А ведь этого Купидона в образе женщины создал я. Теперь, когда благодаря вам она обретет счастье, она станет в тысячу раз краше. Я готов пойти в ад, соседушка, коли вам нужно мое место в раю; я отдаю его вам. Пора кушать, пора кушать! — прибавил он, сам уже не зная, что говорит, — здесь все наше.

— Милый папочка!

— Если бы ты знала, дитя мое, сколько счастья можешь ты дать мне без всякого труда! — С этими словами Горио встал, подошел к дочери, обхватил ее голову руками и поцеловал в косы. — Загляды-вай иногда ко мне наверх; я буду в двух шагах от тебя. Обещаешь мне это, да?

— Да, дорогой отец.

— Повтори еще раз.

— Да, мой милый отец.

— Замолчи, а то заставлю тебя повторять это сотни раз. Давайте обедать.

Весь вечер они забавлялись, как дети, и папаша

Горио дурачился не меньше других. Он ложился у ног дочери и целовал их; подолгу глядел ей в глаза; терся головой об ее платье, словом, безумствовал, точно юный, нежный любовник.

— Видите, — сказала Дельфина Эжену, — когда отец с нами, приходится думать только о нем. А это иногда будет очень стеснять.

Эжен, в котором уже неоднократно пробуждалась ревность к старику, не мог осуждать Дельфину за эти слова, заключавшие источник всякой неблагодарности.

— Когда же квартира будет готова? — спросил Эжен, оглядывая комнату. — Значит, сегодня вечером нам придется расстаться?

— Да, но завтра вы обедаете у меня, — сказала Дельфина многозначительно. — Завтра Итальянская опера.

— Я возьму место в партере! — промолвил папаша Горио.

Была полночь. Карета госпожи де Нусинген ждала у подъезда. Папаша Горио и студент вернулись в Дом Воке, с возраставшим восторгом беседуя дорогой о Дельфине; между двумя этими бурными страстями происходило любопытное состязание в яркости выражений. Эжен не мог не чувствовать, что бескорыстная любовь отца

постоянством и беспредельностью превосходит его собственную. Кумир был неизменно чист и прекрасен в глазах Горио; его отцовское обожание черпало силу и в прошлом и в будущем. Дома они застали госпожу Воке у печки в обществе Сильвии и Кристофа. Старая хозяйка сидела, как Марий на развалинах Карфагена. Она поджидала двух последних оставшихся у нее жильцов, охая и вздыхая вместе с Сильвией. Как ни красноречивы сетования, вложенные лордом Байроном в уста Тассо, им далеко до неподдельной искренности причитаний госпожи Воке.

— Значит, завтра надо будет приготовить только три чашки кофея, Сильвия! Дом мой опустел; сердце разрывается на части! Что для меня жизнь без жильцов? Ничто. Дом Воке обезлюдел. А в людях весь смысл жизни. Чем я прогневала господа, что он наслал на меня все эти беды? Фасоли и картофеля у нас запасено на двадцать человек. В моем доме полиция! Нам придется есть только картошку! Я уволю Кристофа!

Дремавший савояр вдруг проснулся и спросил:

— Чего изволите, сударыня?

— Бедный малый! Он верен, как пес, — сказала Сильвия.

— Время глухое! У каждого уже есть угол! Где

я возьму жильцов? В голове моей мутится! Эта ведьма Мишоно отбила у меня Пуаре. Чем она его привязала к себе? Он ходит за ней по пятам, как собачонка!

— О, что ни говорите, старые девы — проныры, — заметила Сильвия, покачивая головой.

— По-ихнему выходит, что милый господин Вотрен каторжник! — продолжала вдова. — Ах, Сильвия! У меня ум за разум заходит, я все еще не верю этому. Такой весельчак, и кофея с ромом пил на пятнадцать франков в месяц, и никогда не оставался должен ни сантима!

— И был щедр! — сказал Кристоф.

— Тут ошибка, — заметила Сильвия.

— Да нет, он сам сознался, — возразила госпожа Воке. — И сказать только, что все это произошло в моем доме, в квартире, где тишь да гладь! Право, все это мне приснилось. Правда и то, что мы видели, как с Луи XVI случилась неприятность, видели падение императора, видели возвращение его и вторичное падение — все это в порядке вещей; но с пансионами таких превратностей не бывает: без короля можно обойтись, а без еды нельзя, и когда честная женщина, урожденная де Конфлан, отпускает такие хорошие обеды, тогда… разве что начинается светопреставление… Да, да,

это светопреставление!

— И подумать только, что Мишоно, из-за которой вы терпите такие убытки, по слухам, получит тысячу экю ренты! — воскликнула Сильвия.

— Не говори со мной об этой злодейке! — сказала госпожа Воке. — И в довершение всего она переехала к Бюно! Да она на все способна, она, наверное, в свое время творила всякие ужасы, убивала, воровала! На каторгу вместо этого бедняги следовало бы отправить ее...

В эту минуту позвонили Эжен и папаша Горио.

— Ах! Вот мои верные жильцы, — промолвила вдова, вздыхая.

Двое верных жильцов, почти забывшие о бедах, постигших пансион, без церемоний объявили хозяйке, что переезжают на Шоссе д'Антен.

— Ну, Сильвия, — сказала вдова, — последняя моя карта бита. Вы нанесли мне смертельный удар, господа! Прямо в живот! Этот день состарил меня на десять лет! Я с ума сойду, честное слово! Что делать с фасолью? Коли я останусь здесь одна, то завтра же уволю тебя, Кристоф! Прощайте, господа, спокойной ночи!

— Что это с ней? — спросил Эжен Сильвию.

— Как что? Все разбежались из-за этой истории.

В голове у нее помутилось. Да она плачет — слышите? Теперь ей полегчает! С тех пор, как я у нее служу, она разревелась впервой.

На другой день госпожа Воке, по ее собственному выражению, «взялась за ум». Она была расстроена, как подобает женщине, потерявшей всех своих жильцов, жизнь которой перевернулась вверх дном, но была в здравом уме и являла собой пример истинного горя, горя глубокого, причиненного нарушением материальных интересов, ломкой привычек. Госпожа Воке взирала на свой опустевший стол с не меньшей грустью, чем смотрит любовник, покидая места, где обитала его возлюбленная. Эжен сказал ей в утешение, что Бьяншон, срок пребывания которого в интернате госпиталя кончается на днях, несомненно, будет его преемником; что музейный служащий часто выражал желание занять квартиру госпожи Кутюр и что через несколько дней Дом Воке будет по-прежнему полон.

— Дай бог, чтобы было по-вашему, дорогой господин Растиньяк, но беда вошла ко мне в дом. Не пройдет и десяти дней, как смерть наведается сюда, вот увидите, — сказала она, обводя мрачным взором столовую. — Кого-то унесет она?

— Поскорей бы нам перебраться, — шепнул

Эжен папаше Горио.

Тут вбежала перепуганная Сильвия:

— Барыня, вот уже три дня, как я не вижу Мистигри.

— Ну, коли мой кот издох, коли он убежал, тогда я…

Бедная вдова не договорила. Она сложила руки и опрокинулась на спинку кресла, подавленная этим страшным предзнаменованием.

Около полудня, когда в квартал Пантеона приходят почтальоны, Эжен получил письмо в изящном конверте, с гербовой печатью де Босеан. То было приглашение виконтессы, адресованное господину и госпоже де Нусинген, на большой бал, о котором было объявлено с месяц тому назад. К приглашению была приложена записочка Эжену:

«Полагаю, сударь, что вы с удовольствием возьмете на себя труд передать мой привет госпоже де Нусинген; посылаю вам приглашение, о котором вы меня просили, и буду чрезвычайно рада познакомиться с сестрой госпожи де Ресто. Привезите ко мне эту красавицу, но не позволяйте ей завладеть всеми вашими симпатиями, я имею право на значительную долю их в награду за свое расположение к вам.

Виконтесса де Босеан».

«Однако, — подумал Эжен, перечитывая записку, — госпожа де Босеан достаточно ясно дает мне понять, что она не хочет видеть у себя барона де Нусингена».

Растиньяк поспешил к Дельфине в восторге от того, что может порадовать ее и, конечно, будет за это вознагражден. Госпожа де Нусинген принимала ванну. Эжен ждал ее в будуаре с нетерпением, свойственным пылкому молодому человеку, который стремится обладать любимой женщиной, целых два года бывшей предметом его желаний. Такого рода волнения не повторяются в жизни молодых людей. Первая

женщина, к которой привязывается молодой человек, женщина достойная этого имени, то есть предстающая перед ним в блеске того окружения, какого требует парижское общество, никогда не знает соперниц. Любовь в Париже нисколько не похожа на любовь в других местах. Здесь ни мужчин, ни женщин нельзя обмануть изящными банальностями, которыми каждый из приличия прикрывает свои, будто бы бескорыстные привязанности. В Париже женщина должна удовлетворять не только сердце и чувственность, ей прекрасно известно, что ее главная обязанность — тешить бесчисленные капризы тщеславия, из которых соткана жизнь. В этом городе более чем где-либо любовь хвастлива, бесстыдна, расточительна, лжива и чванна. Если все придворные дамы Луи XIV завидовали мадемуазель де Лавальер, внушившей такую страсть этому великому монарху, что он, желая облегчить появление на свет герцога де Вермандуа, разорвал свои кружевные манжеты, каждая из которых — он забыл об этом — стоила тысячу экю, то чего же требовать от остального человечества? Будьте молоды, богаты и титулованы, вознеситесь еще выше, если можете; чем больше фимиамов воскурите вы перед кумиром, тем благосклоннее он

будет к вам, если только у вас есть кумир. Любовь — религия, и культ ее обходится дороже всякого другого религиозного культа; она мимолетна и, как уличный мальчишка, отмечает свой путь опустошениями. Роскошь чувства — это поэзия чердаков; без богатства чувств что сталось бы там с любовью? Исключения из этих драконовских законов парижского кодекса встречаются лишь в уединении, у душ, не позволивших господствующим воззрениям увлечь себя, обитающих у какого-нибудь источника с чистыми, быстро текущими, но неиссякаемыми струями; у душ, верных своей зеленой семи, с радостью внемлющих говору бесконечности, звучащему для них во всем; его отголоски они находят в самих себе и терпеливо ждут, когда развернутся их крылья, сожалея о том, кто прикован к земле. Но Растиньяк, подобно большинству молодых людей, уже предвкусивших взлет на вершины успеха, хотел появиться на светской сцене во всеоружии; его захватила лихорадка борьбы, и он, быть может, чувствовал в себе силу покорить свет, но не знал ни путей, ни цели своих честолюбивых стремлений. Когда нет чистой и священной любви, наполняющей жизнь, то и эта жажда власти может стать чем-то прекрасным; для этого доста-

точно отрешиться от всякой личной корысти и поставить себе целью величие страны. Но Эжен не достиг еще той грани, откуда человек может наблюдать течение жизни и судить о ней. Он не совсем еще освободился от очарования свежих и пленительных помыслов, осеняющих, словно листва, юных сынов провинции. Он все еще не дерзал перейти парижский Рубикон. Несмотря на горячую жажду неизведанного, Растиньяк продолжал хранить в тайниках души мечту о счастливой жизни, какую ведет в своем поместье настоящий дворянин. Однако последние его колебания исчезли вчера, когда он очутился в своей квартире. Наслаждаясь материальными преимуществами богатства, подобно тому, как он давно уже наслаждался преимуществами происхождения, Эжен сбросил с себя обличье провинциала и незаметно освоился с положением, открывавшим блестящие перспективы. И, развалясь в ожидании Дельфины s этом красивом будуаре, становившемся отчасти и его собственным, он чувствовал себя таким далеким от Растиньяка, прибывшего в прошлом году в Париж, что, разглядывая того в бинокль, созданный духовной оптикой, задавался вопросом, похож ли он теперь на самого себя.

— Барыня у себя в комнате, — доложила Тереза, и Эжен вздрогнул при звуке ее голоса.

Дельфина полулежала на диванчике у камина, свежая и бодрая. Видя эту женщину утопающей в волнах муслина, нельзя было не сравнить ее с прекрасным индийским растением, цветок которого таит в себе плод.

— Ну, вот мы и вместе! — оживленно произнесла она.

— Угадайте, что я вам принес! — сказал Эжен, усаживаясь подле и беря ее руку для поцелуя.

Прочтя приглашение, госпожа де Нусинген радостно встрепенулась. Влажными глазами посмотрела она на Эжена и обвила его шею руками, привлекая его к себе в порыве удовлетворенного тщеславия.

— И это вам (тебе, — шепнула она ему, — но Тереза здесь рядом, будем осторожны!), вам обязана я этим счастьем! Да, я осмеливаюсь назвать это счастьем! Раз вы его виновник, то это нечто большее, чем простое торжество самолюбия! Никто не хотел ввести меня в круг высшего света. Может быть, я покажусь вам сейчас мелочной, ветреной, пустой, как истая парижанка; но не забывайте, друг мой, что я готова всем пожертвовать для вас и что больше чем когда-либо хочу

попасть в Сен-Жерменское предместье потому лишь, что вы там.

— Не кажется ли вам, — сказал Эжен, — что госпожа де Босеан как будто дает нам понять, что не рассчитывает на присутствие на балу барона де Нусингена?

— Да, конечно, — подтвердила баронесса, возвращая письмо Эжену. — Женщины этого круга гениально бесцеремонны. Но все равно я поеду. Сестра моя, наверное, будет там, я знаю, что она готовит прелестный наряд. Эжен, — продолжала Дельфина вполголоса, — она едет туда, чтобы рассеять ужасные подозрения. Если бы вы только знали, какие о ней ходят слухи! Нусинген сказал мне сегодня утром, что вчера в клубе говорили об этом безо всякого стеснения. Боже! От чего зависит честь женщин и семей! Я оскорбилась за свою несчастную сестру. Некоторые утверждают, что господин де Трайль выдал на сто тысяч франков векселей; почти все они просрочены, их собираются опротестовать. В этом отчаянном положении моя сестра будто бы продала одному еврею свои бриллианты, те прекрасные бриллианты, фамильные драгоценности де Ресто, которые вы, вероятно, видели на ней. Словом, последние два дня в свете только об этом и говорят.

Я понимаю теперь, почему Анастази заказала затканное серебром платье и хочет привлечь всеобщее внимание на балу у госпожи де Босеан, появившись там во всем своем блеске и с бриллиантами. Но я не желаю уступать ей. Она всегда старалась меня затмить, никогда не проявляла дружеского отношения ко мне, несмотря на то, что я оказала ей столько услуг, всегда выручала ее, когда она сидела без денег... Но не будем говорить о свете! Сегодня я желаю отдаться счастью!

В час ночи Растиньяк еще находился у госпожи де Нусинген. Расточая любовные ласки при прощании, сулившем новые радости, она с грустью сказала:

— Я так пуглива, так суеверна — называйте мое предчувствие как угодно, — что боюсь, как бы не пришлось мне искупить свое счастье какой-нибудь страшной катастрофой.

— Дитя! — сказал Эжен.

— О, да! Сегодня я дитя, — ответила она, смеясь. Эжен вернулся в Дом Воке в полной уверенности, что завтра покинет его. Дорогой он предавался прекрасным мечтам, свойственным всем молодым людям, которые еще хранят на губах ощущение счастья.

— Ну что? — спросил папаша Горио, когда Ра-

стиньяк проходил мимо его двери.

— Ну, что ж... завтра я вам все расскажу, — ответил Эжен.

— Все, правда, все? — воскликнул старик. — Ложитесь спать. Завтра начнется для нас счастливая жизнь.

На другое утро Горио и Растиньяк с минуты на минуту ждали возчика, чтобы уехать из пансиона, как вдруг около полудня на улице Нев-Сент-Женевьев загремел экипаж и остановился у самого подъезда Дома Воке. Из кареты вышла госпожа де Нусинген и спросила, здесь ли еще ее отец. Получив от Сильвии утвердительный ответ, она проворно взбежала по лестнице. Эжен был у себя в комнате, но сосед его не знал этого. За завтраком студент попросил папашу Горио перевезти его вещи и условился встретиться с ним в четыре часа на улице д'Артуа. Но пока старик искал носильщиков, Эжен, отозвавшись на перекличке в университете, вернулся домой не замеченный никем, чтобы рассчитаться с госпожой Воке; он опасался, как бы Горио не взял это на себя и в своей фанатической преданности не уплатил за него. Хозяйки не было дома. Растиньяк поднялся к себе, чтобы посмотреть, не забыл ли он чего-нибудь, и был очень рад, что

ему пришла эта мысль: в ящике стола он увидел бланк векселя на имя Вотрена, который он беспечно бросил там в день уплаты долга. Печка не топилась, и студент собирался разорвать вексель на мелкие клочки, но, вдруг услышав голос Дельфины не захотел производить никакого шума и остановился, прислушиваясь к ее словам; он предполагал, что у нее не может быть от него никаких тайн. А разговор отца с дочерью с первых же слов оказался настолько интересным, что Эжен весь превратился в слух.

— Ах! Отец, — говорила она, — слава богу, что вы вовремя, пока я еще не разорена, задумали потребовать отчет относительно моего состояния! Здесь никто нас не услышит?

— Никто, все разошлись, — ответил папаша Горио изменившимся голосом.

— Что с вами, отец? — спросила госпожа де Нусинген.

— Ты словно обухом хватила меня по голове, — ответил старик. — Да простит тебя господь, дитя мое! Ты не знаешь, как я люблю тебя; если бы ты это знала, то не сказала бы этого так неожиданно, особенно если нет причины отчаиваться. Что случилось? Почему ты примчалась ко мне сюда, когда через несколько минут мы должны были

быть на улице д'Артуа?

— Отец, разве человек владеет собой, когда все рушится. Он следует первому побуждению. Я обезумела! Ваш поверенный заблаговременно открыл мне глаза на несчастье, которое, несомненно, разразится впоследствии. Ваша многолетняя коммерческая опытность очень пригодится нам, и я примчалась к вам, подобно тому, как утопающий хватается за соломинку. Когда господин Дервиль убедился, что Нусинген всеми правдами и неправдами уклоняется от отчета, то пригрозил ему процессом, заявив, что за разрешением со стороны председателя суда дело не станет. Утром Нусинген пришел ко мне и спросил, желаю ли я, чтобы мы оба разорились. Я ответила, что ровно ничего не понимаю во всем этом, что у меня было состояние, что я должна иметь право распоряжаться им и что по всякому вопросу, касающемуся этой тяжбы, надлежит обращаться к моему поверенному, я же ничего не смыслю в этом деле и не в состоянии ничего уразуметь. Ведь так вы советовали мне отвечать?

— Да, так, — ответил папаша Горио.

— Тогда, — продолжала Дельфина, — Нусинген посвятил меня в свои дела. Все капиталы, и свои и мои, он вложил в только что начатые пред-

приятия, и ему пришлось поместить крупные суммы за границей. Если я заставлю его вернуть мне приданое, он вынужден будет объявить себя несостоятельным, между тем как в случае моего согласия подождать год, он обязуется вернуть мне состояние удвоенным или утроенным, поместив мой капитал в земельные операции, по окончании которых я буду полной хозяйкой всего имущества. Он был искренен, дорогой батюшка, он напугал меня. Он просил прощения за все, что делал дурного, предоставил мне полную свободу, разрешил вести себя, как мне заблагорассудится, с условием, что я позволю ему распоряжаться от моего имени без всяких ограничений. Чтобы доказать свою добросовестность, он обещал мне всякий раз, как я пожелаю, приглашать господина Дервиля для проверки правильности актов, утверждающих меня во владении. Словом, Нусинген связал себя по рукам и ногам. Он просит меня в течение двух лет оставаться хозяйкой дома и умоляет не тратить на себя больше того, что он дает. Он доказал мне, что сделал все возможное для сохранения внешних приличий, что расстался с танцовщицей и принужден соблюдать самую строгую, но тщательно скрываемую экономию, чтобы достичь цели своих спекуляций,

не подрывая кредита. Я обошлась с ним сурово, выражала недоверие к его словам, чтобы довести его до крайности и узнать всю подноготную: он показал мне бухгалтерские книги и, наконец, расплакался. Я никогда не видела мужчины в таком состоянии. Он потерял голову, заговаривал о самоубийстве, был как в бреду. Мне стало жаль его.

— И ты веришь этим сказкам?! — воскликнул папаша Горио. — Он разыгрывает комедию. Мне приходилось вести дела с немцами: обычно они отличаются добросовестностью и чистосердечием, но когда они под личиной прямоты и добродушия принимаются хитрить и мошенничать, то любого вокруг пальца обведут. Твой муж надувает тебя. Его приперли к стене, вот он и прикидывается, что ему конец пришел, а на самом деле хочет, прикрываясь твоим именем, хозяйничать еще безраздельнее, чем раньше, когда он действовал от своего. Он думает воспользоваться этим обстоятельством, чтобы застраховать себя на случай неудачи. Он так же хитер, как и коварен, — дрянь человек. Нет, нет: я не согласен отправляться на Пер-Лашез, оставив дочерей без гроша. Я кое-что еще смыслю в делах. Он болтает, будто вложил капиталы в предприятия. Хорошо.

Тогда у него должны быть ценные бумаги, расписки, договоры! Пускай он покажет их и приведет в ясность расчеты с тобой. Мы выберем наилучшие спекуляции, попробуем в них счастья, в наших руках будут документы, подтверждающие права Дельфины Горио на владение имуществом отдельно от ее супруга барона де Нусингена. Да что он, за дураков нас принимает, что ли? Неужели он думает, что я могу хотя бы два дня прожить, зная, что ты разорена, осталась без куска хлеба? Мне и одного дня, одной ночи, двух часов не выдержать такой мысли! Если бы она оказалась верной, я не пережил бы этого. Как же так! Я сорок лет тянул лямку, таскал мешки на спине, потел всю жизнь, подвергал себя лишениям ради вас, ангелы мои; вы делали для меня легким всякий труд, всякое бремя, и вот теперь все мое богатство, вся жизнь должна пойти прахом! Да я умру от бешенства. Клянусь всем, что есть святого на земле и на небе, мы произведем ревизию, проверим бухгалтерские книги, кассовую наличность предприятия! Я не засну, не лягу, не стану есть до тех пор, пока мне не докажут, что все твое состояние цело. Слава богу, ты владеешь имуществом отдельно от мужа, к счастью, твой поверенный Дервиль — человек честный. Как бог свят, твой миллиончик

будет целехонек, ты до конца своих дней будешь получать пятьдесят тысяч ренты, а не то я подниму шум на весь Париж. Если мы проиграем дело в суде, я буду апеллировать в палату. Уверенность, что ты можешь не беспокоиться о деньгах, что в этом отношении у тебя все обстоит благополучно, облегчала все мои тяготы, утешала меня в горести. Деньги — это жизнь. Золото всесильно! Что там поет нам этот эльзасский чурбан? Дельфина, не уступай ни полушки этой толстой скотине; он держит тебя на привязи, ты несчастна. Коли он нуждается в тебе, мы его прижмем, он будет у нас как шелковый. О, боже! Голова у меня в огне; точно что-то жжет мозг. Дельфина на соломенном ложе! Моя Фифиночка, ты! Черт возьми! Где мои перчатки? Ну, идем, я хочу сию же минуту увидеть все — бухгалтерские книги, дела, кассу, корреспонденцию! Я не успокоюсь, пока мне не докажут, что твоему капиталу больше не грозит никакой опасности, пока я своими глазами его не увижу.

— Дорогой батюшка! Будьте осторожны! Если вы проявите хотя бы малейшее желание отомстить, если вы обнаружите слишком враждебные намерения, то я погибла. Он вас знает; он нашел вполне естественным, что я послушалась

вашего совета и забеспокоилась о своем состоянии; но, клянусь вам, он прибрал его к рукам и не хочет выпускать. Негодяй этот способен бежать со всеми капиталами и оставить нас ни с чем! Он хорошо знает, что я не стану преследовать его судом, не захочу обесчестить имя, которое ношу. Он в одно и то же время и силен и слаб. Я все взвесила. Если мы доведем его до крайности, я разорена.

— Так, значит, это просто жулик?

— Ну да, батюшка! — Она села и заплакала. — Я не хотела признаваться вам в этом: вы стали бы мучиться, что выдали меня замуж за такого негодяя. Его интимная жизнь и совесть, душа и тело — все в нем одно другого стоит! Это ужасно! Я ненавижу и презираю его. Да, я не могу больше уважать этого подлеца после всего того, что он сказал мне. Человек, способный пуститься в коммерческие операции, о которых он говорил, лишен всякой порядочности! Я читала в его душе, как в раскрытой книге, потому-то и возникли у меня опасения. Он, мой муж, без околичностей предложил мне полную свободу — понимаете, что это значит? — но с условием, что в случае провала предприятия я соглашусь быть орудием в его руках, короче говоря, служить ему подстав-

ным лицом!

— Найдется и на него управа! Для такого сорта зятьев существует Гревская площадь! — воскликнул папаша Горио. — Да я бы сам его гильотинировал, если бы не нашлось палача.

— Нет, батюшка, на него нет управы! Если освободить его речь от тумана, который он напустил, то вот в двух словах, что он сказал: «Либо все потеряно, и у вас нет ни гроша, вы разорены; ибо я не могу выбрать себе другого сообщника, кроме вас; либо вы дадите мне довести мои предприятия до благополучного конца». Ясно? Он никак не может обойтись без меня. Моя женская честность служит ему порукой; он знает, что я не польщусь на его состояние и удовольствуюсь своим собственным. Это бесчестная и воровская сделка, но я вынуждена на нее согласиться, иначе мне грозит разорение. Он покупает мою совесть и платит мне за это, позволяя быть женой Эжена. «Разрешаю тебе грешить, а ты не мешай мне совершать преступления, разорять бедняков». Разве это не ясно? Знаете, что барон называет коммерческими операциями? Он покупает на свое имя пустующие земельные участки и застраивает их, действуя через подставных лиц. Эти люди заключают соглашения на постройку

с подрядчиками, выдавая им долгосрочные векселя, затем за незначительную сумму уступают моему мужу право собственности на дома, а сами объявляют себя несостоятельными должниками и оставляют подрядчиков в дураках. Вывеска банкирского дома де Нусингена помогает пускать пыль в глаза беднякам-подрядчикам. Я раскусила это. Я поняла также, что Нусинген перевел значительные капиталы в Амстердам, Лондон, Неаполь, Вену, чтобы иметь возможность доказать, если понадобится, что у него были огромные платежи. Разве можем мы наложить арест на эти суммы?

Эжен услышал глухой стук в комнате папаши Горио: тот, по-видимому, рухнул на колени.

— Боже милостивый, чем я провинился перед тобой? Дочь моя в руках этого подлеца! Он может потребовать от нее все, что захочет. Прости меня, дочка! — воскликнул старик.

— Да, может быть, отчасти и вы виноваты в том, что я лечу в пропасть, — сказала Дельфина. — Мы еще не умеем рассуждать как следует, когда выходим замуж! Разве знаем мы свет, дела, мужчин, нравы? Отцы должны бы думать за нас. Дорогой батюшка, я не упрекаю вас ни в чем, простите мне эти слова! Тут я одна виновата. Не

плачьте же, не плачьте, папа! — говорила она, целуя отца в лоб.

— И ты не плачь, Дельфиночка! Дай я осушу твои глаза поцелуями. Не тужи! Башка у меня еще работает, я распутаю клубок афер твоего мужа.

— Нет, предоставь это мне; барон запляшет под-мою дудку. Он любит меня, я воспользуюсь своей властью над ним и уговорю его истратить теперь же часть моего капитала на покупку земель. Быть может, я уломаю его купить на мое имя поместье Нусинген в Эльзасе, принадлежавшее ему преж-де; он дорожит им. Но только приходите завтра, чтобы заглянуть в его бухгалтерские книги, в его дела. Господин Дервиль ничего не смыслит по коммерческой части. Нет, завтра не прихо-дите. Я не хочу расстраиваться. Послезавтра бал у госпожи де Босеан. Мне хотелось бы поберечь себя и явиться на бал красивой и свежей, чтобы мой дорогой Эжен мог гордиться мной! Пойдем посмотрим его комнату.

В это мгновение на улице Нев-Сент-Женевьев остановился экипаж, и на лестнице раздался го-лос госпожи де Ресто, спрашивавший Сильвию:

— Мой отец здесь?

Это было весьма кстати для Эжена, который уже собирался лечь на кровать и притвориться

спящим.

— Ах, батюшка, вы ничего не слышали про Анастази? — спросила Дельфина, узнав голос сестры. — Говорят, у нее дома тоже творится что-то неладное.

— Что такое? — промолвил папаша Горио. — Значит, мне конец пришел! Мне не выдержать двойного несчастья.

— Здравствуйте, батюшка, — сказала графиня, входя. — А! Ты здесь, Дельфина!

Встреча с сестрой как будто смутила госпожу де Ресто.

— Здравствуй, Нази, — произнесла баронесса. — Тебе кажется странным, что я здесь? Я ведь вижусь с батюшкой ежедневно.

— С каких это пор?

— Если бы ты бывала тут, то не спрашивала бы.

— Не придирайся, Дельфина, — жалобно проговорила графиня. — Я очень несчастна, я погибла, дорогой батюшка! О! На этот раз мне не выкарабкаться!

— Что с тобой, Нази? — воскликнул папаша Горио. — Расскажи нам все, дитя мое. Она бледнеет! Помоги же ей, Дельфина, будь с ней поласковее, я полюблю тебя еще сильнее, если это только

возможно!

— Бедняжка Нази, — сказала госпожа де Нусинген, усаживая сестру, — говори же. Перед тобой два единственных человека, которые всегда будут любить тебя так горячо, что простят тебе все. Ведь семейные привязанности — самые надежные.

Она дала сестре понюхать нашатыря, и графиня очнулась.

— Я не переживу этого! — проговорил папаша Горио. — Подойдите ко мне обе поближе, — продолжал он, мешая в камине горящий торф. — Меня знобит. Что с тобой, Нази? Говори поскорее, ты убиваешь меня…

— Дело в том, что мой муж знает все, — начала несчастная женщина. — Представьте себе, батюшка… помните недавний вексель Максима? Так вот, это не первый. Я уже уплатила по многим. В начале января я заметила, что де Трайль чем-то удручен. Он ничего не говорил мне, но так легко читать в сердце любимого человека: достаточно малейшего намека; кроме того, существуют предчувствия. Словом, он любил меня, был нежен со мной, как никогда; счастье мое все возрастало. Бедный Максим! По его словам, он мысленно прощался со мною; он хотел застрелиться. Короче говоря, я изводила его, умоляла его, я два часа

простояла перед ним на коленях. Наконец он сказал мне, что у него сто тысяч франков долгу! О, папа! Сто тысяч франков. Я обезумела. У вас нет таких денег; я обобрала вас дочиста…

— Да, я не мог бы достать их; мне оставалось бы только украсть. Но я пошел бы и на это, Нази! Я пойду на это!

При этом скорбном возгласе, похожем на хрип умирающего и выдававшего смертную муку бессильного отцовского чувства, обе сестры замолкли. Какой эгоист мог бы остаться равнодушным к этому воплю, который, подобно камню, брошенному в пропасть, обнаруживал всю глубину отчаяния?

— Я добыла эти деньги, распорядившись тем, что мне не принадлежало, батюшка, — сказала графиня, заливаясь слезами.

Дельфина была взволнована и плакала, прислонившись головой к плечу сестры.

— Значит, это правда? — спросила баронесса. Анастази поникла головой; госпожа де Нусинген заключила ее в объятия, нежно поцеловала и сказала, прижимая к сердцу:

— Здесь ты всегда будешь любима, и никто из нас не осудит тебя.

— Ангелочки мои, — проговорил Горио слабым

голосом, — почему для вашего сближения понадобилась беда?

— Чтобы спасти жизнь Максиму, чтобы спасти все мое счастье, — продолжала графиня, ободренная этими проявлениями горячей и трепетной любви, — я отнесла к ростовщику, — вы его знаете, это настоящее порождение ада, его ничто не может смягчить, — к Гобсеку, фамильные бриллианты, которыми так дорожит де Ресто, свои и его бриллианты, все, и продала их. Понимаете? Продала. Де Трайль был спасен, но я погубила себя. Ресто все узнал.

— Как? От кого? Я убью его! — вскричал папаша Горио.

— Вчера он вызвал меня к себе. Я пошла… «Анастази, — сказал он (о, по одному его голосу я сейчас же догадалась об всем), где ваши бриллианты?» — «У меня». — «Нет, — ответил он, глядя на меня, — они здесь, у меня на комоде». И он указал на ларец, прикрытый платком. «Вам известно, где они были?» — продолжал он. Я упала к его ногам… плакала, спрашивала, какой смертью хочет он казнить меня.

— Ты сказала это! — воскликнул папаша Горио. — Клянусь святым именем божиим, пока я жив, всякий, кто обидит одну из вас, может быть

уверен, что я сожгу его на медленном огне! Да, я разорву его на куски, как…

Папаша Горио умолк, слова застревали у него в горле.

— Наконец, дорогая моя, он потребовал у меня жертвы, которая тяжелее смерти. Не дай бог ни одной женщине услышать то, что услышала я!

— Я убью этого человека, — спокойно сказал папаша Горио. — Но у него только одна жизнь, а он должен отдать мне две. Но что же он потребовал? — продолжал старик, глядя на Анастази.

— Он посмотрел на меня, — продолжала графиня, помолчав. — «Анастази, — сказал он, — я сохраню все в тайне, мы по-прежнему будем жить вместе, у нас есть дети. Я не стану убивать господина де Трайля, на дуэли я могу промахнуться, а если разделаться с ним иначе, то, пожалуй, против меня будет людской закон. Убить его в ваших объятиях — значило бы обесчестить детей. Но, не желая губить ни ваших детей, ни их отца, ни себя самого, я ставлю вам два условия. Отвечайте: «Есть ли у вас хоть один ребенок от меня?» — «Да», — отвечала я. «Какой?» — спросил он. «Эрнест, старший». — «Хорошо, — сказал он. — А теперь поклянитесь исполнить одно мое требование». Я поклялась. «Вы подпишете куп-

чую крепость на ваше имущество, когда это мне понадобится».

— Не подписывай! — вскричал папаша Горио. — Ни за что не подписывай этого. А, господин де Ресто, вы не умеете дать счастья женщине, она ищет его там, где может найти, а вы наказываете ее за свое бессилие?.. Но я тут, от меня не уйдешь, я стану ему поперек дороги. Нази, успокойся! А? Он печется о своем наследнике! Хорошо же. Я отберу у него сына, ведь это мой внук, черт возьми. Имею же я право видеть этого мальчугана! Я поселю его в своей деревне, буду заботиться о нем, не беспокойся! А этого изверга я в бараний рог согну: «Кто кого! — скажу я ему. — Если хочешь, чтобы я отдал тебе сына, верни моей дочери ее имущество и дай ей полную свободу».

— Отец!

— Да, я тебе отец. О! Я настоящий отец! Пусть этот важный барин не обижает моих дочерей. В жилах у меня пламя, черт возьми! У меня кровь тигра, я готов растерзать их обоих. Так вот какова ваша жизнь, дети мои? Это смерть для меня… Что же станется с вами, когда меня не будет? Отцы должны бы жить, пока живы дети. Боже, как плохо устроен твой мир! А между тем у тебя, говорят, тоже есть сын. Ты должен бы избавить

нас от страданий за детей наших. Дорогие мои ангелы, что же это? Вы приходите ко мне только тогда, когда у вас горе. Несете ко мне одни свои печали. Но ведь вы любите меня, я это вижу. Приходите, приходите сюда изливать свои горести! Сердце мое обширно, оно может вместить все. Да, сколько бы вы ни пронзали его, все равно клочья его станут опять отцовскими сердцами. Я хотел бы взять на себя бремя ваших невзгод, страдать вместо вас. Ах! Как счастливы были вы, когда были маленькими…

— Только в то время нам и было хорошо, — сказала Дельфина. — Где те мгновения, когда мы кубарем скатывались с груды мешков в большом амбаре?

— Это еще не все, отец, — прошептала Анастази старику, который вскочил, услыша это. — За бриллианты мне не дали ста тысяч франков. Максим привлечен к суду. Остается всего лишь двенадцать тысяч франков долга. Он обещал мне быть благоразумным, не играть больше. Его любовь — единственное, что осталось у меня на свете, и я так дорого заплатила за нее, что умру, если лишусь его. Я пожертвовала ради него богатством, честью, покоем, детьми. О! Устройте как-нибудь так, чтобы Максим, по крайней мере,

остался свободным, незапятнанным, чтобы перед ним не были закрыты двери в высшее общество, где он сумеет завоевать себе положение. Теперь на нем лежит обязанность заботиться не только о моем счастье, у нас есть дети, они могут остаться без средств. Все будет потеряно, если его посадят в Сент-Пелажи.

— У меня нет денег, Нази! Больше нет ничего! Ничего! Наступает конец света. Мир рушится. Да, это так. Бегите же, спасайтесь, пока не поздно. Ах! У меня есть еще серебряные пряжки, шесть приборов, первые приборы, которыми я обзавелся. А кроме того, только тысяча двести франков пожизненной ренты.

— Что же вы сделали со своей пожизненной рентой?

— Я продал ее и оставил себе на жизнь эти крохи. Мне понадобилось двенадцать тысяч франков на устройство квартиры для Фифиночки.

— Твоей квартиры, Дельфиночка? — спросила сестру госпожа де Ресто.

— О чем тут говорить! — продолжал папаша Горио. — Двенадцать тысяч франков уже истрачены.

— Догадываюсь, — сказала графиня. — Это предназначается для господина де Растиньяка. Не

делай этого, Дельфина. Видишь, до чего я дошла!

— Дорогая моя, господин де Растиньяк не способен разорить свою любовницу.

— Спасибо, Дельфина! Теперь, когда я в таком отчаянном положении, я ждала от тебя лучшего отношения; но ты никогда меня не любила.

— Нет, она тебя любит, Нази! — воскликнул папаша Горио. — Она только что сказала мне об этом. Мы говорили о тебе, и Дельфина утверждала, что ты красавица, а она только хорошенькая!

— Она, — повторила графиня, — она красива, но холодна как лед.

— Пусть так, — ответила Дельфина, краснея, — а как ты относишься ко мне? Ты отреклась от меня, благодаря тебе меня не пускали в дома, где я желала бывать, словом, ты пользовалась каждым случаем причинить мне неприятность. А разве я вытягивала у бедного отца одну тысячу франков за другой? Разве я довела его до такого положения? Это дело твоих рук, сестра; ведь я виделась с отцом, пока могла, не выгоняла его, не бегала к нему лизать руки, когда нуждалась в его помощи. Я даже не знала, что он истратил эти двенадцать тысяч на меня. Ты знаешь мою щепетильность. Я никогда не выклянчивала у папы подарков.

— Ты счастливее меня: господин де Марсэ был богат. Это тебе хорошо известно. А ты всегда была такая же мерзкая, как мерзко золото. Прощай, у меня нет ни сестры, ни…

— Замолчи, Нази! — крикнул папаша Горио.

— Только такая сестра, как ты, может повторять то, чему больше уже не верят в свете! Ты чудовище! — сказала Дельфина.

— Дети мои, дети мои, замолчите, или же я покончу с собой на ваших глазах.

— Ну, хорошо, я тебя прощаю, Нази! — продолжала госпожа де Нусинген, — ты несчастна. Но я лучше тебя. Сказать мне в эту минуту, когда я чувствовала себя способной на все, чтобы помочь тебе, готова была даже войти в спальню к мужу. Чего бы я не сделала ни ради себя, ни ради… Это завершение всех гадостей, которые ты делала мне за последние девять лет.

— Детки мои, детки мои, обнимитесь, — повторял Горио. — Вы обе ангелы.

— Нет, оставьте меня, — кричала графиня, вырывая у отца руку. — Мой муж и тот меня больше пожалел бы… Подумаешь, какой образец добродетели!

— Пусть обо мне ходят слухи, что я должна господину де Марсэ; это все же лучше, нежели

признаваться, что господин де Трайль стоит тебе больше двухсот тысяч франков, — ответила госпожа де Нусинген.

— Дельфина! — воскликнула графиня, делая шаг к ней.

— Я говорю тебе правду, тогда как ты клевещешь на меня, — холодно возразила баронесса.

— Дельфина! Ты…

Папаша Горио бросился к ним, удержал графиню и помешал ей говорить, зажав рот рукой.

— О боже! Что вы держали сегодня в руках, отец? — вырвалось у Анастази.

— Ах, да, виноват, — пробормотал бедняга, вытирая руки о панталоны. — Я ведь не знал, что вы придете; я перебираюсь на другую квартиру.

Он был счастлив, что навлек на себя упрек, отвратив гнев Анастази от Дельфины.

— Ох! — простонал он, садясь. — У меня сердце обливается кровью. Я умираю, детки! Голова у меня горит, как в огне. Пожалуйста, любите друг друга! Вы убьете меня. Дельфина, Нази, ну, вы обе правы, вы обе виноваты. Видишь, Деделечка, — продолжал он, глядя на баронессу со слезами на глазах, — ей нужно двенадцать тысяч франков, раздобудем их. Не смотрите так друг на друга.

Он стал на колени перед Дельфиной.

— Попроси у нее прощения, доставь мне удовольствие, — шепнул он ей. — Нази несчастнее тебя, ну же!

— Милая Нази, — сказала Дельфина, устрашенная диким и безумным выражением, которое скорбь придала лицу отца, — я виновата, поцелуй меня…

— Ах! Вы льете мне бальзам на сердце! — воскликнул папаша Горио. — Но где же достать двенадцать тысяч франков! Не наняться ли мне за кого-нибудь в рекруты?

— Что вы, батюшка! — воскликнули обе дочери разом, окружая старика. — Нет, нет!

— Бог наградит вас за такое намерение, а всей нашей жизни было бы мало, чтобы вознаградить вас! Верно, Нази? — спросила Дельфина.

— И кроме того, батюшка, это было бы каплей в море, — заметила графиня.

— Но неужели же моя кровь ни на что не пригодна? — кричал старик в отчаянии. — Нет такой жертвы, которую я не принес бы тому, кто спасет тебя, Нази! Для него я готов убить человека. Я стану Вотреном, пойду на каторгу! Я…

Он остановился, точно пораженный громом.

— У меня нет ничего больше! — Говоря это, папаша Горио рвал на себе волосы. — Кабы я знал,

куда пойти, чтобы украсть! Но кражу совершить не так-то просто. Чтобы ограбить банк, нужны люди и время. Ну, что ж, тогда, значит, смерть, мне остается только умереть. Да, я ни на что больше не годен, я больше не отец, нет! Она просит у меня, она нуждается, а у меня, презренного, нет ни гроша. А! У тебя дочери, а ты покупаешь себе пожизненную ренту, старый негодяй. Значит, ты их не любишь? Издыхай же, издыхай, как пес! Да, я хуже любого пса, пес и тот поступил бы иначе! О, что делается с моей головой?.. Она пылает.

— Будьте же рассудительны, папа, — вскричали молодые женщины, бросаясь к старику и не давая ему биться головой об стену.

Он рыдал. Эжен в ужасе взял вексель на имя Вотрена; бланк был на большую сумму. Переделав цифру, студент написал форменный вексель с обязательством уплатить двенадцать тысяч франков по приказу Горио и вошел в его комнату.

— Вот деньги, сударыня. Вся нужная вам сумма, — сказал он, подавая заполненный бланк. — Я спал, разговор ваш разбудил меня; таким образом, мне стало известно, сколько я должен господину Горио. Вот вексель; вы можете учесть его, я заплачу в срок.

Графиня застыла на месте с векселем в руках.

— Дельфина, — сказала она, дрожа от гнева, ярости, бешенства, — бог свидетель, я тебе все прощала, но это! Как? Господин де Растиньяк был там, ты знала это, и ты избрала самый низкий способ мести, по твоей милости теперь в его руках мои тайны, моя жизнь, жизнь моих детей, мой позор, моя честь! Знай же, что ты для меня больше не существуешь, я тебя ненавижу, я буду всячески вредить тебе… я…

Гнев не давал ей говорить, гортань пересохла.

— Но это мой сын, наше дитя, твой брат, твой спаситель! — воскликнул папаша Горио. — Обними же его, Нази! Видишь, я его обнимаю, — продолжал он, сжимая Эжена с каким-то неистовством. — О, сын мой! Я буду для тебя больше, чем отцом, я хочу заменить тебе всю семью. Мне хотелось бы быть богом, я бросил бы к твоим ногам вселенную. Но поцелуй же его, Нази! Это не человек, это ангел, настоящий ангел.

— Оставьте ее, батюшка, она сейчас не в своем уме, — сказала Дельфина.

— Не в своем уме, не в своем уме! А ты?! — воскликнула госпожа де Ресто.

— Дети мои, я умру, если вы не перестанете! — крикнул старик, падая на кровать, словно

сраженный пулей. — Они меня убьют, — прошептал он про себя.

Графиня взглянула на Эжена; тот стоял неподвижно, ошеломленный этой страшной сценой.

— Господин... — проговорила она, жестом, голосом и взглядом вопрошая Растиньяка и не обращая внимания на отца, которому Дельфина торопливо расстегивала жилет.

— Я заплачу и буду хранить молчание, сударыня, — ответил студент, не дожидаясь окончания вопроса.

— Ты убила нашего отца, Нази! — промолвила Дельфина, указывая сестре на старца, потерявшего сознание.

Графиня выбежала из комнаты.

— Я ей охотно прощаю, — проговорил добряк, открывая глаза, — положение ее ужасно; тут любой может потерять голову. Утешь Нази, будь ласкова с ней, обещай это своему несчастному умирающему отцу, — умолял он Дельфину, сжимая ей руку.

— Но что с вами? — в страхе спросила та.

— Ничего, ничего, — ответил отец, — пройдет. Мне что-то давит лоб, мигрень... Бедная Нази, что ждет ее в будущем!

В это мгновение графиня вернулась и броси-

лась к ногам отца.

— Простите! — воскликнула она.

— Полно, — промолвил папаша Горио, — этим ты причиняешь мне еще большее страдание.

— Сударь, — сказала графиня Растиньяку со слезами на глазах, — я не права; виной тому мое горе. Хотите быть мне братом? — и протянула ему руку.

— Нази, — произнесла Дельфина, крепко обнимая ее, — милая Нази, забудем все.

— Нет! Я не забуду!

— Ангелы мои, — вскричал папаша Горио, — свет померк в моих глазах, но я прозрел благодаря вам, ваш голос возвращает мне жизнь. Обнимитесь еще раз. Что же, Нази, этот вексель спасет тебя?

— Надеюсь. А что, если бы вы подписали его, папа?

— Верно, верно! Как это я забыл! Ну, и дурак же я! Но мне сделалось дурно, Нази, не сердись на меня. Пришли мне сказать, когда у тебя все уладится. Нет, я сам приду. Впрочем, нет, не приду, я не могу больше видеть твоего мужа, я способен убить его на месте. Что касается перевода твоего имущества на его имя, то он будет иметь дело со мной. Иди, иди скорее, дитя мое, и заставь

Максима стать благоразумным.

Эжен не мог прийти в себя от изумления.

— Бедняжка Анастази всегда была очень вспыльчива, — сказала госпожа де Нусинген, — но у нее доброе сердце.

— Она вернулась за передаточной надписью, — шепнул Эжен Дельфине.

— Вы думаете?

— Я рад был бы не думать так. Остерегайтесь ее, — ответил Растиньяк и поднял глаза к небу, словно доверяя богу мысли, которые не осмеливался высказать.

— Да, она всегда разыгрывала комедии, а бедный батюшка попадает на ее удочку.

— Как вы себя чувствуете, дорогой папаша Горио? — спросил Растиньяк.

— Мне хочется спать.

Эжен помог старику лечь в постель. Когда добряк уснул, держа руку Дельфины, та потихоньку высвободилась.

— До вечера, встретимся у итальянцев, — сказала она Эжену, — ты сообщишь мне, как он себя чувствует. Завтра вы переедете на новую квартиру, сударь. Покажите-ка вашу комнату. О! Какой ужас! — вырвалось у нее, когда она вошла туда. — Да у вас еще хуже, чем у моего отца! Ты поступил

прекрасно, Эжен. Я полюбила бы вас еще больше, если бы это было возможно; но, дитя мое, если вы хотите разбогатеть, то не следует выбрасывать зря двенадцать тысяч франков. Граф де Трайль игрок. Сестра не хочет этого замечать. Он мог бы добыть себе двенадцать тысяч франков там, где умеет проигрывать и выигрывать горы золота.

Стон заставил их вернуться в комнату Горио; он, по-видимому, спал, но когда чета влюбленных подошла ближе, они услышали слова:

— Несчастные они, несчастные!

Во сне ли то было сказано, наяву ли, но тон этого восклицания так поразил сердце дочери, что она приблизилась к убогому ложу, на котором лежал ее отец, и поцеловала его в лоб.

Он открыл глаза и промолвил: «Ты, Дельфина?..»

— Ну, как ты себя чувствуешь? — спросила она.

— Хорошо. Не беспокойся. Я скоро выйду. Ступайте, ступайте же, дети мои, будьте счастливы.

Эжен проводил Дельфину домой, но, встревоженный состоянием Горио, отказался обедать с нею и вернулся в Дом Воке. Оказалось, что папаша Горио встал и собирается занять свое место в столовой. Бьяншон сел так, чтобы ему удобно

было наблюдать лицо макаронщика. Увидя, что тот взял кусок хлеба и понюхал его, чтобы определить качество муки, медик зловеще покачал головой: он подметил в этом движении полное отсутствие того, что можно назвать сознанием своих действий.

— Сядь поближе ко мне, почтенный ученик Кошена, — сказал Эжен.

Бьяншон пересел тем охотнее, что таким образом оказывался подле старика.

— Что с ним? — спросил Растиньяк.

— Если не ошибаюсь, дело его дрянь. В его организме, должно быть, происходит что-то не совсем обыкновенное; мне кажется, что ему грозит неминуемая апоплексия. Нижняя часть лица довольно спокойна, но верхняя дергается помимо его воли, посмотри! Кроме того, по глазам заметно, что у него происходит излияние серозной жидкости в мозг. Разве тебе не кажется, что они точно подернуты мельчайшей пылью? Завтра утром будет виднее.

— Это излечимо?

— Нет. Пожалуй, можно отсрочить смерть, если удастся вызвать отлив крови к конечностям, к ногам, но если завтра к вечеру эти симптомы не исчезнут, то, значит, бедняге конец. Не знаешь

ли, какое именно событие вызвало болезнь? Он, должно быть, испытал жестокое потрясение, и его мозг не выдержал.

— Да, — сказал Растиньяк, вспомнив, как дочери без устали терзали сердце старика.

«Дельфина, та, по крайней мере, любит отца», — подумал он.

Вечером, в Итальянской опере, Растиньяк старался не слишком встревожить госпожу де Нусинген.

Но едва он заговорил, как она перебила его:

— Не беспокойтесь, у отца великолепное здоровье. Сегодня утром мы немного взволновали его. Нашему состоянию грозит крах; представляете ли вы себе все значение этого несчастья? Жизнь была бы мне не мила, если бы ваша любовь не делала меня нечувствительной к тому, в чем недавно я видела бы смертную муку. Теперь я боюсь лишь одного, для меня существует лишь одно несчастье — потерять вашу любовь; благодаря ей я постигла радость жизни. Кроме этого чувства, я равнодушна ко всему, ничто более не мило мне на свете. Вы для меня все. Богатство делает меня счастливой только потому, что помогает нравиться вам. К стыду своему, я больше любовница, нежели дочь. Почему? Не знаю. Вся

моя жизнь в вас. Отец наделил меня сердцем, но биться оно стало благодаря вам. Пусть весь свет порицает меня, что мне до того, раз вы, — а вы не вправе относиться ко мне недоброжелательно, — прощаете мне грех, на который меня обрекает непреодолимое чувство. Неужели я кажусь вам бессердечной дочерью? О, конечно, нельзя не любить такого доброго отца, как наш! Но разве я могла помешать ему понять наконец естественные последствия наших несчастных браков? Почему он не воспрепятствовал им? Кто другой, как не он, должен был подумать за нас? Я знаю, что теперь он страдает не меньше вас. Но что же нам делать? Утешать его! Но ведь нам его не утешить. Наша покорность судьбе причинила бы ему еще больше горя, чем наши упреки и сетования. Бывают такие положения в жизни, когда все горько.

Эжен ничего не ответил; его охватила нежность, вызванная этим наивным выражением искреннего чувства.

Парижанки часто бывают фальшивы, опьянены тщеславием, себялюбивы, кокетливы, холодны — все это так, но когда они действительно любят, отдаются чувству с большим самозабвением, чем другие женщины. Они возвышаются

над всеми своими слабостями и становятся великими. Кроме того, Эжен был поражен глубиной и правильностью суждений женщины о свойственных человеку чувствах, когда, окрыленная любовью, она возносится над ними и смотрит на них на расстоянии. Молчание Растиньяка задело госпожу де Нусинген за живое.

— О чем вы так задумались? — спросила она.

— Ваши слова все еще звучат в моих ушах. До сих пор думал, что люблю вас больше, чем вы меня.

Она улыбнулась и постаралась не выдавать своей радости, чтобы удержать разговор в пределах приличия. Она никогда доселе не слышала волнующих речей юной, искренней любви. Еще несколько слов, и она потеряла бы самообладание.

— Эжен, — сказала она, переходя на другую тему, — разве вы не знаете, что творится? Весь Париж будет завтра у госпожи де Босеан. Рошфиды и маркиз д'Ахуда условились избегать огласки, но король подпишет завтра брачный контракт, а ваша бедная кузина еще ничего не знает. Ей нельзя будет отменить бал, но маркиз д'Ахуда не явится к ней. Все только об этом и говорят.

— Свет забавляется подлостью и участвует в

ней! Неужели вы не понимаете, что госпожа де Босеан не переживет этого?

— Нет, вы не знаете женщин этого сорта, — с улыбкой промолвила Дельфина. — Как бы то ни было, весь Париж посетит ее завтра, и я буду у нее! Этим счастьем я обязана вам.

— Но, может быть, это одна из тех глупых сплетен, которые так распространены в Париже?

— Завтра мы узнаем истину.

Эжен не вернулся в Дом Воке. Он не мог отказать себе в удовольствии переночевать в своей новой квартире. Накануне он принужден был расстаться с Дельфиной в час ночи, а сегодня Дельфина рассталась с ним около двух и поехала к себе. Он проспал до позднего утра и дождался госпожу де Нусинген, которая в полдень приехала позавтракать с ним. Молодые люди с такой жадностью хватаются за утехи жизни, что Эжен почти забыл про папашу Горио. Для Растиньяка было большим праздником привыкать ко всем изящным вещам, отныне принадлежавшим ему. Присутствие госпожи де Нусинген придавало всему особую ценность. Однако около четырех часов дня любовники вспомнили, какое счастье доставила папаше Горио надежда жить в одном доме с ними. Эжен заметил, что необходимо

поскорее перевести сюда старика, если он расхворается, и, оставив Дельфину одну, побежал в Дом Воке. В столовой не было ни папаши Горио, ни Бьяншона.

— Ну, дела папаши Горио плохи, — обратился к Растиньяку художник. — Бьяншон наверху подле него. Старикашка виделся со своей дочерью, графиней Ресторама. Потом он уходил куда-то, и ему стало хуже. Общество вскоре лишится одного из лучших своих украшений.

Растиньяк бросился к лестнице.

— Постойте, господин Эжен! Господин Эжен! Вас зовет барыня, — крикнула Сильвия.

— Сударь, — сказала ему вдова, — господин Горио и вы должны были выехать пятнадцатого февраля. Прошло уже три дня; сегодня восемнадцатое, и вы оба должны уплатить мне за месяц. Но коли вы поручитесь за папашу Горио, достаточно будет вашего слова.

— Почему? Разве вы ему не доверяете?

— Какое тут может быть доверие! Если старик умрет не в полной памяти, то его дочки не заплатят мне ни гроша, а вся его ветошь не стоит и десяти франков. Утром он унес, не знаю зачем, свои последние приборы. Принарядился, словно юноша. Да простит меня бог, но мне показалось,

что он нарумянился и словно помолодел.

— Я отвечаю за все, — сказал Эжен, опасаясь катастрофы и содрогаясь от отвращения.

Он поднялся к папаше Горио. Старик лежал на кровати без движения. Около него был Бьяншон.

— Здравствуйте, отец, — промолвил Эжен. Старик ласково улыбнулся и ответил, глядя на него помутневшими глазами:

— Как она поживает?

— Хорошо. А вы?

— Недурно.

— Не утомляй его, — шепнул Бьяншон, уводя Эжена в угол.

— Ну, что? — спросил Растиньяк.

— Только чудо может его спасти. Произошло излияние серозной жидкости. Я поставил ему горчичники; к счастью, он чувствует их. Они действуют.

— Можно ли его перевезти?

— Ни в коем случае. Надо оставить его здесь и не давать ему двигаться и волноваться.

— Дорогой Бьяншон, мы будем ухаживать за ним вдвоем.

— По моей просьбе у него был уже главный врач нашей больницы.

— Ну и что?

— Он поставит диагноз завтра вечером. Он обещал мне прийти по окончании приема. К несчастью, старый сумасброд выкинул сегодня утром крайне рискованную штуку и не хочет объяснить толком свой поступок. Он упрям, как мул. Когда я обращаюсь к нему, он делает вид, будто не слышит, и притворяется спящим, чтобы не отвечать; или же, если не закрывает глаз, принимается стонать. Утром он уходил, шатался где-то по городу. Он унес с собой все, что у него было ценного, сплавил все это какому-то черту и надорвался. К нему приезжала дочь.

— Графиня? — спросил Эжен. — Высокая брюнетка с бойким взглядом, статная, с красивыми ножками и гибкой талией?

— Да.

— Выйди на минутку. Я его поисповедую. Мне он скажет все.

— А я пока пообедаю. Только постарайся не волновать его. Мы не теряем надежды.

— Не беспокойся.

— Завтра они повеселятся вдоволь! — сказал папаша Горио, оставшись наедине с Эженом. — Они будут на большом балу.

— Что такое вы делали сегодня утром, папа? Отчего к вечеру вам стало так плохо, что пришлось

лечь в постель?

— Ничего.

— У вас была Анастази?

— Да.

— Расскажите-ка мне все откровенно. О чем она вас еще просила?

— Ах, — сказал старик, собрав остаток сил, — она так несчастна, сын мой! После истории с бриллиантами у Нази не было ни су. Она заказала для этого бала расшитое серебром платье; оно, должно быть, ей очень к лицу. А негодяйка портниха отказалась поверить ей в долг, и горничная уплатила тысячу франков по счету. Бедняжка Нази, до чего она дошла! У меня сердце обливается кровью. Но горничная, видя, что Ресто совсем отвернулся от Нази, испугалась за свои деньги и сговорилась с портнихой, чтобы та не отдавала платья, пока тысяча франков не будет ей возвращена. Бал состоится завтра, платье готово! Нази в отчаянии. Она хотела заложить мои приборы. Ее муж желает, чтобы она была на балу, показала всему Парижу свои бриллианты и опровергла, таким образом, слухи о их продаже. Может ли она сказать этому извергу «Я должна тысячу франков, уплати мой долг»? Нет, я это прекрасно понимаю. Дельфина будет на этом балу в великолепном

туалете. Анастази не должна отстать от младшей сестры. Она так горько плакала, бедняжка! Вчера у меня не оказалось двенадцати тысяч франков, и это был такой позор, что я отдал бы остаток своей жалкой жизни, лишь бы искупить вину. До сих пор я все переносил, по это последнее безденежье поразило меня в самое сердце. И вот я, не долго думая, прифрантился, подмолодился, продал за шестьсот франков приборы и пряжки, потом заложил на год пожизненную ренту за четыреста франков наличными у дядюшки Гобсека. Не беда! Буду есть один хлеб! Обходился же я без другой пищи, когда был молод, обойдусь и теперь. Зато моя Нази проведет вечер. Она одета нарядно. Билет в тысячу франков у меня под изголовьем. По мне словно тепло разливается оттого, что тут у меня под головой лежит то, что доставит удовольствие бедной Нази. Она сможет вытурить мерзавку Викторию. Где же это видно, чтобы слуги не верили господам! Завтра я буду здоров; Нази приедет в десять. Я не желаю, чтобы дочери думали, будто я болен, а то они не пойдут на бал, станут ухаживать за мной. Нази обнимет меня завтра, как свое дитя, ее ласки исцелят меня. Разве я не переплатил бы ту же тысячу франков аптекарю? Так лучше отдам их своей исцели-

тельнице, своей Нази. По крайней мере, утешу ее в беде. Этим я заглажу свою вину, покупку пожизненной ренты. Дочь моя на дне пропасти, а я уже не в силах вытащить ее оттуда. О, я опять займусь торговлей. Поеду в Одессу покупать зерно. Пшеница там втрое дешевле, чем у нас. Ввоз зерна запрещен, но господа, сочиняющие законы, забыли воспретить ввоз изделий из пшеницы. Да, да… сегодня утром мне пришло это в голову! С крахмалом можно делать отличные дела.

«Он с ума сошел», — подумал Эжен, наблюдая старика.

— Лежите спокойно, не разговаривайте…

Когда Бьяншон вернулся, Эжен пошел вниз обедать. Потом поочередно они всю ночь дежурили у больного; первый при этом читал свои медицинские книги, второй писал письма матери и сестрам.

На другой день Бьяншон заметил благоприятные симптомы, но нужен был постоянный уход; кроме наших студентов, позаботиться о больном было некому; описание подробностей мы опускаем, чтобы не оскорблять чрезмерно стыдливой фразеологии нашего времени. Изможденному старцу ставили пиявки, припарки, делали ножные ванны, применяли и другие приемы лечения,

для которых требовалась сила и преданность молодых людей. Госпожа де Ресто за деньгами не приехала, а прислала посыльного.

— Я думал, она приедет сама. Оно и к лучшему, а то она слишком волновалась бы, — сказал отец, как будто довольный этим.

В семь часов вечера Тереза принесла письмо от Дельфины:

> «Чем вы так заняты, друг мой? Едва успели полюбить и уже пренебрегаете мною? В своих сердечных излияниях вы обнаружили столь прекрасную душу, что, несомненно, принадлежите к тем, которые всегда остаются верны, постигая все богатство оттенков чувства. Вы так хорошо выразили ту же мысль, слушая молитву Моисея: «Для одних это одна и та же нота, для других — бесконечное разнообразие звуков!» Не забывайте, что я жду вас вечером, чтобы ехать на бал к госпоже де Босеан. Достоверно известно, что брачный контракт маркиза д'Ахуда подписан королем, а бедная виконтесса узнала об этом лишь в два часа дня. Весь Париж устремится к ней, подобно

тому, как народ торопится на Гревскую площадь, когда там происходит казнь. Разве не отвратительно бежать смотреть, скроет ли эта женщина свое горе, сумеет ли она достойно умереть? Я, конечно, не поехала бы, друг мой, если бы это не был мой первый визит к ней, но она, разумеется, прекратит приемы, и все мои старания оказались бы напрасными. Положение мое совсем особенное. Кроме того, я еду туда также и ради вас. Жду вас. Если вы не будете у меня через два часа, то не знаю, прощу ли я вам такое вероломство».

Растиньяк взял перо и написал следующее:

«Я ожидаю врача, чтобы узнать, останется ли в живых ваш отец. Он при смерти. Я приеду сообщить вам приговор и боюсь, как бы это не был смертный приговор. Вы увидите, можно ли вам ехать на бал. Тысячу поцелуев».

Врач пришел в половине девятого. Не давая благоприятного заключения, он все же полагал, что смерть еще не угрожает. Он предупредил, что положение больного будет то улучшаться,

то ухудшаться, отчего зависят его жизнь и рассудок.

— Было бы лучше, если бы он умер поскорее, — таково было последнее слово доктора.

Эжен вверил папашу Горио попечению Бьяншона и отправился к госпоже де Нусинген с печальными новостями, все еще проникнутый идеей семейного долга, он полагал, что весть эта повергнет ее в уныние.

— Скажите ей, чтобы она все-таки веселилась хорошенько, — крикнул папаша Горио; он как будто дремал, но, когда Растиньяк стал уходить, вдруг приподнялся на своем ложе.

Молодой человек предстал перед Дельфиной, удрученный горем; она была уже причесана и обута; оставалось только надеть бальное платье. Но подобно тому, как заключительные мазки на картине художника требуют больше времени, чем основная работа над полотном, эти последние сборы задерживают дольше, нежели главная часть туалета.

— Как! Вы еще не одеты? — сказала она.

— Но, сударыня, ваш отец…

— Опять мой отец! — вскричала Дельфина, прерывая его. — Прошу не читать мне нравоучений относительно моих дочерних обязанностей. Я

знаю своего отца не со вчерашнего дня. Ни слова, Эжен, Я выслушаю вас только после того, как вы оденетесь. Тереза вам все приготовила: моя карета — у подъезда, садитесь в нее и возвращайтесь назад. Мы поговорим об отце дорогой. Надо ехать пораньше; если мы застрянем в веренице экипажей, то попадем на бал не раньше одиннадцати.

— Сударыня…

— Отправляйтесь без разговоров! Она побежала в будуар за ожерельем.

— Идите же, господин Эжен! А то барыня рассердится, — сказала Тереза, подталкивая молодого человека, устрашенного этой изящной отцеубийцей.

Растиньяк поехал одеваться, предаваясь самым печальным, самым безнадежным размышлениям. Свет казался ему океаном грязи, в который достаточно ступить ногой, чтобы увязнуть по горло.

«Преступления, совершаемые здесь, мелки и подлы! — думал Эжен. — Вотрен куда выше».

Общество показало Растиньяку три своих главных лика: Повиновение, Борьбу и Бунт; Семью, Свет и Вотрена. Он не решался сделать выбор. Повиновение было скучно, Бунт невозможен, исход Борьбы неизвестен. Эжен мысленно перенесся

в лоно своей семьи. Ему вспомнились чистые чувства тихой жизни, дни, проведенные среди обожающих его существ. Верные естественным законам домашнего очага, эти дорогие создания обретали там полное, непрерывное, невозмутимое счастье. Несмотря на свои прекрасные мысля, Растиньяк не чувствовал в себе мужества исповедаться Дельфине в религии чистых душ, предписав ей Добродетель во имя Любви. Едва начатое светское воспитание уже успело принести плоды, он уже любил эгоистически. Эжен чутьем распознал сердце Дельфины, он понял, что она способна перешагнуть через труп отца, лишь бы быть на балу, но не имел ни силы играть роль моралиста, ни мужества, чтобы перестать ей нравиться, ни добродетели, чтобы бросить ее.

«Она никогда не простит, если я в этом случае не уступлю ей», — думал он.

Потом Растиньяк стал перебирать в уме слова врачей; ему хотелось убедить себя, что болезнь папаши Горио не так уж опасна; короче говоря, студент выискал множество убийственных доводов, чтобы оправдать Дельфину. Она не знает, в каком состоянии ее отец. Старик сам послал бы ее на бал, если бы она приехала навестить его. Неумолимый в своем приговоре, обществен-

ный закон часто осуждает в тех случаях, когда явное преступление может быть оправдано бесчисленными переменами в недрах семьи, возникающими благодаря разнице характеров, различию интересов и положений. Эжен хотел обмануть себя, готов был поступиться ради любовницы совестью. За последние два дня все перевернулось в его жизни. Женщина потрясла все ее устои, заслонила семью, на все наложила руку. Растиньяк и Дельфина встретились в условиях наиболее благоприятных для того, чтобы стать друг для друга источником живейших наслаждений. Их долго зревшая страсть возросла оттого, что убивает страсти, — от обладания. Обладая этой женщиной, Эжен убедился, что доселе он лишь желал ее, полюбил же ее он только после того, как вкусил счастье, ибо любовь, быть может, не что иное, как благодарность за наслаждение. Какова бы ни была эта женщина, достойна ли она презрения или наделена самыми высокими добродетелями, он обожал ее за те чувственные утехи, которые получил от нее. Дельфина, в свою очередь, любила Растиньяка так, как Тантал полюбил бы ангела, который прилетел бы насытить его голод и утолить жажду его пересохшей гортани.

— Ну, как здоровье отца? — спросила госпожа де Нусинген, когда Эжен вернулся в бальном костюме.

— Очень плохо. Докажите мне свою любовь, поедемте навестить его.

— Хорошо, но только после бала. Пожалуйста, избавь меня от нравоучений, голубчик.

Они поехали. Дорогой Эжен сначала хранил молчание.

— Что с вами? — спросила Дельфина.

— Мне слышится предсмертный хрип вашего отца, — ответил он раздраженно.

И Растиньяк с пламенным красноречием, свойственным юности, стал говорить о страшной жестокости поступка госпожи де Ресто, подсказанного тщеславием, о смертельном потрясении, вызванном последней самоотверженной жертвой отца, о том, во что обошлось расшитое серебром платье Анастази. Дельфина плакала.

«Я подурнею», — подумала она.

И слезы ее мгновенно высохли.

— Я буду ухаживать за отцом, не отойду от его изголовья.

— Вот теперь ты такая, какой я хочу тебя видеть! — воскликнул Растиньяк.

Фонари пятисот карет освещали подъезд особ-

няка де Босеан. С той и другой стороны гарцевал конный жандарм. Все великосветское общество устремилось сюда, и все так спешили увидеть эту знатную женщину в минуту падения, что, когда прибыли госпожа де Нусинген и Растиньяк, апартаменты нижнего этажа были уже полны. С того времени, как все придворные ринулись к принцессе крови герцогине Монпансье, которую Луи XIV лишил любовника, ничья сердечная драма не получала такой огласки, как драма госпожи де Босеан. Последняя представительница почти что королевского дома герцогов бургундских сумела при этом обуздать свое горе и до последнего мгновения властвовала над суетным светом, который она терпела лишь потому, что он способствовал торжеству ее страсти. Первые красавицы Парижа оживляли салон своими нарядами и улыбками. Наиболее высокопоставленные придворные, посланники, министры, всевозможные знаменитости, увешанные орденами, звездами, разноцветными лентами, теснились вокруг виконтессы. Оркестр оглашал музыкой позолоченные лепные своды дворца, который самой королеве казался опустевшим. Госпожа де Босеан стояла в первом салоне, принимая своих мнимых друзей. В белом платье, без

всякого украшения, со свернутыми узлом косами, она казалась спокойной и не обнаруживала ни скорби, ни гордости, ни притворного веселья. Никто ничего не мог прочесть в ее душе. Это была мраморная Ниобея. В улыбке, которой она дарила своих близких друзей, порой сквозила горькая усмешка, но виконтесса казалась всем такой же, как всегда, держалась так же, как в те дни, когда счастье озаряло ее своими лучами; так что даже самые бесчувственные люди дивились ей, подобно тому, как молодые римляне рукоплескали гладиатору, умевшему умереть с улыбкой на устах. Высший свет как будто торжественно провожал одну из своих повелительниц.

— Я боялась, что вы не приедете, — сказала виконтесса Растиньяку.

— Сударыня, — ответил тот взволнованным голосом, принимая эти слова за упрек, — я уеду последним.

— Хорошо, — сказала она, пожимая ему руку. — Здесь вы, может быть, единственный, кому я могу довериться. Друг мой, любите женщину, которая заслуживает того, чтобы ее любили вечно. Никогда не покидайте женщину.

Она взяла Растиньяка под руку, провела в гостиную, где играли в карты, и усадила на диван.

— Поезжайте к маркизу, — сказала она. — Жак, мой лакей, проводит вас и передаст вам письмо к нему. Я прошу его вернуть мои письма. Надеюсь, что он отдаст вам их все. Если они будут в ваших руках, поднимитесь в мою комнату. Мне дадут знать.

Она встала и пошла навстречу своей лучшей приятельнице, герцогине де Ланжэ. Растиньяк поехал в особняк Рошфидов, где в тот вечер должен был находиться маркиз д'Ахуда, и вызвал его. Маркиз отвез студента к себе, вручил ему шкатулку и сказал:

— Здесь они все.

Он как будто хотел поговорить с Эженом, то ли расспросить о бале и виконтессе, то ли признаться ему, что он уже в отчаянии от своей женитьбы, как оно и оказалось впоследствии, но гордость молнией сверкнула в его глазах. У него хватило печального мужества сохранить в тайне свои благороднейшие чувства.

— Не говорите ей ничего обо мне, дорогой Эжен. Он дружески, с грустью пожал руку Растиньяка и отпустил его. Эжен вернулся в особняк де Босеанов и был введен в комнату виконтессы, где заметил приготовления к отъезду. Он сел у камина, взглянул на кедровую шкатулку и погрузился

в глубокую печаль. Ему казалось, что госпожа де Босеан обладает величием богинь «Илиады».

— Ах, друг мой! — сказала виконтесса, входя и кладя руку на плечо Растиньяка.

Он увидел кузину в слезах, глаза ее были подняты к небу, рука дрожала. Она немедленно взяла шкатулку, бросила ее в огонь и стала смотреть, как она пылает.

— Они танцуют! Все они пришли в назначенный час, а смерть придет поздно. Молчите, друг мой, — и она приложила палец к губам Растиньяка, который хотел заговорить. — Я никогда больше не увижу ни Парижа, ни света. В пять часов утра я уеду и похороню себя в глуши Нормандии. С трех часов дня я занята сборами, я подписывала распоряжения, приводила в порядок дела. Мне некого было послать к…

Виконтесса запнулась.

— Он, конечно, был у…

Она опять остановилась, подавленная горем. В такие минуты все причиняет страдание и некоторые слова нет сил выговорить.

— Словом, я надеялась, что вы окажете мне сегодня вечером эту последнюю услугу. Мне хотелось бы подарить вам что-нибудь в знак дружбы. Я буду часто думать о вас; я встретила в

вас доброту и благородство, юность и чистосердечие — качества, столь редкие в свете: Я была бы рада, если бы и вы иногда вспоминали обо мне. Погодите, — сказала она, озираясь, — вот ларец, куда я клала перчатки. Всякий раз, как я доставала их, чтобы ехать на бал или в театр, я сознавала свою красоту; я была красива потому, что была счастлива! Касаясь этого ларца, я всегда оставляла в нем какую-нибудь радостную мысль: в нем много моего «я», в нем вся прежняя госпожа де Босеан, примите его в дар, я велю отнести его к вам, на улицу д'Артуа. Госпожа де Нусинген очень хороша сегодня; любите ее. Если мы не увидимся более, друг мой, будьте уверены, что я стану молиться за вас, вы были так добры ко мне. Пойдемте вниз, я не хочу, чтобы они думали, будто я плачу. Передо мною целая вечность, я буду там одна и никому не будет дела до моих слез. Постойте, я еще раз взгляну на эту комнату.

Она умолкла. Потом на миг закрыла глаза рукой, вытерла их, обмыла холодной водой и взяла студента под руку.

— Идемте! — сказала она.

Ничто до сих пор не взволновало Растиньяка так сильно, как соприкосновение с этим столь благородно сдерживаемым горем. Вернувшись

на бал, он прошел по апартаментам с виконтессой, что было последним утонченным знаком внимания этой обаятельной женщины.

Вскоре студент увидел обеих сестер — госпожу де Ресто и госпожу де Нусинген. Графиня была великолепна; все ее бриллианты были выставлены напоказ; они, конечно, жгли ее, она надела их в последний раз. Как ни велики были ее гордость и любовь, она чувствовала себя неловко от взглядов мужа. Такого рода зрелище не могло настроить Растиньяка на менее печальный лад. За бриллиантами обеих сестер он вновь увидел убогое ложе, к которому был прикован папаша Горио. Грусть студента ввела виконтессу в заблуждение, и она высвободила руку.

— Ну, я не хочу лишать вас удовольствия, — сказала она.

Вскоре Эжена позвала Дельфина. Счастливая достигнутым успехом, она горела желанием повергнуть к ногам студента поклонника этого света, где надеялась быть принятой.

— Нравится ли вам Нази? — спросила Дельфина.

— Она дисконтирует все, вплоть до смерти отца, — ответил Растиньяк.

Около четырех часов утра толпа гостей стала

редеть. Вскоре не стало слышно музыки. Герцогиня де Ланжэ и Растиньяк остались вдвоем в большой гостиной. Виконтесса, ожидая встретить там только студента, пришла туда, после того как простилась с господином де Босеаном, который пошел спать, повторяя:

— Вы делаете ошибку, дорогая моя, становясь затворницей в ваши годы! Оставайтесь лучше с нами.

Когда виконтесса увидела герцогиню, у нее невольно вырвался возглас удивления.

— Я угадала ваши намерения, Клара, — сказала госпожа де Ланжэ. — Вы уезжаете с тем, чтобы никогда больше не вернуться; но выслушайте меня перед отъездом, мы должны объясниться.

Она взяла приятельницу под руку, увела ее в соседнюю гостиную и там, глядя на виконтессу со слезами на глазах, крепко обняла ее и поцеловала в щеки.

— Мне не хотелось бы расставаться с вами холодно, дорогая моя, меня замучила бы совесть. Вы можете положиться на меня, как на самое себя. Вы проявили сегодня вечером истинное величие, я чувствую себя достойной вас и хочу доказать вам это. Я виновата перед вами, я была иногда жестокой, простите меня, дорогая; мне хотелось

бы взять свои слова обратно, отречься от всего, что могло вас обидеть. Одинаковое горе соединило наши души, и не знаю, кто из нас несчастнее. Господин де Монриво не явился сюда сегодня — понимаете? Кто видел вас, Клара, на этом балу, тот вас никогда не забудет. Но я сделаю попытку. Если я потерплю неудачу, уйду в монастырь. А вы куда едете?

— В Нормандию, в Курсель любить, молиться до того дня, когда господь призовет меня к себе.

— Подите сюда, господин де Растиньяк, — сказала виконтесса взволнованным голосом, вспомнив, что молодой человек ждет.

Студент опустился на одно колено и поцеловал руку кузины.

— Прощайте, Антуанетта, — промолвила госпожа де Босеан, — будьте счастливы. А вы и так счастливы, вы молоды и верите в будущее, — обратилась она к студенту. — Я ухожу из этого мира, как некоторые избранники, которые умирают, окруженные людьми, искренно, благоговейно оплакивающими их кончину!

Растиньяк ушел около пяти часов утра, после того как виконтесса села в дорожную карету; их прощание было орошено слезами, доказывавшими, что и самые высокопоставленные

особы повинуются закону, который властвует над сердцами, и тоже знают горести вопреки утверждениям некоторых льстецов народа. Эжен вернулся в Дом Воке пешком. Погода стояла сырая и холодная. Воспитание студента заканчивалось.

— Нам не спасти несчастного папашу Горио, — сказал Бьяншон, когда Растиньяк вошел в комнату соседа.

— Друг мой, — промолвил Эжен, посмотрев на уснувшего старика, — довольствуйся скромной долей, дальше которой не идут твои желания. А я попал в ад, и мне не выбраться из него. Верь всему самому плохому, что услышишь о высшем свете! Ни у какого Ювенала не хватит сил изобразить его скверну, прикрытую золотом и драгоценными камнями.

В два часа дня Растиньяка разбудил Бьяншон; ему надо было уйти, и он попросил Эжена побыть около, папаши Горио, которому к утру стало гораздо хуже.

— Старик не протянет и двух дней, а может быть, и шести часов, — сказал медик, — но все равно будем бороться с болезнью до конца. Придется не останавливаться ни перед какими расходами на лечение. Мы, конечно, будем ходить за ним, но у меня нет ни единого су. Я

вывернул карманы его платья, рылся в шкафах; всюду пусто. Я спросил его, воспользовавшись минутой просветления; он сказал, что у него нет ни гроша, А у тебя что-нибудь есть?

— Всего-навсего двадцать франков, — ответил Растиньяк. — Но я пойду в игорный дом и выиграю.

— А ежели проиграешь?

— Тогда потребую денег от его зятьев и дочерей.

— А если они не дадут? — возразил Бьяншон. — Сейчас еще можно обойтись без денег; первым делом надо обернуть ноги старика — от ступней и до половины ляжек — горячими горчичниками. Если он будет кричать, значит, еще есть кое-какая надежда. Ты знаешь, как это делается. Да и Кристоф тебе поможет. А я зайду к аптекарю и скажу, что заплачу за все лекарства, какие мы возьмем. Жаль, что беднягу нельзя было перевезти в нашу больницу; там ему было бы лучше. Ну, пойдем, я объясню тебе, что делать, а ты не отходи от него до моего возвращения.

Молодые люди вошли в комнату, где лежал старик. Эжен испугался, так изменилось лицо папаши Горио; оно было искажено страданием, мертвенно-бледно и изможденно.

— Ну, как дела, папа? — сказал он, наклоняясь к койке.

Горио уставился на Эжена тусклыми глазами, не узнавая его. Студент не выдержал этого зрелища, и у него навернулись слезы.

— Не повесить ли занавески на окна, Бьяншон?

— Нет, он уже не воспринимает света и тьмы. Было бы хорошо, если бы он ощущал тепло и холод. Но нам все-таки надо затопить печку, чтобы подогреть питье и приготовить кое-что еще. Я пришлю тебе вязанку, ее хватит, пока мы не купим дров. За день и ночь я сжег твои дрова и весь торф старика. Сырость была такая, что вода капала со стен. Я едва просушил комнату. Кристоф подмел ее, а то тут был настоящий хлев. Я курил можжевельник, чтобы не воняло.

— А где же его дочери, господи боже! — вырвалось у Растиньяка.

— Если он попросит пить, дан ему вот этого, — продолжал медик, показывая на белый кувшин. — Если он застонет и если живот у него будет горячий и твердый, Кристоф поможет поставить... понимаешь что. В случае, если он придет в сильное возбуждение, будет много говорить и даже бредить, оставь его в покое. Это

признак неплохой. Но пошли Кристофа в больницу Кошена. Наш врач, мой товарищ или я придем сделать ему прижигание. Утром, пока ты спал, мы устроили большой консилиум с участием одного ученика доктора Галля, старшего врача Отель-Дье и нашего старшего врача. Эти господа подметили любопытные симптомы, и мы будем следить за болезнью, чтобы выяснить некоторые довольно важные научные вопросы. Один из этих господ утверждает, что давление серозной жидкости, если она давит на один орган сильнее, чем на другой, может вызвать своеобразные явления. Коли он заговорит, прислушайся хорошенько, чтобы определить характер мыслей, занимающих его: будут ли то явления памяти, проницательности или суждения, доминируют ли в них материальные предметы или же чувства; комбинирует ли он, переносится ли в прошлое; словом, будь готов к тому, чтобы сделать нам точный доклад. Возможно, что серозная жидкость хлынула разом, тогда он так и умрет в состоянии идиотизма. Течение такой болезни всегда очень капризно! Если бомба взрывается тут, — Бьяншон показал на затылок больного, — то бывают странные явления: деятельность мозга частично восстанавливается, и наступление смерти замедляется. Серозная

жидкость может отхлынуть от мозга и направиться путями, которые обнаруживаются лишь при вскрытии. В больнице для неизлечимых есть полоумный старик, у которого произошло излияние в позвоночник; он ужасно страдает, но живет.

— Хорошо ли они повеселились? — спросил папаша Горио, узнав Эжена.

— Он думает только о дочерях, — сказал Бьяншон. — Он сотни раз говорил ночью: «Они танцуют! Она добыла себе платье!» И называл их по именам. Он довел меня до слез, черт возьми, повторяя на разные лады: «Дельфина, Дельфиночка! Нази!» Честное слово, можно было расплакаться, слушая его.

— Дельфина! — сказал старик. — Она ведь здесь? Я знал, что она придет.

И глаза его лихорадочно забегали по стенам и двери.

— Я пойду скажу Сильвии, чтоб она приготовила горчичники, — крикнул Бьяншон. — Надо не упускать момента.

Растиньяк остался один со стариком, сел у него в ногах, не сводя глаз с этого жуткого и мучительно-жалкого лица.

«Госпожа де Босеан бежала, этот умирает, —

размышлял студент. — Прекрасные души не могут долго пребывать в этом мире. Как великим чувствам ужиться с пошлым, мелким, поверхностным обществом?»

Растиньяку вспомнились картины раута, на котором он присутствовал, составлявшие такой резкий контраст с этим смертным ложем. Неожиданно вернулся Бьяншон.

— Слушай, Эжен, я сейчас видел нашего старшего врача и кинулся сюда бегом. Ежели папаша придет в сознание, будет говорить здраво, поставь ему горчичники на затылок до поясницы и вызови нас.

— Дорогой Бьяншон! — воскликнул Эжен.

— О, ведь тут научное наблюдение, — отозвался медик с жаром неофита.

— Значит, я один ухаживаю за несчастным стариком из любви к нему, — сказал Эжен.

— Ты не сказал бы этого, — возразил Бьяншон, не обижаясь на слова Эжена, — если бы видел меня утром. Старых врачей интересует только болезнь: а для меня пока что существует, кроме того, и больной, дружище.

Бьяншон ушел, оставив Эжена со стариком, в ожидании припадка, который не замедлил наступить.

— А! Это вы, дорогое дитя, — сказал папаша Горио, узнавая Эжена.

— Вам лучше? — спросил студент, беря его за руку.

— Да, голова у меня была точно в тисках, но теперь отпустило. Видели вы моих дочерей? Они скоро придут, они прибегут, как только узнают, что я болен; они так заботились обо мне, когда мы жили на улице Жюсьен! Господи! Мне хотелось бы принять их в чистой комнате. Какой-то молодой человек сжег весь мой торф.

— Я слышу шаги Кристофа, — сказал Эжен. — Он несет вам дрова, присланные этим молодым человеком.

— Хорошо! Но чем же заплатить за дрова? У меня нет ни гроша, дитя мое. Я все отдал, все. Я нищий. Красиво ли было, по крайней мере, расшитое серебром платье? (Ах! Какое мученье!) Спасибо, Кристоф, бог наградит тебя, паренек, а у меня ничего не осталось.

— Я хорошо заплачу вам с Сильвией, — шепнул Эжен слуге.

— Мои дочери сказали вам, что они сейчас приедут, да, Кристоф? Сходи к ним еще раз, я дам тебе сто су. Скажи им, что мне нехорошо, что я хотел бы обнять их, увидеть еще раз перед смертью.

Скажи им это, только смотри, не напугай их.

По знаку Растиньяка Кристоф ушел.

— Они приедут, — продолжал старик. — Я знаю их. Как будет горевать Дельфина, если я умру! Она такая добрая. Нази тоже. Мне не хотелось бы умирать: они будут плакать. Умереть; дорогой мой, значит, не видеть их больше. Я буду очень тосковать на том свете. Для отца ад — лишиться детей, а я уже испытал это после того, как они вышли замуж. Мой рай был на улице Жюсьен. Скажите, если я попаду в рай, моя душа сможет возвращаться на землю и витать вокруг них? Я слыхал об этом. Правда ли это? Я как будто вижу их в эту минуту такими, какими они были на улице Жюсьен. Они приходили утром: «Здравствуй, папа», — говорили они. Я сажал их к себе на колени, дурачился с ними. Они мило ласкали меня. Мы завтракали вместе каждое утро, вместе обедали, словом, я был отцом, дети были для меня утехой. Когда они жили на улице Жюсьен, они не рассуждали, не имели понятия о свете, крепко любили меня. Господи! Почему не остались они навеки маленькими? (О! Какая мука! Как болит голова!) Ох! Ох! Простите, детки! Я страдаю невыносимо; должно быть, мне действительно очень больно, вы ведь приучили меня переносить боль.

Господи! Если бы только их руки были в моих руках, я не чувствовал бы никакой боли. Как вы думаете, придут они? Кристоф такой дурак! Мне надо было самому пойти к ним. Он сейчас увидит их. Но вы были вчера на балу? Расскажите же мне про них. Они ведь ничего не знали о моей болезни, да? А то они не танцевали бы, бедняжки! О, я не хочу болеть, я еще слишком нужен им. Их денежные дела запутаны. И каким мужьям достались они! Вылечите меня! Вылечите меня! (О! Какое мученье! Ох! Ох! Ох!) Видите ли, мне необходимо выздороветь, потому что нужны деньги, а я знаю, где их добыть. Я поеду в Одессу делать крахмал. У меня есть смекалка, я наживу миллионы. (О! Какое страдание, терпения нет!)

С минуту Горио хранил молчание и как будто напрягал силы, чтобы перенести боль.

— Кабы они были тут, я не жаловался бы, — произнес он. — На что же мне жаловаться?

Он впал в забытье и долго не приходил в себя. Вернулся Кристоф. Растиньяк, думая, что папаша Горио заснул, не остановил слугу, когда тот стал громко докладывать об исполненном поручении.

— Сударь, я отправился с начала к графине, но говорить с ней мне не удалось, она была занята

с мужем важными делами. Я настаивал, чтобы меня к ней пустили; тогда вышел сам господин де Ресто и сказал мне: «Господин Горио умирает; ну, что же, туда ему и дорога. Я должен закончить с госпожой де Ресто важные дела; она приедет, когда мы кончим». У барина был очень сердитый вид. Когда я собирался уйти, выходит в переднюю барыня, я и не заметил, в какую дверь она прошла, и говорит мне: «Кристоф, скажи отцу, что у меня большой спор с мужем, я не могу оставить его; дело идет о жизни моих детей; но как только все будет кончено, я приеду». А с баронессой другая история! Ту я и вовсе не видал и не мог с ней говорить. «Барыня вернулась с бала четверть шестого, она спит, — сказала мне горничная. — Коли я разбужу ее раньше двенадцати, она будет браниться. Когда она позвонит, я скажу ей, что отцу ее стало хуже. Дурную весть всегда успеешь передать». Сколько я ни просил, ничего не добился. Я хотел поговорить с барином, но его не было дома.

— Ни одна из дочерей не приедет! — воскликнул Растиньяк. — Я напишу сейчас обеим.

— Ни одна, — отозвался старик, приподнимаясь. — У них дела, они спят, они не приедут. Я так и знал. Только умирая, узнаешь, что такое

дети. Ах! Друг мой, не женитесь, не имейте детей! Вы даете им жизнь, а они дают вам смерть. Вы производите их на свет, а они сживают вас со света. Нет, они не приедут! Уже десять лет, как я знаю это. Я думал так иногда, но не решался этому поверить.

Слезы навернулись на его глаза и застыли на красных веках.

— О! Если б я был богат, если бы я сохранил свое состояние, если бы я не отдал его им, они были бы тут, они покрывали бы мне щеки поцелуями! Я жил бы в особняке, у меня были бы прекрасные покои, прислуга, огонь пылал бы в камине, и они были бы тут в слезах, с мужьями, с детьми. У меня было бы все. А теперь ничего. Деньги дают все, даже дочерей! О! Где мои денежки? Если бы я мог оставить им сокровища, они ходили бы за мной, лечили бы меня; я слышал бы, видел бы их. Ах! Дорогое дитя, единственное дитя мое, я предпочитаю свою заброшенность и нищету! Когда любят бедняка, то, по крайней мере, он может быть твердо уверен в том, что его любят искренно. Нет, я хотел бы быть богатым, я увидел бы их. А, впрочем, как знать? У них обеих каменные сердца. Я слишком любил их, чтобы они могли любить меня. Отец должен всегда оставаться богатым,

должен держать своих детей в узде, как норовистых лошадей, А я ползал перед ними на коленях. Презренные! Они достойно увенчивают свое отношение ко мне за последние десять лет. Если бы вы знали, как они ухаживали за мной в первое время замужества! (О! Как я жестоко страдаю!) Я только что дал тогда около восьмисот тысяч приданого за каждой из них: ни они, ни мужья их не могли быть грубы со мной. Меня радушно принимали: «Садитесь сюда, милый папаша; сюда, дорогой папаша». За столом у них всегда стоял прибор для меня. Я обедал с их мужьями, и те относились ко мне с уважением. Они думали, что у меня есть еще кое-что. Откуда они это взяли? Я ничего не говорил им о своих делах. За человеком, который дает дочерям по восьмисот тысяч приданого, стоит поухаживать. И передо мной юлили, из-за моих денег, конечно. Люди дрянь. Я убедился в этом. Меня возили в карете по театрам, и я бывал, когда хотел, на их вечерах. Словом, они называли себя моими дочерьми и признавали меня своим отцом. Но я еще кое-что мерекаю, от меня ничего не укроется. Все доходило по назначению и было для меня словно нож в сердце. Я хорошо видел, что это одна комедия; но ничего не поделаешь! Мне было у них не по себе,

не то что за столом здесь, внизу. Я не умел связать двух слов. И когда кто-нибудь из светских господ спрашивал моих зятьев: «Что это за господин?» — ему отвечали: «Это папаша толстосум, денег хоть отбавляй». — «А, черт возьми!» И на меня глядели с подобающим почтением. Если я порою и стеснял их немного, то с лихвой искупал свои недостатки; к тому же, кто свободен от недостатков? (Голова моя — сплошная язва.) Я мучаюсь сейчас так, что умереть можно, дорогой Эжен, и все же это ничто по сравнению со страданием, испытанным мною, когда Анастази впервые дала мне понять взглядом, что я только что сказал глупость, от которой ей пришлось покраснеть; ее взгляд словно полоснул меня по самому сердцу. Мне хотелось знать всю правду, но я узнал твердо одно, что я лишний на земле. На другой день я пошел к Дельфине, чтобы утешиться, но и там сделал глупость, рассердившую ее. Тогда я словно с ума сошел. Целую неделю не знал, что делать. Идти к ним я не осмеливался, боялся, что будут меня попрекать. Вот собственные дочери и выставили меня за дверь. О, господи! Тебе ведомы все унижения, все страдания, которые я перенес; ты знаешь, сколько ударов кинжалом получил я за это время, когда успел одряхлеть, измениться,

стать полутрупом, поседеть, — почему же ты заставляешь меня страдать теперь? Я слишком любил их, но я искупил свой грех. Они достаточно отомстили мне за мою любовь, они пытали меня, как палачи. О! Отцы ведь так глупы! Я так любил их, что не мог обойтись без них, как игрок без игры. Дочери были моим пороком; они заменяли мне любовниц; словом, были для меня всем! Им бывали нужны драгоценности, чтобы меня хорошо принимали! Но они все-таки поучали меня, как я должен держать себя в свете. О! Они не откладывали в долгий ящик свои нравоучения. Они начали краснеть за меня. Вот что значит дать детям хорошее воспитание! Но не мог же я в свои годы ходить в школу. (Я ужасно страдаю, боже мой! Доктора, доктора! Если мне вскроют череп, я буду меньше страдать!) Дочери мои, дочери! Анастази, Дельфина! Хочу их видеть. Пошлите за ними жандармов, приведите их силой! Правосудие на моей стороне, все за меня — и природа и закон. Я протестую. Отечество погибнет, если отцов будут топтать ногами. Это ясно, как день. Общество, мир держится на отцовстве; все рухнет, если дети не будут любить отцов. О! Только бы увидеть, услышать их. Что бы они ни говорили, только бы слышать их голос, это утишит мою

боль, особенно Дельфина. Но скажите им, когда они будут здесь, чтобы они не смотрели на меня по обыкновению холодно. Ах! Друг мой, господин Эжен, вы не знаете, какая мука, когда золото взгляда превращается вдруг в серый свинец. С того дня, как их глаза перестали смотреть на меня своим светом, для меня наступила вечная зима; с той поры я не видел ничего, кроме горя, и сколько я натерпелся его! Моя жизнь стала цепью унижений и оскорблений. Я так люблю их, что сносил все обиды, которыми покупались жалкие крохи радости. Отец видит своих дочерей тайком! Я отдал им всю свою жизнь, а они не дают мне теперь ни одного часа. Меня мучит голод, жажда, сердце мое в огне, а они не придут облегчить мою агонию; я ведь умираю, я чувствую это. Они не знают, стало быть, какое преступление попирать труп отца. На небе есть бог, он мстит за нас, за отцов., вопреки нашей воле. О! Они придут. Придите, мои любимые, придите поцеловать меня еще раз, дайте последний прощальный поцелуй своему отцу; он будет молить бога за вас, он скажет ему, что вы были хорошими дочерьми, он заступится за вас! Если хорошенько разобраться, вы ни в чем не виноваты. Они не виноваты, друг мой! Скажите это всем, чтобы им не досаждали из-за

меня. Во всем виноват я; я приучил их топтать меня ногами. Мне это нравилось самому. Никому нет до этого дела, ни людскому правосудию, ни божескому. Бог совершил бы несправедливость, если бы осудил их за меня. Я не умел вести себя; я сделал глупость, отрекшись от своих прав. Я готов был унижать свое достоинство ради них! Чего вы хотите? Прекраснейшие натуры, самые лучшие души не устояли бы и испортились бы от такого отцовского баловства. Я достоин презрения, я справедливо наказан. Я сам распустил своих дочерей, я избаловал их. Они хотят теперь удовольствий, как хотели раньше конфет. Когда они были девушками, я всегда позволял им исполнять их прихоти. Уже в пятнадцать лет у них был собственный выезд! Им ни в чем не было отказа. Я один виноват, но виной была моя любовь к ним. Мое сердце раскрывалось при звуках их голоса. Я слышу, они приехали. О, да! Они приедут. Закон велит приезжать повидаться с умирающим отцом, закон за меня. К тому же это ничего не будет стоить. А за проезд я заплачу. Напишите, что я могу оставить им миллионы! Честное слово. Я поеду делать макароны в Одессу. Я знаю способ приготовления. С помощью его можно нажить миллионы. Никому это не

приходило в голову. Макароны не портятся при перевозке, как зерно или мука. Ну а крахмал? Там меня ждут миллионы! Скажите им о миллионах, вы не солжете, пусть они приедут хоть из корысти, — пусть я буду обманут, — только бы увидеть их! Я хочу, чтобы здесь были мои дочери! Я породил их! Они — мои! — сказал он, садясь на своем ложе и поворачивая к Эжену голову с седыми всклокоченными волосами, с выражением угрозы в каждой черте лица.

— Ну, лягте опять, дорогой папаша Горио, я сейчас напишу им, — сказал Эжен. — Как только вернется Бьяншон, я сам поеду к ним, если они не приедут.

— Если они не приедут? — повторил старик, рыдая. — Но я умру, умру от бешенства и ярости! Бешенство душит меня! В эту минуту я вижу всю свою жизнь. Я остался в дураках. Они меня не любят, они никогда не любили меня! Это ясно. Коли они не приехали до сих пор, они не приедут вовсе. Чем дольше они будут откладывать, тем труднее им будет решиться доставить мне эту радость. Я знаю их. Они никогда не умели догадываться о моих горестях, о моих страданиях, о моих нуждах; не догадываются они и о том, что я умираю. Они не постигли даже тайны моей

любви. Да, они так привыкли потрошить меня, что ни во что не ценят все, что я делал для них. Если бы они попросили разрешения выколоть мне глаза, я сказал бы им: «Колите!» Я слишком глуп. Они думают, что все отцы такие же, как ихний. Надо всегда уметь заставить себя ценить. Их дети отомстят за меня. Они должны прийти сюда ради самих себя. Предупредите же их, что им грозит такой же конец. Своим поступком они творят все преступления разом. Да, пойдите к ним, скажите, что, отказываясь прийти, они совершают отцеубийство! На их совести достаточно грехов, зачем прибавлять еще этот? Крикните им, как кричу я: «Эй, Нази! Эй, Дельфина! Придите к своему отцу. Он был добр к вам и так мучается теперь». Ничего, никого. Неужели я издохну, как пес? Заброшенность — вот моя награда. Это мерзавки, злодейки; они возбуждают во мне отвращение, я проклинаю их, я поднимусь ночью из гроба, чтобы еще раз проклясть их, так как, если разобраться, друзья мои, разве я виноват? Их поведение позорно! А? Что такое я говорю? Разве вы не сказали мне, что Дельфина тут? Она лучше Нази. Вы мой сынок, Эжен! Любите ее, будьте для нее отцом! Другая очень несчастна. А их состояние! О, боже! Я умираю, мне невыносимо тяжко!

Отрежьте мне голову, оставьте только сердце.

— Кристоф, бегите скорей за Бьяншоном! — воскликнул Эжен, устрашенный жалобами и криками старика, принявшими зловещий характер. — И наймите мне извозчика. Я поеду за вашими дочерьми, дорогой папаша Горио, и привезу их к вам.

— Приведите их силой, силой! Вызовите полицию, солдат, все, все! — повторил он, бросая на Эжена последний взгляд с проблесками разума. — Скажите правительству, королевскому прокурору, чтобы привезли их ко мне, я требую этого!

— Но вы прокляли их.

— Кто вам это сказал? — ответил старик, остолбенев от изумления. — Вы хорошо знаете, что я их люблю, что я обожаю их! Я выздоровел бы, если бы увидел их… Поезжайте, мой милый сосед, дорогое дитя мое, поезжайте, вы ведь добрый; я хотел бы отблагодарить вас, но ничего не могу дать вам, кроме благословения умирающего. Ах! Я желал бы видеть хотя бы Дельфину, чтобы попросить ее вознаградить вас за меня. Если другая не может, привезите Дельфину. Скажите ей, что вы ее разлюбите, если она не согласится прийти. Она так любит вас, что придет. Пить! У

меня все нутро горит. Положите мне что-нибудь на голову. Руки моих дочерей спасли бы меня, я это чувствую… Господи! Кто вернет им состояние, если меня не станет? Я хочу ехать в Одессу ради них, в Одессу делать макароны…

— Выпейте это, — сказал Эжен, приподнимая и поддерживая умирающего левой рукой, а правой держа чашку с лекарством.

— Вы, должно быть, любите своих родителей! — сказал старик, сжимая слабеющими руками руку Эжена. — Понимаете ли вы, что я умру, не повидав своих дочерей? Всегда мучиться жаждой и никогда не утолять ее — такова была моя жизнь за последние десять лет… Зятья убили обеих моих дочерей. Да, я лишился дочерей, после того как они вышли замуж. Отцы, потребуйте от палат, чтобы они издали закон о браке! Коли вы любите дочерей, не выдавайте их замуж. Зять — злодей, он портит все в вашей дочери, оскверняет все. Долой браки! Они отнимают у нас дочерей, и мы умираем без них. Издайте закон о смерти отцов. Это ужасно! Мщение! Зятья мешают им прийти. Убейте их! Смерть графу Ресто! Смерть эльзасцу! Они мои убийцы! Пусть умрут или вернут мне дочерей. Ах! Кончено, я умираю без них! Девочки! Нази, Фифиночка, подите же сюда! Ваш папа

конч…

— Дорогой папаша Горио, успокойтесь, успокойтесь, не волнуйтесь, не думайте.

— Не видеть их — вот агония!

— Вы их сейчас увидите.

— Правда? — растерянно крикнул старик. — О! Увижу! Я их увижу, услышу их голос. Я умру счастливым. Да, жить мне больше не хочется, я больше не дорожу жизнью. Чем дальше, тем больше в ней было горя. Но увидеть их, коснуться их платья! О, только бы коснуться их платья! Это так немного; только бы осязать что-нибудь, что принадлежит им! Дайте мне их волосы… Я хочу…

Голова его опрокинулась на подушку, словно от удара дубиной; руки задвигались по одеялу, как будто хватая волосы дочерей.

— Благословляю их, — произнес он с усилием, — благословляю.

Он вдруг обессилел. В эту минуту вошел Бьяншон.

— Я встретил Кристофа, — сказал медик, — он сейчас приведет тебе извозчика.

Потом он посмотрел на больного, поднял его веко, и студент увидел тусклый, безжизненный глаз.

— Он больше не придет в себя, — промолвил

Бьяншон, — думаю, что нет.

Он пощупал пульс, положил руку на сердце старика.

— Машина еще не остановилась, но в его состоянии это несчастье, лучше бы он умер!

— Да, конечно, — отозвался Растиньяк.

— Что с тобой? Ты бледен, как смерть.

— Друг мой, я слышал сейчас такие крики и жалобы... Ведь есть же бог! О, да! Есть бог, и он уготовил нам лучший мир, в противном случае наша земля — бессмыслица. Если бы это не было так трагично, то я расплакался бы, но у меня внутри точно все окаменело.

— Послушай, надо будет кое-что купить; где же достать денег?

Растиньяк вынул часы.

— Вот, заложи их поскорее. Я не хочу задерживаться, мне дорога каждая минута, я жду Кристофа. У меня нет ни гроша, а по возвращении надо будет заплатить извозчику.

Растиньяк сбежал с лестницы и поехал на улицу Эльдер, к госпоже де Ресто. Дорогой воображение, пораженное ужасным зрелищем, свидетелем которого он был, разожгло его негодование. Когда он вошел в переднюю и спросил госпожу де Ресто, лакей ответил, что она не принимает.

— Но я от ее отца, он умирает, — сказал студент.

— Сударь, граф дал нам строжайшее…

— Если господин де Ресто здесь, скажите ему, в каком состоянии его тесть, и передайте, что мне необходимо переговорить с ним сию же минуту.

Эжен долго ждал.

«Может быть, он умирает в это мгновение», — думал он.

Наконец лакей ввел его в первую гостиную, где де Ресто и принял студента, не предложив ему сесть, стоя у потухшего камина.

— Граф, — сказал Растиньяк, — ваш тесть умирает в настоящую минуту в гнусной конуре, ему не на что купить даже дров; он при смерти и хочет видеть дочь…

— Вы, вероятно, заметили, сударь, — холодно ответил граф, — что я не питаю особой нежности к господину Горио. Он не умел вести себя с госпожой де Ресто, отравлял мне существование, не давал покоя. Умрет ли он или останется в живых, мне совершенно безразлично. Вот каковы мои чувства к нему. Свет может меня порицать, я презираю мнение света. Я теперь занят слишком важными делами и весьма мало интересуюсь тем, что подумают обо мне глупцы или посторон-

ние. А госпожа де Ресто не может отлучиться. К тому же я не желаю, чтобы она выходила из дому. Скажите ее отцу, что, как только графиня исполнит свой долг по отношению ко мне и моему ребенку, она навестит его. Если она любит отца, то через несколько секунд может освободиться.

— Не мне судить о вашем поведении, граф, вы господин своей жены, но могу ли я положиться на вашу порядочность? Обещайте мне только сказать графине, что отец ее не проживет и одного дня и уже проклял ее, не видя дочери у своего изголовья.

— Скажите ей это сами, — ответил господин де Ресто, пораженный негодованием, звучавшим в голосе Эжена.

Граф привел Растиньяка в гостиную, где обыкновенно находилась графиня; она сидела в глубоком кресле, вся в слезах; казалось, она жаждала смерти. Эжену стало жаль ее. Прежде чем взглянуть на Растиньяка, она бросила на мужа робкий взгляд, обличавший полную прострацию и подавленность от нравственной и физической тирании. Граф кивнул головой; она истолковала это как разрешение говорить.

— Я все слышала, сударь. Скажите отцу, что если бы он знал, в каком я положении, то простил

бы меня. Я не ждала такой пытки, она выше моих сил, но я буду сопротивляться до конца, — обратилась она к мужу. — Я мать! Скажите отцу, что ему не в чем упрекать меня, хотя я и кажусь виноватой, — с отчаянием крикнула она студенту.

Эжен простился с супругами, догадываясь об ужасной трагедии, переживаемой этой женщиной, и ушел потрясенный. Тон господина де Ресто показал студенту, что из его попытки ничего не выйдет; он понял, что Анастази в заточении. Он помчался к госпоже Нусинген и застал ее в постели.

— Я больна, мой милый, — сказала она, — Я простудилась, возвращаясь с бала. Боюсь, что у меня воспаление легких. Ко мне должен прийти врач…

— Если бы даже вам грозила смерть, — прервал ее Эжен, — вы должны хоть ползком добраться до своего отца. Он призывает вас! Если бы вы услышали хоть един его стон, вашу болезнь как рукой бы сняло.

— Эжен, может быть, отец не так уж болен, как вы говорите! Но я была бы в отчаянии, если бы была хоть чуточку виновата в ваших глазах. Я поступлю так, как вам угодно. Но знаю, он умер бы от горя, если бы моя болезнь стала смертель-

ной оттого, что я вышла из дому. И все же я поеду, как только отпущу врача. А почему на вас нет часов? — спросила она, не видя более цепочки.

Эжен покраснел.

— Эжен, Эжен, ужели вы уже продали их или потеряли? О, это было бы непростительно.

Студент склонился над постелью Дельфины и прошептал:

— Хотите знать правду? Так знайте же: вашему отцу не на что купить саван, в который его завернут сегодня вечером. Часы ваши в ломбарде, у меня ничего, кроме них, не было.

Дельфина порывисто соскочила с кровати, подбежала к шкафчику, достала кошелек и протянула его Растиньяку. Потом позвонила и воскликнула:

— Я еду, еду, Эжен. Дайте мне только одеться, Я была бы чудовищем! Идите, я приеду раньше вас! Тереза, — крикнула она горничной, — скажите господину де Нусингену, чтобы он поднялся ко мне сию же минуту, мне надо переговорить с ним.

Радуясь, что может возвестить умирающему отцу о приезде хотя бы одной из дочерей, Эжен прибыл на улицу Нев-Сент-Женевьев почти веселым. Он открыл кошелек, чтобы немедленно

расплатиться с извозчиком. В кошельке столь богатой, столь элегантной женщины оказалось семьдесят франков. Поднявшись наверх, Растиньяк увидел, что фельдшер из больницы под наблюдением врача делает прижигание папаше Горио, которого поддерживает Бьяншон. Применено было последнее средство медицины, но и оно оказалось бессильным.

— Чувствуете вы что-нибудь? — спросил врач. Папаша Горио ответил, увидя Эжена:

— Приедут?

— Он может еще выкарабкаться, — сказал фельдшер, — он говорит.

— Да, — ответил Эжен. — Дельфина сейчас будет здесь.

— Он только и говорит, что о своих дочерях, — сказал Бьяншон, — он кричит, призывает их, подобно тому, как человек, посаженный на кол, кричит, чтобы ему дали напиться…

— Довольно, — сказал врач фельдшеру, — ничто не поможет, его не спасти.

Бьяншон и фельдшер снова уложили умирающего на зловонную койку.

— Надо бы все-таки переменить белье, — сказал врач. — Хотя и нет никакой надежды, следует уважать в нем человеческое достоинство. Я еще

приеду, Бьяншон. Если он опять будет жаловаться, вспрысните ему опиум.

Фельдшер и врач ушли.

— Ну, Эжен, не падай духом, дружище! — сказал Бьяншон Растиньяку, когда они остались вдвоем. — Надо надеть на него чистую рубашку и переменить постельное белье. Поди скажи Сильвии, чтобы она принесла простыни и помогла нам.

Эжен сошел вниз. Госпожа Воке с Сильвией накрывали на стол. Как только Растиньяк заговорил, вдова подошла к нему с кисло-сладкой улыбочкой недоверчивой торговки, которая не хочет потерпеть убытки и вместе с тем боится рассердить покупателя.

— Дорогой господин Эжен, — ответила она, — вы знаете не хуже моего, что у папаши Горио нет больше ни су. Давать простыни человеку, который того и гляди помрет, значит, потерять их, тем более, что одну и без того придется извести на саван. Вы мне должны сто сорок четыре франка, прибавьте сюда сорок франков за простыни и кое-какие другие мелочи, за свечу, которую вам даст Сильвия, — все это составит не менее двухсот франков; бедная вдова, вроде меня, не может швыряться такими деньгами. Согласитесь,

господин Эжен, что я потерпела большие убытки за последние пять дней с тех пор, как на меня посыпались всякие напасти. Я сама приплатила бы десять экю, лишь бы старичок уехал в тот день, как вы сказали. Он отпугивает пансионеров. Еще немного, и я отправила бы его в больницу. Поставьте себя на мое место. Дом Воке для меня превыше всего, это мой хлеб насущный.

Эжен бросился в комнату Горио.

— Где деньги за часы, Бьяншон?

— Там на столе; остается триста шестьдесят с чем-то франков. Я расплатился за все; квитанция ломбарда под деньгами.

Растиньяк сбежал по лестнице, перескакивая через несколько ступеней.

— Вот, получайте, — сказал Растиньяк с отвращением. — Господин Горио недолго останется у вас, а я…

— Да, он выйдет отсюда ногами вперед, бедненький, — проговорила вдова, пересчитывая двести франков. Сквозь ее показную грусть проглядывала радость.

— Прекратим разговор! — сказал Растиньяк.

— Сильвия, принеси простыни и пойди наверх помочь господам.

— Не забудьте дать на чай Сильвии, — шеп-

нула госпожа Воке Эжену, — она уже две ночи не спит.

Как только Эжен повернулся к старухе спиной, она побежала к кухарке.

— Возьми чиненые простыни. Для мертвеца и эти будут хороши, — прошептала она.

Эжен уже поднялся на несколько ступеней и не слыхал слов старой хозяйки.

— Ну, давай снимем ему рубашку. Приподними-ка его!

Эжен стал у изголовья, поддерживая умирающего; Бьяншон снял с него рубашку. Старик сделал движение, как будто прятал что-то на груди, испуская при этом жалобные нечленораздельные крики, словно животное, стремящееся выразить сильную боль.

— Ах, он хочет, чтобы ему вернули цепочку из волос и медальон; мы сняли ее перед тем, как делать прижигание. Бедняга, надо опять надеть ему цепочку., Она на камине.

Эжен взял цепочку, сплетенную из белокурых волос с пепельным оттенком, несомненно, из волос госпожи Горио. На медальоне он прочел с одной стороны — Анастази, с другой — Дельфина. Дорогие сердцу Горио образы, всегда покоившиеся на его сердце. Внутри были локоны, обрезан-

ные, очевидно, в первые годы детства девочек, так тонки были они. Когда медальон коснулся груди старика, у него вырвался протяжный вздох, выражавший удовлетворение, которое нельзя было наблюдать без ужаса. То был один из последних проблесков способности чувствовать, как будто сосредоточившейся в каком-то неведомом центре, откуда исходят и где воспринимаются наши симпатии. Искаженное лицо Горио приняло выражение болезненной радости, Студенты, пораженные этим страшным проявлением силы чувства, пережившего мысль, уронили горячие слезы на умирающего, испустившего громкий радостный крик:

— Нази! Фифиночка! — произнес он.

— Он еще жив, — сказал Бьяншон.

— А для чего ему жить? — спросила Сильвия.

— Чтобы страдать, — ответил Растиньяк. Бьяншон знаком велел товарищу делать то же, что и он, и, опустившись на колени, просунул руки под ноги больного; Растиньяк с другой стороны кровати просунул руки под его спину. Сильвия ждала, когда приподнимут умирающего, чтобы сдернуть простыни и постелить чистые. Несомненно введенный в заблуждение слезами, Горио собрал остаток сил и протянул руки; нащупав

с обеих сторон головы студентов, он судорожно схватил их за волосы и чуть слышно прошептал:

— Ах! Ангелочки мои!

В этих словах, в этом шепоте вылилась его душа и отлетела.

— Дорогой ты мой, несчастный! — промолвила Сильвия, растроганная этим восклицанием, так ярко отразившим величайшее чувство, вспыхнувшее в последний раз благодаря этому ужасающему, совершенно невольному обману.

Последний вздох отца был вздохом радости. Вздох этот был выражением всей его жизни; он все еще обманывался. Папашу Горио благоговейно уложили на смертный одр. С этой минуты лицо его хранило печали мучительной борьбы между смертью и жизнью в механизме, где уже угасло сознание, а с утратой сознания стали невозможны и человеческие чувства радости и скорби. Окончательное разрушение было только вопросом времени.

— Он пробудет несколько часов в таком состоянии и умрет незаметно, даже без храпа. Очевидно, поражен весь мозг.

В это мгновение на лестнице послышались поспешные шаги молодой женщины.

— Она опоздала, — сказал Растиньяк.

Это была не Дельфина, а ее горничная Тереза.

— Господин Эжен, — сказала она, — между барином и барыней произошла страшная ссора из-за денег, которые бедная барыня просила для отца. Она упала в обморок; вызвали врача: пришлось пустить ей кровь. Она кричала: «Папа умирает, я хочу видеть папу!» Словом, кричала так, что сердце надрывалось…

— Довольно, Тереза! Приходить теперь не к чему, господин Горио без сознания.

— Бедный барин, вот горе-то! — воскликнула Тереза.

— Я вам больше не нужна, мне пора обед стряпать, уже половина пятого, — сказала Сильвия и едва не столкнулась наверху лестницы с госпожой де Ресто.

Графиня являла собой скорбное и страшное зрелище. Она взглянула на смертное ложе, слабо освещенное единственной свечой, и залилась слезами при виде полузастывшего отцовского лица, на котором трепетали еще последние проблески жизни. Бьяншон из деликатности удалился.

— Мне не удалось вырваться вовремя, — сказала графиня Растиньяку.

Студент утвердительно кивнул головой с выра-

жением глубокой грусти. Госпожа де Ресто взяла руку отца и поцеловала ее.

— Простите меня, батюшка! Вы говорили, что голос мой поднял бы вас из могилы; вернитесь же на минуту к жизни, чтобы благословить свою кающуюся дочь. Услышьте меня. Какой ужас! Отныне только от вас могла бы я получить благословение здесь, на земле. Все ненавидят меня, один вы любите. Даже дети будут относиться ко мне с ненавистью. Возьмите меня с собой. Я буду любить вас, буду заботиться о вас. Он уже не слышит, я с ума схожу.

Она упала на колени и словно в бреду смотрела на этот полутруп.

— Все беды обрушились на мою голову! — сказала она, глядя на Эжена. — Господин де Трайль уехал, оставив огромные долги. Вдобавок я узнала, что он меня обманывал, Муж мой никогда не простит меня. Свое состояние я перевела на его имя. Все мои иллюзии разбиты. Увы! Ради кого изменила я единственному сердцу (она указала на отца), которое меня обожало! Яне признавала, отвергала его, причиняла ему бесчисленные огорчения, подлая!

— Он знал это, — сказал Растиньяк.

В это мгновение папаша Горио открыл глаза,

но то была лишь судорога. Движение Анастази, в котором проявилась блеснувшая у нее надежда, было не менее ужасно, чем глаз умирающего.

— Он слышит меня? — вскричала графиня. — Нет, — сказала она, садясь подле кровати.

Госпожа де Ресто выразила желание остаться около отца, и Эжен спустился, чтобы поесть чего-нибудь. Пансионеры уже собрались.

— Ну, что, по-видимому, у нас наверху сейчас будет маленькая трупорама? — спросил художник Растиньяка.

— Шарль, — ответил Эжен, — мне кажется, что для шуток можно найти более подходящую тему.

— Что же, нам уж и посмеяться нельзя? — возразил художник. — Подумаешь, какая важность! Ведь Бьяншон говорит, что старичок уже без сознания.

— Значит, он умрет так же, как и жил, — вставил музейный служащий.

— Отец скончался! — закричала графиня. Услыхав этот страшный крик, Сильвия, Растиньяк и Бьяншон взбежали по лестнице и нашли госпожу де Ресто в обмороке. Приведя ее в чувство, они усадили ее на извозчика, ожидавшего на улице. Эжен вверил графиню попечению Терезы и велел отвезти ее к госпоже де Нусинген.

— Да, он умер! — сказал Бьяншон, сойдя вниз.

— Ну, господа, садитесь за стол, — возгласила госпожа Воке, — а то суп остынет.

Студенты сели рядом.

— Что же теперь делать? — спросил Эжен Бьяншона.

— Я закрыл ему глаза и уложил как полагается. Когда городской врач по нашему заявлению удостоверит кончину, Горио зашьют в саван и похоронят. Что же еще?

— Он уже не будет больше нюхать хлеб, — заметил один из пансионеров, подражая гримасе старика.

— Черт возьми! Оставьте, наконец, господа, в покое папашу Горио, — сказал репетитор, — и не суйте нам его больше в рот, а то уже целый час угощают им под разными соусами. Одна из привилегий славного города Парижа в том, что здесь можно родиться, жить и умереть, не привлекая ничьего внимания. Воспользуемся же преимуществами цивилизации. Нынче умерло шестьдесят человек — что же нам лить слезы над парижскими гекатомбами? Окочурился папаша Горио, так тем лучше для него! Ежели вы воспылали к нему такой любовью, то ступайте дежурить около него, а нам не мешайте спокойно есть.

— О, да! — промолвила вдова. — Для него лучше, что он помер! У бедняги было столько огорчений в жизни.

Это было единственное надгробное слово человеку, казавшемуся Эжену олицетворением отцовской любви. Пятнадцать столовников стали болтать между собой, как обычно. Эжен и Бьяншон поели. От стука вилок и ложек, от смеха, перемежавшего разговор, от равнодушного и плотоядного выражения лиц и беззаботности обедающих на них повеяло ледяным ужасом. Они пошли за священником, чтобы в продолжение ночи он читал молитвы над усопшим. Отдавая последний долг старику, им пришлось остаться в пределах тех грошей, которыми они располагали.

Около девяти часов вечера тело было положено на стол между двух свечей, в той же нищенской комнате, и священник занял место подле тела. Прежде чем лечь спать, Растиньяк навел у кюре справки о стоимости церковной службы и похорон и написал барону де Нусингену и графу де Ресто, прося их поручить своим управляющим покрыть издержки по погребению. Он послал письма с Кристофом, потом лег и от усталости заснул как убитый.

Утром Бьяншону и Растиньяку пришлось самим пойти заявить о кончине; она была удостоверена в полдень. Два часа спустя Растиньяк вынужден был уплатить священнику: ни один из зятьев не прислал денег, никто не явился от их имени. Сильвия потребовала десять франков за шитье савана, и Эжен с Бьяншоном рассчитали, что они едва справятся с расходами, если родные умершего не дадут ничего. А потому медик взялся сам положить труп в гроб, предназначенный для бедняков, который он велел принести из своей больницы, где купил его со скидкой.

— Сыграй шутку с этими прохвостами, — сказал он Эжену, — поди на кладбище Пер-Лашез, купи там место на пять лет и закажи в церкви и в бюро погребальных процессий похороны третьего разряда. Ежели зятья и дочери откажутся возместить расходы, вели вырезать на камне: «Здесь покоится господин Горио, отец графинн де Ресто и баронессы де Нусинген, погребенный за счет двух студентов».

Эжен последовал совету друга, после того как ничего не добился у супругов де Нусинген и де Ресто. Привратники получили строгий приказ не пускать его дальше передней.

— Господа никого не принимают: умер их отец,

и они в большом горе!

Эжен достаточно изучил парижские нравы и знал, что настаивать бесполезно. Сердце его странно сжалось, когда он убедился, что нельзя проникнуть к Дельфине.

> «Продайте какую-нибудь из своих драгоценностей, — написал он ей у привратника, — чтобы можно было достойно проводить вашего отца к месту вечного упокоения».

Эжен запечатал записку и попросил привратника передать ее баронессе через Терезу, но ют отнес записку барону, который бросил ее в камин. Покончив с приготовлениями к похоронам, Эжен около трех часов вернулся в пансион и не мог удержаться от слез, увидя у калитки гроб, едва прикрытый черным сукном и стоящий на двух стульях в пустынной улице. Прескверное кропило, к которому еще никто не прикасался, мокло в медном посеребренном блюде со святой водой. Калитка не была даже задрапирована черным. Это была смерть бедняка, без пышных похорон, без провожатых, без друзей, без родных. Бьяншону нельзя было отлучиться из больницы, и он уведомил Растиньяка запиской, как обсто-

ит дело с церковной службой. Медик извещал, что заупокойная обедня им не по карману, и пришлось удовольствоваться менее дорогой вечерней; Кристофа он послал в похоронное бюро. Разбирая каракули Бьяншона, Эжен заметил в руках госпожи Воке золотой медальон с волосами дочерей Горио.

— Как вы смели взять его? — спросил он.

— Неужто зарывать это в землю? — ответила Сильвия. — Ведь он золотой.

— Конечно! — гневно крикнул Эжен. — Пусть он унесет с собой единственную памятку о дочерях.

Как только прибыли дроги, Эжен велел поставить на них гроб, отбил крышку и с благоговением положил на грудь покойного медальон как образ того далекого прошлого, когда Дельфина и Анастази были молоды, девственны и чисты, когда они не рассуждали, как сказал их отец в агонии.

Растиньяк и Кристоф да двое служащих похоронного бюро проводили колесницу с гробом несчастного старика в церковь Сент-Этьена дю-Мон, находящуюся недалеко от улицы Нев-Сент-Женевьев. По прибытии тело было внесено в низкий, темный придел, Студент искал вокруг

глазами, но не находил ни дочерей папаши Горио, ни их мужей. Присутствовали только он, да Кристоф, который считал себя обязанным отдать последний долг человеку, когда-то щедро дававшему на чай. В ожидании двух священников, мальчика-певчего и причетника Растиньяк пожал Кристофу руку, не будучи в состоянии произнести ни слова.

— Да, господин Эжен, — промолвил Кристоф, — это был хороший и честный человек; он никогда ни одного грубого слова не сказал, никому не вредил, никогда не делал зла.

Священники, мальчик-певчий и причетник явились и совершили все, что полагается за семьдесят франков в эпоху, когда служители церкви не достаточно богаты, чтобы молиться даром. Причт пропел псалом, Libera и Deprofundis[16]. Служба продолжалась двадцать минут. Была одна только траурная карета для священника и певчего; они согласились посадить к себе Эжена и Кристофа.

— Провожатых нет, можно ехать поскорее, чтобы не замешкаться, — сказал священник, — уже половина шестого.

---

[16] Примечания: 16
«Избави мя...» и «Из глубины воззвах...».

Однако в ту минуту, когда гроб был поставлен на дроги, появились две пустых кареты с гербами графа де Ресто и барона де Нусингена и последовали за погребальной колесницей до Пер-Лашез. В шесть часов тело папаши Горио было опущено в могилу, вокруг которой стояли лакеи его дочерей; они исчезли вместе с причтом, как только была прочитана краткая лития, соответствовавшая тощему кошельку студента. Бросив несколько лопат земли на гроб, чтобы прикрыть его, оба могильщика подняли головы, а один из них обратился к Растиньяку с просьбой дать им на чай. Эжен порылся в кармане и, не найдя там ничего, принужден был занять франк у Кристофа. Этот сам по себе незначительный случай вызвал у Растиньяка приступ смертельной тоски. Наступал вечер, туманные сумерки раздражали. Эжен взглянул на могилу и схоронил в ней последнюю слезу, исторгнутую святыми волнениями юного сердца, одну из тех слез, которые, упав на землю, возносятся к небесам. Скрестив на груди руки, он стал смотреть на облака. Кристоф поглядел на него и ушел.

Оставшись один, Растиньяк прошел до конца кладбища и увидел Париж, извивавшийся по обоим берегам Сены; уже зажигались огни. Он

вперил взор в кварталы между Вандомской колонной и куполом Дворца инвалидов, где обитал высший свет, куда он так хотел проникнуть. Он окинул этот жужжащий улей взглядом, точно желая заранее высосать из него мед, и гордо воскликнул:

— А теперь мы с тобой поборемся!

Затем, в виде первого вызова обществу, он пошел обедать к госпоже де Нусинген.

Саше, сентябрь 1834 г.

Перевел Н. И. Соболевский. Все стихотворные цитаты переведены Ю. Н. Верховским.